



РУССКАЯ
ФАНТАСТИКА

ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

СЕ, ТВОРЮ

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

СЕ, ТВОРЮ



Новый
роман
Большого
Мастера


ЭКСМО



РУССКАЯ
ФАНТАСТИКА

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

ЦИКЛ «НАШИ ЗВЕЗДЫ»

**ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ
СЕ, ТВОРЮ**



**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

СЕ, ТВОЮ



ЭКСМО
МОСКВА
2010

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Р 93

Оформление серии *Е. Савченко*

Серия основана в 2003 году

Иллюстрация на переплете *А. Дубовика*

Рыбаков В. М.
Р 93 **Се, творю : фантастический роман / Вячеслав Рыбаков. — М. : Эксмо, 2010. — 480 с. — (Русская фантастика).**

ISBN 978-5-699-45349-8

Человеческие судьбы и шпионские интриги причудливо переплетаются вокруг секретного частного проекта «Полдень», в рамках которого на средства олигарха-мецената разрабатывается новая российская космическая программа. В ходе исследований участники проекта под руководством ученого Журанкова открывают революционный способ перемещения на огромные расстояния.

Однако слишком много внешних сил стоит на пути людей, занимающихся разработками, — не только российские спецслужбы и иностранные разведки, но и бессмертный закон подлости...

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-45349-8

© Рыбаков В. М., 2010
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

*С благодарностью — Павлу Амнуэлю, от
которого я узнал слово «звереттика»,
и да простит он мне вольное обращение
со строгой наукой.*

Часть первая

Осколки



1

Лорящая синева.

И по сторонам — ослепительно рыжие гряды тяжелых иззубренных гор.

Может, они заботливо поднесли долину скалистыми, будто мозолистыми, ладонями к живительному заливу, полному синего света и синего ветра. Может, опасаясь неверности, сдавили ее, чтоб не загуляла с соседями («Ты помолилась на ночь, Дездемона?»). А может, наподобие простежки наложенной шины из двух туго стянутых небом и морем рыжих дощечек, зафиксировали ее, чтобы, как заподозренную на перелом кость, избавить от дальнейших превратностей.

В Третьей книге Царств черным по белому написано, что где-то тут, близ Елафа, построил корабль сам царь Соломон, и отправились корабельщики, знавшие Черное море, с подданными Соломоновыми в Офир, и взяли они оттуда золота четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону. До чего ж политкорректно: взяли, да и все. Приплывают, а на пустынном берегу в ряд лежат, понимаешь, золота четыреста двадцать бесхозных талантов. Чего ж не взять?

Теперь едва ли не на том самом месте, где царь Соломон строил корабль, серой кубической глыбой громоздится док, в котором во времена шальных арабо-израильских войн чинились корабли американского флота — шестого, кажется. А впрочем, думал он, шут его знает; янки, которым втемяшилось осчастливить мир своим руководством, напекли себе в утеху столько флотов, что не вдруг и вспомнишь порядковый номер того или этого; да и какая разница, пусть их флоты лошадь помнит, у нее голова большая.

В Четвертой книге Царств сказано, что взял народ Иудейский Азарию, коему было шестнадцать лет, и поставил его царем вместо отца его Амасии, и Азария обстроил Елаф, и возвратил его Иудее.

Но чуть позже сказано, что Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и тогда уже идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.

Впрочем, что для книги Царств было сим днем, в дни наши несколько подернулось дымкой. Шут их теперь разберет, идумеян, кто они были такие.

Говорят, в сорок девятом году прошлого века, когда армия Обороны Израиля пробилась сюда, к Красному морю, командир подразделения, первым зачерпнувший ладонями соленой водички, направил в штаб телеграмму: «Мы дошли до края карты. Что делать дальше?» Ответ история то ли не сохранила, то ли засекретила, то ли не оказался он исполнен столь же бравой боеготовности, и оттого не вошел в легенды; судя по дальнейшему, в ответе этом предписывалось глушить моторы.

С тех пор и свисает текущая молоком и медом страна, точно вывешенный на просушку пионерский галстук, через пустыню Негев на крайний юг, к поло-

се прибоя, узким длинным клином раздвинув соседей, между грядками медно-рыжих раскаленных гор, что поднесли ее к лучистому заливу натруженными отцовскими ладонями. Мол, освежись, маленькая.

Полтора часа неспешной прогулки направо — и вот вам Египет за поворотом, стой. Час прогулки налево — и даже поворачивать никуда не надо, вот она, Иордания, опять граница, опять ходу нет, и далеко впереди, обесцвеченный и задымленный мутным расплавленным зноем, медленно извивается в горячем ветре на штыре высотой чуть ли не с Эйфелеву башню иорданский флаг — говорят, самый большой флаг на планете Земля. Кто чем самоутверждается — кто размерами флотов, кто размерами флагов...

Говорят, если взгромоздиться на самую величавую и самую красивую в округе гору, носящую имя того самого царя Соломона, по-здешнему — Шломо, а по сути — тезки Семена Кармаданова, то в качестве бонуса за усилия и еще одну страну дополнительно можно увидеть за Иорданией: Саудовскую Аравию. Все тут сошлись, не сговариваясь — как буренки на водопой.

И самая роскошная гостиница на протянувшейся от границы до границы у ног Шломо гламурной набережной называется «Царица Савская» — на иврите, кажется, «Малкат Сва» или «Шва», или как-то так; здешние утверждают, что простое «малка», ежели в словосочетании, благодаря смихуту превращается в «малкат», а в самом «Сва» буква «шин» должна читаться как «с»; и гостям, заслышав из-за двух коротких слов целую науку, остается только кивать: ну, мол, ясно, смихут, ага, и вообще куда же Шломо без какой-нибудь малки.

Эйлат.

Шабат.

Шабат в Эйлате.

Страшно подумать, и в суетных головах, привыкших жить от забора до обеда, от квартального отчета до годового, и даже историю мерить пятилетками либо президентскими сроками, категорически не укладываются здешние размерности — но против правды не попрешь: медно-рыжие гряды гор знают слово «шабат» уже что-то около трех тысяч лет. А может, и больше.

На пляже яблоку негде упасть, и гвалт страшный, как на восточном базаре. Приятно посмотреть — нормальные же люди, оказывается, кричат, хохочут, перебивают друг друга, размахивают руками; конечно, тут тебе не заунывное правозащитное заседание и не худсовет о том, как бы в очередной раз теперь уж на всю катушку обнажить мерзкую и никчемную природу хомо советикуса. Кажется, после священнодействий эрев шабат (в конце второй недели отпуска тезка царя Соломона уже настолько просветлился, что знал — в переводе эти слова значат «вечер субботы», а приходится эрев шабат аккурат на вечер пятницы) вся страна, проснувшись, махнула с утраца оторваться на юг. Ведь средиземноморское побережье только для диких, еще не весь снег с ушей стряхнувших северян может служить курортом; нормальному человеку там холодно, иногда просто в дрожь кидает, и вообще там города. Если видишь на тель-авивском пляже в ноябре человека в купальном убрэнстве — знай, он из Вологды откуда-нибудь, а если в пальто — здешний; тоже, может, из Вологды, но уже лет не меньше чем десять тому.

А вот у подножия «Царицы Савской» и прочих фешенебельных угловатых громад свой брат весь го-

лый, смуглый, белозубый, с лохматыми плечами, а то и спинами (про грудь и говорить не стоит), и все орут друг другу, неистово жестикулируя, порой чуть ли не с одного края пляжа до другого, и дамы, сверкая умащенными косметикой Мертвого моря прелестями, им в том отнюдь не уступают, потому как компании большие, на двух-трех-пяти лежаках нипочем не поместиться, а треп явно общий.

И кушают, кушают, кушают. А потом кушают еще. Потому что жизнь прекрасна.

Множественное равномерное жевание царило кругом; из-за ритмичного движения всех окрестных челюстей казалось, будто попал внутрь громадного часового механизма. Кушают — и время от времени, уж конечно, запивают. Жуют и хохочут с набитыми ртами. И горланят. Идешь к своей лежанке, и с той же частотой, с которой где-нибудь на Клязьме долетает «блин», тут со всех сторон летит непонятное и в загадочности своей еще более звонкое и манящее «алакефак!», «тафсиквар!», «мамаш магнив!», «ма их-патли?»; поразительно красивый язык, гортанной придыхательностью своей и обильным цоканьем похожий то ли на грузинский, то ли вообще на какой-нибудь ацтекский с его Кецалькоатлем, Уицилопочтли и Тескатлипокой...

Впрочем, порой и нечто более понятное донесется — но, несмотря на формальную понятность или, вернее, благодаря ей, по сути-то еще более таинственное: «Когда я работал председателем колхоза на Южном Урале...» Или: «После этого Эфрос совсем обрусел. Как, скажи на милость, он в таком состоянии мог совладать с Таганкой?»

А стоило только, подстелив мохнато-мягкие пляжные полотенца, блаженно растянуться на лежаках —

по соседству, будто стремглав слетевшаяся на куст воробьиная сходка, сгрудилась и загадела стая молодых. Лоснящихся от загара, мускулистых, уверенных. Энергично отдыхают и столь же энергично чирикают по-своему...

И то и дело: ха-ха-ха.

Лежавший справа от Кармаданова Гинзбург неодобрительно покачал головой. Разлагался он широкой чернокудрой спиной к раскаленному обвалу солнца, сцепленные ладони подстелив под щеку, и потому это покачивание проявилось так: лысый затылок поколебался вверх и вниз.

— О чем они? — вполголоса спросил Кармаданов.

Собственно, он не знал, как вести себя с Гинзбургом. Они уже встречались за дружественным столом и даже успели, посреди круговерти яств тети Розы, съесть пуд не пуд, но нешуточное количество соли; и теперь доверительный, товарищеский тон казался Кармаданову самым верным. Ведь только товарищи могут сцепиться всерьез, а потом — будто и не было ничего.

Гинзбург, однако, лишь досадливо сморщился и не стал пояснять. А поскольку Кармаданов видел лишь его затылок, то и понял просто: ему не ответили.

Ладно, подумал Кармаданов благодушно. Разве можно что-то достоверно понять в чужой жизни, подглядывая в замочную скважину шириной в двенадцать дней? Лучше и не пытаться.

Однако Гинзбург передумал.

— Веселятся и гордятся, — переложив голову на другую щеку и оказавшись к Кармаданову лицом, сообщил он тоже вполголоса и тоже доверительно. Как свой своему. — Мы, мол, придем и всем покажем. В ЦАХАЛ призвали, отрываются напоследок.

— Цахал... — нерешительно повторил Кармаданов.

— Цва хагана ле Исраэль, — пояснил Гинзбург преподавательски терпеливо («Видите? Я терплю. Я очень терплю! Все поняли, какой я терпеливый?»). — Армия наша.

— А-а! — уразумел наконец Кармаданов. — Призывнички-новобранцы!

— Именно.

— Надо же. И без пива.

— Ну, — уклончиво сказал честный Гинзбург, — день впереди еще длинный...

Сима размягченно обвалила одну ногу с лежака, потом другую. Чувствовалось, ее припекло.

— Пойду окунусь, — сказала она.

— За ограждение не заплывай, смотри, — сонно, как кошка на припеке, на рефлексе наказала Руфь.

— Конечно, мама, — со столь же автоматической, ничего не означавшей кротостью ответила Сима и пошла к воде — тонкая, невесомо гибкая и безукоризненно гармоничная в каждом мгновенном переливе, будто пламя субботней свечи.

Призывники устали ей вслед. Просто откровенно пялились. Сима уже по колено вошла в сапфировую, в текучих золотых сполохах гладь, а ребята все посматривали. Один причмокнул, другой смачно сказал что-то вроде «Мазекусит хавал алхазман!».

— Ох, — пробормотал Гинзбург.

— Что он сказал? — спросил Кармаданов.

Гинзбург ответил дипломатично:

— Сима ему понравилась.

Нет, Кармадановы уже немало успели увидеть в замочную скважину.

Конечно, Иерусалим. Господи, Иерусалим!

На въезде пролетели мимо пяточка земли, стисну-

того провонявшей выхлопами магистралью и навалившейся сверху горой; из пяточка торчали три, кажется, палки и один веник с одинаково хилыми листьями, а выше, на забранном в тесаный камень крутом склоне помпезно сообщалось на четырех языках, что это «Сады Сахарова» — каждому воздастся по трудам его; и вот уже, откуда ни возьмись, строгая, светлая гробница царя Давида. Да нет, ладно, что говорить о храмах, синагогах, мечетях, о золотых куполах и, тем паче, об изобильных магазинах и лавках, заполонивших весь гипермаркет, по старинке называемый крестным путем; что говорить о красотах рукотворных — человек издавна умел сделать красиво и богато, сам при том никак не переставая быть полным чучелом. Кармаданова пронзило иное: застекленный квадратный иллюминатор, глядящий в самую известняковую глубь Голгофы. Наверху — блещет золотом и художествами неизменно лукавое человечье рукоделье, а по ту сторону стекла — невзрачная молчаливая основа, пополам взломанная той трещиной, которая сотрясла холм, когда отошел Иисус. Как хочешь относишься к этой сомнительной истории, но если видишь вот так, перед носом, тот самый камень, по которому ходили, возможно, те самые ноги, на который лились, коли уж так, те самые слезы — мурашки все ж таки бегут по коже, волосы встают-таки дыбом, и никакая позолота, никакие ухищрения тщеславных поздних гениев с этим камнем не сравнятся. Это — настоящее... О таком и сказано: и камни возопиют.

А пустыня в Тимна-парке, уже здесь, неподалеку от Эйлата! Она тоже была потрясением. Совершенно неожиданным, надо признаться; ведь что уж может быть такого в пустыне, пустыня — она пустыня и

есть, там пусто, и шабаш. Вот наш, мол, шелестящий и щебечущий лес или, в конце концов, взволнованное море...

Ан нет.

Розовые скалы раскаленными айсбергами всплыли из бескрайней глади жаренного солнцем песка. Угловатый горизонт знобит зноем. Исступленная синева небес летит над обомлевшей планетой. И космическая тишина. От нее кружится голова, а уши будто кто-то высосал. Ничто не движется, ничто не звучит. Вечность. Наверное, это похоже на Марс, думал Кармаданов, торопливо уводя Руфь и Симу подальше от двухэтажного туристического автобуса, который, беспардонно рокоча мотором вхолостую, глушил божественное безмолвие. За полкилометра было слышно, как скрипит песок под ногами туристов, оставшихся позади; даже голоса уже погасли, даже моторный рокот затерялся в бездне — но скрип песка... А если бы вон там, далеко, козявочка в джинсах и футболке не вздумала переступить с ноги на ногу, даже этот мимолетный скрип не нарушил бы молчания подлинной планеты. Ничто не нарушило бы. Какие русские, какие евреи! Какие, прости Господи, европеиды, монголоиды, негроиды! Для этого песка, для этих скал даже кроманьонцы, наверное, были не более чем суетливыми выскочками; прибежали на прослушивание с утра пораньше, но и рта толком не успели открыть, лишь протянули, собираясь с мыслями, невразумительное «Э-э...», а председатель приемной комиссии уже заломил страдальчески бровь и с разочарованным вздохом промолвил в который раз: «Достаточно. Следующий!»

Конечно, Кармадановы не сами катались туда-сюда по незнакомой стране. Их возили. Гостеприимная

и энергичная тетья Роза мобилизовала целое сонмище родственников возраста Руфи и моложе, те, в свою очередь, взяли в оборот друзей и подруг, так что порой на трех туристов приходилось шесть-семь гидов, каждый из которых тянул в свою сторону и добросовестно рассказывал свою версию событий, происходивших вот на этом самом месте при, скажем, Деворе или, например, Иеремии. Излагали они упоительно. «Царь Давид был, конечно, не самым умным молодым человеком, но он довольно много сделал для нашей страны...» А когда увлекшиеся гиды начинали, забыв о пришельцах из России, горячо спорить друг с другом — это вообще была песня. Довольно скоро Кармаданову пришло в голову, что ребятам самим интересно и приятно на законном основании, с благородной примесью гуманитарной помощи («Как? Вас еще не свозили на Кинерет? Там же гробница Рамбама! И плюс отличное купание...») самим посетить любимые места любимой страны; ведь всегда и везде у порядочных работающих людей не хватает времени досужливо кататься туда-сюда просто так, без маломальски великой цели.

Да и само общение с гидами оказалось отдельным удовольствием и тоже — неожиданным. Оказалось, они все как на подбор свои в доску. Свои, родные, из светлого прошлого, так и не ставшего светлым будущим. Они порой лучше Кармаданова и Руфи помнили советские анекдоты и сплетни, в детстве и в молодости они читали те же книги и смотрели те же фильмы, что Кармаданов и Руфь, с любым из них можно было от души поговорить о том, кто в каком классе в первый раз посмотрел «Солярис», прочел «Процесс» и что при том подумал, и кто как шпаргалил на вступительных; те давние переживания и воспоминания

остались с ними во всей полноте и красе. Новые не вытеснили их и не расплющили, не отфильтровали так, как, cedясь сквозь выверты меняющейся, но не сменной жизни, профильтровались и изогнулись юные впечатления и ощущения Кармаданова. Былое осталось само по себе, в отдельном гнезде, в старом шкафу; рядом с ним при перемене страны просто поставили новый, и там с нуля начали копиться совершенно иные впечатления и ощущения. А в старом все осталось неизменным. Встречаясь с этой неизменностью, Кармаданов будто и сам возвращался в молодость. Русскоязычные иностранцы, с которыми его и его семью на несколько часов или дней сводила в поездках по Израилю судьба, были те самые удивительные младенцы шестидесятых, подобных которым никогда не было и никогда больше не будет; были те, с кем он играл в полет на Венеру и в разгром Гитлера, сдавал экзамены, обменивался книжками, сражался класс против класса в школьный КВН, хвастался, что папина «Спидола» ловит «Немецкую волну», обсуждал повести Стругацких и пьесы Фриша и Дюрренматта, разбирал по косточкам «Девять дней одного года» и «Комитет девятнадцати» — кондово советские, но будоражившие мысль получше малодоступной и зачастую слишком уж тупо брызжущей ненавистью антисоветчины, бескорыстно спорил о коммунизме, о пришельцах, о путешествиях во времени... Те, кого в России почти не стало (а кто и остался — изменился непоправимо) и кого Кармаданову не хватало до удушья...

И, конечно, их беспрерывно потчевали.

Он почти сразу отчаялся запомнить названия неисчислимых экзотичных и неизменно лакомых яств, которые будто сами собой выбегали на стол по вечерам, стоило ему с женой и дочерью, усталым и до-

вольным, вернуться в дом. Память в состоянии оказалась удерживать лишь самое простецкое, второстепенное, расхожее: пита, фалафель, хумус, тхина, чолнт, гефилте фиш... А бдительная тетя Роза неутомимо руководила кулинарными атаками, не давая передышки, да еще и время от времени укоризненно отмечала: «Вы что-то плохо кушанькаете...» Или: «Руфочка, по-моему, ты нынче похудела. Так нельзя, надо себя беречь». «Семен Никитич... вы позволите, я по праву возраста буду звать вас Семочкой? Семочка, вот этот ломтик, по-моему, на вас просто смотрит...»

И отказаться было невозможно. Во-первых, вкусно, во-вторых, очень вкусно, а в-третьих — пальчики оближешь. Русскому кошерное только подавай! Да и обижать хозяйку никак не хотелось. Сладостный процесс обжорства ни по каким статьям не поддавался контролю.

Серафима была счастлива. Ей впервые открылся простор совсем иного мира; вот какие, оказывается, есть еще на белом свете люди, горы, доли, берега, пальмы, сикоморы, смоковницы — и восторг сквозил в каждой ее реплике, в каждом движении. Она носилась, как гончая, будто хотела за один приезд протереть до дыр весь так непохожий на Родину край.

Руфь расцвела. Поведение ее не изменилось, она была все так же сдержанна и скепична, но страна делала свое дело. Жене будто легче стало дышать. У нее в зрачках будто зажгли по маленькому задорному солнышку. Ее губы налились, помолодели; по губам судя, Руфь только и делала, что минуту назад с кем-то вза-сос целовалась. И Кармаданов обмирал от тревоги, которую нельзя было ни в коем случае не то что высказать, но даже намеком обнаружить, даже тенью слабой, потому что будет только хуже; ведь женщина

всегда захочет жить там, где она красивее. Это уже не идеи, не национальные дела, это физиология в чистом виде, и чтобы против нее идти — надо быть просто-таки доктором Менгеле. Но как-то утром, на пятый, что ли, день или на шестой, Руфь после утреннего душа долго молча оглядывала себя в зеркало с недовольным видом, левым боком поворачивалась, правым, снова левым, хмурилась без объяснений и наконец заключила ворчливо:

— Надо поскорей ноги уносить.

Кармаданов торопливо сунулся в ванную. Будто не расслышав, переспросил:

— Что?

Руфь повернулась к нему. Чуть улыбнулась. Спела коротко:

— А я в Россию, домой хочу... — Снова помрачнела. — Нет, серьезно. Я прибавляю здесь по полкило в день. Это смерть. К концу отпуска у тебя рядом вместо женщины с относительно приличной фигурой будет одно сплошное брюхо на тоненьких ножках.

У Кармаданова будто гора с плеч свалилась.

Именно в тот день оказался приглашен к ужину Гинзбург.

То ли Израиль воистину страна маленькая, то ли люди тут очень общительные и все друг друга знают если и не прямо, то через одного. Отыскать ученого не составило большого труда — еще бы, один из самых почтенных и любимых молодежью преподавателей Техниона; и не только отыскать труда не составило, но и усадить с Кармадановым за один стол, на соседних стульях, чтобы могли поговорить без помех. Впрочем, тетя Роза учинила сюрприз, и в первый момент Кармаданов только недоумевал, что за пожилой

★ — мужик возник тут, как свой среди своих. А потом теть Роза сказала:

— Семочка, позвольте вам представить Мишеньку Гинзбурга. У вас, кажется, было к нему какое-то русское дело...

Кармаданов даже поперхнулся.

— Точно, — сказал он, откашлявшись, и повернулся к Гинзбургу. — Было. Крайне русское.

— Михаил, — представился Гинзбург, внимательно и спокойно глядя на Кармаданова.

— Семен, — в тон ему ответил Кармаданов. И добавил автоматически, не очень-то понимая, уместно это сейчас говорить, или нет: — Очень приятно.

Гинзбург усмехнулся.

— У Розы Абрамовны не бывает неприятно, — сказал он.

Он был лет на пятнадцать старше Кармаданова. Крепкий и поджарый, густобровый и лысый; мощный череп его напоминал купол восточной гробницы.

Кармаданов совсем не силен был в дипломатии. Несколько раз он репетировал про себя этот разговор, но вот так неожиданно встретившись с Гинзбургом лицом к лицу, тарелка к тарелке — совершенно ступе́вался.

Когда не знаешь, как себя вести — непроизвольно начинаешь шутить.

Шутка — нечто вроде приглашения к снисхождению. Мол, не судите строго, я говорю одни пустяки. Иногда она с успехом заменяет позу покорности. Беспомощные люди — самые улыбчивые на свете.

Впрочем, нет, сообразил я. Чаще всего улыбаются и шутят предатели.

Но, собственно, что такое предательство, если не предельная степень беспомощности?

Губы Кармаданова сами собой сложились в улыбку, и сам собой заговорил язык.

— Да вот, видите ли... — сказал он. — Знаете, как в советское время приходили с черного хода к директору магазина, чтобы получить дефицит... Я от Иван Иваныча.

— Припоминаю, — ответил Гинзбург выжидательно и серьезно. Он улыбаться не собирался, да и не имел к тому ни малейших поводов.

Сима искоса напряженно следила за отцом.

— Семочка, — заботливо сказала тетя Роза, — дела делами, а о еде не забывайте. Руфочка, подложи мужу курочки. Видишь, как он напряжен? Это от недоедания... Мягче, это же меурав иерушалми, а не сосиска.

В глазах Руфи танцевали веселые золотые конфетти, когда она щедро шмякнула на тарелку Кармаданова раскаленной куриной смеси.

— Кушай, Мокушка, — нежно сказала она. Сима прыснула.

— Вот и я к вам от Бориса Ильича, — сказал Кармаданов. — Просто с приветами, наилучшими пожеланиями и общими воспоминаниями.

Взгляд Гинзбурга задумчиво затуманился. Теперь ученый смотрел уже не в лицо Кармаданову, но сквозь него, в собственное прошлое.

Непонятно было, помнит он, кто такой Борис Ильич, или имя Алдошина для него уже ничего не значит. За столом стало тихо — все ждали продолжения.

— Как его здоровье? — наконец спросил Гинзбург.

Это оказалась совсем не та реакция, на которую рассчитывал Кармаданов. Дань вежливости? Выигрыш времени, чтобы про себя еще поразмыслить и

прикинуть что-то? Или старого ученого действительно по каким-то причинам волновало здоровье бывшего почти коллеги?

— Честно говоря, про здоровье он мне ничего передавать не наказывал, — снова улыбнулся Кармаданов. — Обычное здоровье. Обычное для его возраста, для нашего климата и нашей жизни.

— Ну, насколько мне известно, — сказал Гинзбург, и сразу стало понятно, что он вполне в материале, — Борис Ильич сейчас живет весьма насыщенной жизнью, так что со здоровьем все должно быть в порядке. Вы же знаете, наверное, как у творческих людей здоровье зависит от востребованности.

— Ох, знаю, — улыбнулся Кармаданов.

Тогда уж и Гинзбург чуть улыбнулся.

— И какой же дефицит вам нужен? — спросил он.

Кармаданов никак не рассчитывал вести этот разговор при всех, между двумя ложками вкуснятины. Он наколот на вилку блестящую черную маслину из одного из салатов и вкупе с куриным сердечком отправил в рот. Медленно разжевал. И решительно брякнул:

— Вы.

Более всех всполошилась, натурально, тетя Роза. Она даже руками всплеснула.

— Семочка, вы намерены увезти Мишу обратно?

Кармаданов пожал плечами.

— Михаил не дефицитный микроскоп, — сказал он. — Как я могу его увезти? Просто академик Алдошин просил меня огласить таковы слова: передайте привет, а если у него сохранилось хоть малейшее желание работать в российской космической отрасли, то и самое любезное приглашение. Мы со своей сто-

роны ждем Мишу Гинзбурга с распростертыми объятиями.

Повисла пауза. Гинзбург смотрел теперь уже явно мимо Кармаданова, куда-то в межпланетную даль, и машинально чертил по столу вилкой. Руфь озабоченно хмурилась. Голодная Сима не могла утерпеть и, несмотря на отчетливую напряженность момента, что-то поклевывала с тарелки, время от времени украдкой взглядывая на взрослых.

— Ну а что такого? — спросил Кармаданов. — Пожили там, потом пожилы здесь, теперь опять поживите там. Недалеко же.

Тетя Роза поджала губы, вздохнула и вдруг выдала:

— Ах, я смотрю, у вас там до сих пор спят и видят сделать Израиль шестнадцатой республикой.

— Да побойтесь бога, Роза Абрамовна, — ответил Кармаданов. — Таки не делайте мне смешно. Российские ракетчики спят и видят, чтобы братским Израилем правил какой-нибудь пан Ющенко?

Сима с удовольствием хихикнула, отметив, как тетя Роза, хоть и не ответив ничего, произвольно передернулась всем своим немалым телом.

— Корпорация «Полдень», — задумчиво произнес Гинзбург и наконец снова стал смотреть прямо на Кармаданова. — Частный космос...

— Мы всех по возможности собираем, — сказал Кармаданов.

— Я слышал, из европейского космического агентства двух бывших своих обратно сманили полгода назад, — на пробу сказал Гинзбург.

— Точно, — с достоинством ответил Кармаданов. — Только я бы чуточку иначе сформулировал: это европейское агентство их у нас в лихую годину сманило. А теперь положение вернулось к естествен-

ному и надлежащему состоянию. Потому что свои бывшими не бывают, а уж если не свой — так он, значит, и раньше не был свой.

— Эк! — сказал Гинзбург. Усмехнулся. — Спичрайтер долго думал?

— Это моя личная импровизация, — заверил его Кармаданов.

— Он может, — вдруг добавила Сима. Все на мгновение уставились на нее. Похоже, она не очень понимала, что происходит, но, конечно, была на стороне Кармаданова в этом разговоре; разговор же, судя по очевидным признакам, грозил выродиться в некий смутный поединок — и дочь всей душой желала отцу победы. Тетя Роза молча погрозила ей пальцем: не перебивай старших. Сима собрала губы гузкой.

— Скажите, Михаил... Вы очень осведомлены. Вы немножко следили за нашими делами? Интерес, стало быть, какой-то сохраняется?

— Какой-то — сохраняется, — не очень понятно, но многозначительно сказал Гинзбург. — Но мне надо бы знать подробнее...

— Ну, я и сам подробностей не знаю, я же бухгалтер, а не конструктор. Я всего лишь... это... посол мира. Связной. Провод протягиваю. Первый, первый, я Ласточка — как слышите? Насколько мне известно, начальный этап программы — просто попытка удешевления уже существующих носителей. И параллельно — теоретическая отработка и оценка перспективных направлений. Вот с прицелом на этот второй этап Алдошин и старается собрать всех, до кого еще можно дотянуться. Нужен какой-то прорыв в космической технике. Качественный скачок. Всему миру нужен.

— Это-то очевидно... — протянул Гинзбург, похоже, думая при этом о чем-то своем.

Да, он думал о своем. О многом своем. Он инстинктивно ждал чего-то такого от сегодняшнего вечера — хотя не было ни малейших заблаговременных признаков, что именно Кармаданов, муж приехавшей в гости и на отдых родственницы Розы Абрамовны, окажется тем, о ком его предупреждали. Конечно, приглашение, высказанное вот так попросту, будто среди друзей и невзначай — обезоруживало. Обескураживало. Провоцировало полагать, что и впрямь все совершенно нормально, просто предложение новой интересной работы. Оно подразумевало ответ столь же простой. Это Гинзбург понимал.

Но мысли сами собой откатывались на иное. Вдруг высунувшаяся из тумана Россия, с которой было, казалось, покончено, настигла его мягкой и на сей раз, что греха таить, по-человечески вполне обаятельной лапой в гостеприимном доме на тихой Сдерот Ерушалаим, где Гинзбург бывал до сих пор лишь дважды, но неизменно дружески и по-доброму, без брони, которую отращивает с годами всякий человек и носит во всякой мало-мальски официальной или просто незнакомой обстановке. Оттого и лапа тоже коснулась не брони, а его самого, живого и беззащитного. И российское, полузабытое и вроде бы давно и надежно заваленное многолетними отложениями настоящей жизни, тоже вдруг выскочило из прошлого и вспухло рядом. Оказалось — ничто не забыто.

Обжигающе припомнилось, как его в третий раз — и в последний перед подачей документов на выезд — прокатили на институтской переаттестации и не дали главного, оставили ведущим. Никаких тому объяснений не могло быть; хоть пуп надорви — не выдума-

есть ничего, кроме пятого пункта. И когда его любимая аспирантка, Нина Фельбер, принялась было истово его утешать в коридоре перед дирекцией, Гинзбург в ответ вынужден был ее же и успокаивать: «Ниночка, ну что вы так нервничаете? Ведь все в порядке вещей, никакой трагедии, никакого сюрприза. Ничего иного и ожидать было невозможно... Вы думаете, я огорчен? Да ни в малейшей мере! Я человек тренированный, и я принадлежу к очень тренированному народу...» Он еще многое мог и хотел сказать почти плачущей от сострадания девочке, но из директорских дверей, разошедшихся и тут же сомкнувшихся вновь, будто створки гигантской, но трусливой тридакны, вывалился улыбающийся до ушей Алеша Пытнев, только что, как узнал позже Гинзбург, продвинутый из младших на ступеньку выше — славный, очень порядочный парнишка из глубинки, этакий самородок, талантливый, но недалекий, среди русских такое сплошь и рядом; Гинзбург ему симпатизировал. Растущий научный кадр прислушался к тому, что говорит Гинзбург, все мгновенно уразумел и перебил: «Михал Саныч, да вы же оказались в прекрасной компании! Сам Моисей сорок лет работал ведущим, а главным его так и не сделали! И что характерно, антисемиты в том совершенно не были повинны...»

Этот идиот думал, что он Гинзбурга утешил. Поддержал, так сказать, доброй шуткой. Будто такими вещами можно шутить.

Наверное, именно тогда Гинзбург окончательно понял: в этой стране ему не жить. Потому что даже самые симпатичные и вроде бы ни сном ни духом не зараженные черносотенством русские всегда будут видеть в евреях просто национальность — одну из многих, вроде калмыков, карел или каких-нибудь нга-

насан. И вести себя соответственно. Ни на волос не понимая, что творят, и не ведая сомнений. Эта страна была обречена на юдофобию.

Честно сделанное предложение — а спору нет, гость Розы Абрамовны сделал свое предложение максимально честно, даже аляповато честно, — требовало честного ответа.

— Видите ли, — негромко и неторопливо проговорил Гинзбург, словно разжевывая туповатому студенту элементарный материал, — может, я слишком щепетилен или тонкокож... Уж не знаю. Какой есть, такой есть. Но я совершенно не могу дышать в антисемитской стране.

Руфь, глядя в свою тарелку, глубоко втянула воздух носом. Она опасалась чего-то подобного, отметив, как меняется лицо Гинзбурга по мере того, как муж говорил, — но чтобы вот так... Ох, только бы Сема не сорвался... Ох, только бы Сима не ляпнула чего-нибудь!

Сима уставилась на Гинзбурга с таким изумлением, что у нее даже рот приоткрылся.

Тетя Роза безглаголиво оттопырила нижнюю губу и откинулась на спинку стула, непроизвольно постаравшись отодвинуться от происходящего подальше.

Хладнокровнее всех отреагировал Кармаданов.

— Ну что вы, Михаил, — ответил он как ни в чем не бывало. — У нас полно людей, которые с евреев чуть ли не пушинки готовы сдуть.

И даже не понимает, что несет, подумал Гинзбург с горечью. Ведь это тоже антисемитизм. Он сказал фактически вот что. Или эти жидаы — все сплошь смертельно больные, и им надо только поддакивать, чтобы не омрачать их последние часы и не огорчать на смертном одре. Или эти жидаы — все сплошь буй-

ные психи, и им надо только поддакивать, потому что они за первое же против шерсти сказанное слово укусят или кипятком плеснут, а им ничего не будет, ведь у них — справка из психдиспансера. Вот что значат его пушинки.

Я не псих, напомнил он себе, и я не при смерти.

— Не будем спорить о пустяках, — мягко одернул он Кармаданова. — Вам просто надо уяснить: то, что не антисемитизм для русского, вполне может оказаться антисемитизмом для еврея.

— Ну, это не бином Ньютона, — сказал Кармаданов. — Своя рубашка для всех ближе к телу.

Опять это их «для всех», подумал Гинзбург. Вот-вот. Ныне дикий тунгус. Убогий чухонец. Все меньшие братья, всем неведома общая польза, а мы, великий народ, простим им их маленькие слабости, будем их отечески любить и холить, наставлять на путь истинный, защищать, учить братству и брить в солдаты.

— Вероятно, именно уяснив этот факт, — сказал Гинзбург, — в России так полюбили сдирать со всех рубашки и наряжать в гимнастерки единого образца.

И тут грянул гром.

От смущения Сима вспыхнула, как маков цвет — но сдерживаться не стала.

— Дядя Миша! — звонко отчеканила она. — А если вам ни с того ни с сего на каждом шагу будут пенять, что евреи гоев за людей не считают? Вы небось ответите: спасибо за конструктивную критику, господа, мы исправимся? Нет, вы скажете: черносотенцы! Фашисты! А сами? Это разве честно? Разве справедливо? Какого ответа вы ждете?

Тишина ударила такая, что, если чуток поднапрячься, можно, наверное, было бы услышать, как да-

леко-далеко, на полстраны южнее, в Газе торопливо клепают очередной «кассам».

— Серафима! — почти выкрикнула Руфь. Лицо ее пошло красными пятнами.

Общее остолбенение разрушилось.

Тетя Роза покачала головой.

— Какая советская девочка у вас растет, — сказала она.

— Благодарю, — очень ровным голосом ответила Сима. — При всем желании вы не могли бы мне сказать ничего более приятного.

О господи, ошеломленно подумал Кармаданов. Вот же приехали. И как быстро-то, в пару реплик; икнуть не успели, и уже — привет.

А у дочки при слове «советский», наверное, кадры выкачанных из сети старых фильмов перед глазами плывут. Счастливое детство, пионерские зорьки среди колосющихся полей, и под вражьем огнем — бескорыстная нерушимая дружба... Но он сильно подозревал, что у доброй гостеприимной хлебосольной тети Розы то же самое сочетание звуков вызывает перед мысленным взором единственно Сталина в парадном мундире: погоны блещут, усы торчат, в одной руке истекающая кровью голова Михоэlsa, в другой — подписанный приказ о депортации евреев в Сибирь, которого никто никогда не видел, но в который не верят одни антисемиты.

Конечно, ведь спокон веков было и, наверное, во веки будет, потому что у человека так мозги устроены: наш миф — это священная спасительная истина, ее нужно любой ценой донести до заблудших людей, до всех и каждого, а то они ничего не понимают и, конечно, пропадут; а чужой миф — это кошмарное заблуждение, замешанное на подлом, корыстном обма-

не и всегда приводящее к кровавому подавлению несчастных инакомыслящих.

Охо-хо...

Гинзбург тяжело поднялся.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал он.

Ужин завершился в молчании, и до самой ночи никто и словом не обмолвился о случившемся кремневом ударе с искрой; хозяйка была ласкова с Симой, как никогда, а девчонка ходила шелковая, тише воды, ниже травы, и отвечала только: «Да, тетя Роза...», «Хорошо, тетя Роза...», «Спасибо, тетя Роза, тогда раба...»

И лишь когда все улеглись, Кармаданов, всегда заходивший к Симе пожелать спокойной ночи, присел рядом с ее раскладушкой и вместо обычных слов громко сказал:

— Никогда больше так не выступай.

— Почему? — так же вполголоса спросила она.

— Потому что...

Он запнулся. Нельзя было ей сейчас не объяснить. Но для этого сначала надо было четко понять самому.

Стало тихо. Смутно громоздились стеллажи библиотеки покойного мужа тети Розы.

— Знаешь... — мягко начал Кармаданов. Сима с подушки глядела ему в лицо неотрывно, не мигая. — Есть во Вселенной такие черные дыры... Ты знаешь, конечно. Если туда что-то попадает, вырваться уже не может. Хоть надорвись, хоть на мыло изойди. Добрый ты, злой, честный, подлый — дыре все равно. Между людьми есть похожие... черные мертвые зоны. Никогда наперед не знаешь, где зона начинается и где кончается, потому что трудно сразу сообразить, где кого ранили и у кого что болит. Но соображать надо обязательно, потому что... Потому что оттуда, из этой мерт-

вой зоны, ни единый звук, ни единый лучик света не в состоянии прорваться. Можно сидеть вот так рядышком — но к тебе от меня или от меня к тебе не дойдет ничего. Просто ничего. А если дойдет — совсем не то, что от меня ушло. Совсем не то, что я послал. Черное превратится в белое, «да» в «нет»... Это всегда бывает, когда у одного болит одно, а у другого — другое. Люди понимают друг друга, только когда говорят о том, что у них одинаково болит, либо о том, что у них одинаково НЕ болит. В мертвую зону нельзя лезть, поняла? Ничего не добьешься, только прибавишь боли. А ее и так в мире видимо-невидимо.

Сима помолчала. Кармаданов думал, что она, когда созреет наконец нарушить молчание, скажет что-нибудь детское, звонкое, заведомо правильное — например: «Но ведь он первый начал!» А Сима спросила:

— Как же тогда жить?

Кармаданов через силу улыбнулся.

— Аккуратно, — сказал он. — Применяясь к законам природы. Ты ведь не отчаиваешься оттого, что ходить можно только по земле, а по воде — нельзя? По воде, чтобы не утонуть, надо плавать, и тут нет поводов для отчаяния.

Она помедлила, но он чувствовал, что разговор не окончен, и еще подождал. И дождался.

— А как ты думаешь, па... Между русскими и евреями эта зона увеличивается или уменьшается?

У Кармаданова перехватило горло.

Порой ему казалось, что зона увеличивается; тогда от безнадежности и тоски ему хотелось выть.

— Не знаю, дочка, — сказал он. — Поживем — увидим.

Она кивнула понимающе, как взрослая.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Он осторожно прилег рядом с Руфью. Впервые после ужина они остались вдвоем. Он соскучился по ней за этот вечер так, будто они не виделись с позапрошлой зимы. Жена лежала вытянувшись, с закрытыми глазами — но он сразу почувствовал: она не спит. От нее веяло напряжением. Отчаянным, на грани паники, ожиданием. Она была точно одна сплошная тугая судорога. Он приподнялся на локте, осторожно коснулся губами ее нежной шеи. Она не шевельнулась, но у нее пресеклось дыхание. Он коснулся ее шеи губами еще раз. И тогда она прильнула к нему так, словно им вновь стало по двадцать лет.

Он был всемогущ, всемогущ, как создатель и господин миров. Она была такой податливой, покорной и бездонной, какой в детстве кажется будущая жизнь. И когда полыхнул наконец живительный выстрел, это было сродни радуге, что сшила воедино гонимые ветром облака. Все в мире черные мертвые зоны насытились ослепительным пульсирующим сиянием, лопнули, и их мелким мусором смело на край Вселенной.

— Я так испугалась...

— Я так растерялся...

— Я подумала, вдруг ты решишь, будто я тоже не могу у нас дышать...

— Я подумал, вдруг ты из-за меня остаешься там и мучаешься...

А назавтра их то ли осчастливили, то ли выставили под безупречно благовидным предлогом. Через кого-то из бесчисленных знакомых тетя Роза во мгновение ока купила им в подарок семидневное пребывание в Эйлате — не в «Царице Савской», конечно, много скромнее, но для Кармадановых так было и лучше,

они не любили роскоши и не были к ней привычны, ощущая себя тем более неловко, чем гуще сверкали апартаменты. «Надо же вам поплавать в настоящем теплом море, — сказала тетя Роза. — Сколько можно людей пугать на здешнем пляже. Вы же не шведы в отпуске, а родственники почти что дома. И новые места посмотрите, и своим кругом отдохнете, а то что вам каждый вечер на старуху любоваться...»

В общем, сказано все было исключительно душевно и заботливо — и, быть может, зря Кармаданов не мог отделаться от молчаливого подозрения, что просто-напросто им после инцидента решили дать время малость охолонуть.

Так случился Эйлат.

И на четвертый день их сибаритства в этом маленьком густо заселенном Эдеме, стоило Кармадановым взяться за вилки, в ресторанный зал, где завтракали немногочисленные разоспавшиеся чуть ли не до обеда постояльцы, вошел и замер у порога, озираясь, Гинзбург — в белых штанах и белой рубашке навыпуск, расстегнутой до половины волосатой груди, в модных солнцезащитных очках, такой пляжный, что дальше некуда. Кармаданов сразу отложил вилку; в животе у него екнуло, а в голове мелькнуло: ага, передумал. Иначе зачем бы? Он приветственно помахал Гинзбургу рукой, тот их заметил и решительно пошел между столиками. Руфь и Сима как-то одинаково подобрались.

— Доброе утро.

— Доброе утро!

— Бокэр тов, дядя Миша. Хаим авра нсиатха бшалом?

— Батюшки мои! Отлично доехал, Сима, отлично, спасибо... Но какие успехи в иврите у советских детей! Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут...

— Дядя Миша! Вы теперь меня навечно зачислите в списки части?

В общем, встреча сотворилась лучше некуда — будто старые друзья, лишь после ужина расставшиеся и уже малость соскучившиеся по веселому общему трепу, с утра вновь уселись за один столик.

— Роза Абрамовна любезно назвала мне гостиницу. Я так и думал, что застану вас за завтраком... Вы не против, если я на подня составлю вам компанию на пляже?

— Напротив, только рады будем, — вставила Руфь.

— А чем обязаны? — не утерпел Кармаданов.

— Да так... Свободное утро, суббота. Погода прекрасная. Дай, думаю, побарствую в хорошем обществе. Встал до рассвета да и поехал с ветерком. Езды, правда, почти шесть часов, но иногда не грех себе позволить.

За завтраком и по дороге к пляжу они беседовали степенно, светски. Посетили ли океанариум? А то как же! А на лодке с прозрачным дном плавали, рифы смотрели? Плавали, но, по правде сказать, мало что увидели. А съездили в Тимна-парк? Еще бы, потрясающе! А на гору Соломона? Еще нет, собираемся завтра. А в Петру на экскурсию есть планы? Нет, к сожалению, не успеем. Остались считанные дни — и в обратный путь. Уже не хочется суетиться, подумали-подумали и решили тупо пляжиться. А почему такой короткий отпуск? По многим причинам. Летом не удалось, а сейчас — Сима и так неделю школы пропускает, придется объясняться, нагонять. Часть поездки подгадали на осенние каникулы, но вот сейчас все приличные дети уже учатся — а мы тут баклуши бьем. А давайте по фрешу? А давайте! Какой на вас смотрит? Киви, гранат? Знаете, мы, если честно ска-

зять, уже все перепробовали и коллективно поняли, что лучше морковного нет. О, морковный патриотизм! Ну ведь это все же не квасной, правда?

И вот они отдыхали вместе уже третий час.

Купалась Сима минут двадцать, так что Руфь, приподнявшись на локте и приставив ко лбу ладонь, принялась высматривать дочкину голову в воде — не столько тревожась всерьез, сколько потому, что так надо. Идише мама. Тут никто не забалует: ни дети, ни взрослые. Когда Сима, наплескавшись и, похоже, заскучав в одиночестве, нога за ногу двинулась назад, Руфь сразу заметила ее попятное движение и успокоенно легла вновь.

Один из парней, видимо, обративший внимание, на каком языке переговариваются соседи, не выдержал и, когда дочка проходила мимо, позвал на безупречном, лишь интонационно чуть странном русском:

— Девушка! А девушка!

Сима обернулась — вполоборота, небрежно и свысока, словно маленькая малкат Сва:

— А?

— Вы из России?

— Да.

— Русская?

— А что, не видно?

— Честно говоря, нет, вы на нашу больше похожи. Давно оттуда?

— Нет.

— И как там?

— Хорошо. Медведи по улицам ходят, — дружелюбно поведала она.

Парень то ли и впрямь не расслышал, то ли решил продемонстрировать остроумие, а вдобавок — знание российской жизни и русского сленга:

— Медведев по улицам ходит? — ахнул он, звучно шлепнув себя ладонями по голым коленям. — Да он храбрец! А кого же возят в членовозах?

Сима вся повернулась к нему.

— Учителей, — откровенно сказала она. — Вот у меня мама литературу в школе преподает, так ей положен «майбах». И шофер каждый день спрашивает, к какому уроку завтра подавать...

Гинзбург спустил ноги на песок, сел и повернулся к Кармаданову.

— Жарконько. Пожалуй, тоже пора освежиться, — сказал он. — Не составите компанию, Семен?

Кармаданов подумал: вот оно. Похоже, Гинзбург отчего-то хотел говорить наедине, и что тут может быть лучше купания вдвоем? Правда, сейчас Кармаданов лучше бы послушал беседу девочки с новобранцами. Они уже трепались как старые друзья, будто всю жизнь в одном классе проучились, и сверкали друг другу улыбками. «Вон, видите, в конце набережной экскаватор? — спрашивал другой парень, не тот, что заговорил первым, и показывал вдаль: там действительно велись какие-то работы (может, гостиничная канализация лопнула?), и тяжелый механизм периодически дергал вывернутым в небо блестящим жилистым локтем и вываливал в воздух черные комья выхлопов. — Это я там вчера два шекеля потерял. Теперь ищут...» — «А как же шабат?» — со знанием дела спрашивала Сима. «Так два шекеля же!»

— С удовольствием, — ответил Кармаданов Гинзбургу и резво встал. Смеющаяся Сима на миг обернулась к нему: все в порядке? Кармаданов сделал ей глазами: все в порядке, веселись.

— Тесновато здесь, — пробормотал он, когда они с Гинзбургом плечом к плечу подошли к воде. — Бо-

ны вдоль всего пляжа, да еще так близко от берега... Не расплаваешься особо.

— А мы поднырнем, — заговорщически ответил Гинзбург, пробуя воду ногой. — Совсем теплая.

— Паники не будет? Спасать нас не начнут?

— Не думаю. Если бы подштармливало — другое дело, но сейчас...

— Да, море как зеркало.

Они вошли в это жидкое зеркало; оно обняло их сверкающими бликами и понесло. В Красном море удивительная вода. Она еще не выпихивает тебя хамски, как в Мертвом, домкратом в пуп, не пуская погрузить ни локти, ни пятки; но, кажется, надо лишь легонько шевельнуть плавниками — и уже скользишь. И отчетливая твоя лягушачья тень на песчаном дне скользит за тобой, окруженная шевелящейся путаницей медленно расходящихся светлых полос, мало-помалу отставая, погружаясь все глубже и теряясь в сумраке, выползающем из глубины.

— Жутко подумать, но у нас там уже первый снег на улицах киснет, — сказал Кармаданов.

— Родина, — с толикой сарказма сказал Гинзбург.

— Это точно, — мирно ответил Кармаданов. По-медлил. — Сказать по правде, целый год без снега — по-моему, тоже невыносимо.

— Я первые годы страшно скучал, — вдруг признался Гинзбург.

— По снегу?

— И по снегу тоже.

Лавируя между головами и телами, они неторопливо оставили позади полощущихся у берега пожилых, потом миновали несколько парочек, что миловались вплавь, сплетаясь в невесомости, в жидком синем сиянии, и впереди остались лишь нарезающие

стометровки отрешенные, с неменяемыми лицами борцы за здоровье да плавучая полоса ограждения. Гинзбург залихватски подмигнул Кармаданову:

— Вперед?

— В Иорданию не угодим? — в тон ему спросил Кармаданов.

— Ну, не до такой же степени... — бросил Гинзбург и надал. Держался в воде он прекрасно, даром что был уже совершенно не первой молодости. Кармаданов едва поспевал за ним. Впрочем, подумал он, имея возможность залезать в такое море едва ли не весь год, грех не плавать, как Ихтиандр. Это надо быть уже совершенным лентяем и лежебокой. Если бы мне довелось тут жить, невольно прикинул он на себя, я бы из моря просто не вылезал. Не сбавляя темпа, Гинзбург приблизился к ограждению и легко нырнул — только белые пятки слепяще оттолкнулись от солнца, и светлое пятно, отчетливо видимое в кристальной воде, стремглав унеслось в глубину и вперед. Кармаданов набрал воздуха побольше и, постаравшись не ударить лицом в грязь, ударил им в Красное море. Под водой он сразу открыл глаза. В синем сумраке впереди туманный белесый Гинзбург пер в открытое море, как афалина. Что-то он чересчур раздухарился, подумал Кармаданов, и тут Гинзбург пошел вверх.

Они отплыли не слишком далеко. Вскоре Гинзбург завис, медленно шевеля ногами и отфыркиваясь. Кармаданов, немного задыхаясь, догнал Гинзбурга и тоже завис; ноги вкрадчиво потянули его в глубину и поставили в воде торчком. Набережная, уставленная громадами отелей и украшенная зеленью деревьев, как приправой к фирменному блюду еврейской кухни, была отсюда видна уже вся.

— Сидячий образ жизни, — укоризненно сказал Гинзбург.

— Он, окаянный, — ответил Кармаданов и выморкался.

— Нельзя без нагрузки, — сказал Гинзбург. — При снеге я бегал на лыжах.

— Дочка у меня тоже обожает лыжи, — мирно ответил Кармаданов. — Правда, весной это увлечение чуть не вышло ей боком.

Если Гинзбург заинтересуется, что там у нас весной стряслось, подумал он — тогда будет уже вообще непонятно, на кой ляд мы тащились на середину моря.

Гинзбург не заинтересовался.

— Вы, наверное, теряетесь в догадках, за каким бесом я вытащил вас чуть ли не на середину моря, — сказал он.

Кармаданов улыбнулся.

— Грешным делом, — сказал он, — я заподозрил, что вы, возможно, решили все же связаться с Алдошиным и что-то ему передать. Но рассказать мне об этом хотите сугубо тет-а-тет, потому что боитесь Серафимы.

Гинзбург от души рассмеялся.

— Вы почти угадали. Ваша страстная девочка будет вить из мужчин веревки. Мужчины будут у нее по струнке ходить. Я, во всяком случае, готов. У нее уже есть молодой человек?

— Да вроде нет еще...

Гинзбург с сомнением повел мокрой головой. На лысом черепе его бриллиантами сверкнули капли.

— Я действительно хочу кое-что через вас передать, Семен, — серьезно сказал Гинзбург. — Алдошину или кому-то еще, это уже вам решать.

— Начало многообещающее, — сказал Кармада-

нов и с силой оттолкнулся ногами в сторону, меняя положение, чтобы солнце с неба и из моря не било ему в глаза — в триумфальном двойном сиянии он совершенно не видел лица Гинзбурга.

— Я не передумал и не мог передумать, — негромко сказал Гинзбург, глядя мимо Кармаданова. Кармаданов обернулся.

Неподалеку от них, мягко рокоча, проплывал, выходя в море на очередной часовой круиз, переполненный туристами кораблик с прозрачным дном; люди на палубе — их было полно наверху, рифы, на которые надлежало любоваться из трюма, еще не начались — припали к борту, глядя на две головы, бесшабашно болтающиеся на траверзе. Кармаданов помахал им рукой, и по меньшей мере два десятка человек с мимолетным курортным дружелюбием наперебой ответили ему тем же. Кораблик миновал пловцов и стал удаляться, неумолимо разворачивая за собой веер бурунов перемолотой воды; через пару минут нас покачает изрядно, мельком подумал Кармаданов.

— Не мог, — решительно повторил Гинзбург. — Все, что я сказал тогда вечером... — запнулся. — Ни от единого слова не отказываюсь. Но... Это не единственная причина. И я чувствовал бы себя не до конца честным с вами и не вполне порядочным, если бы ее не обозначил.

— Слушаю вас, — серьезно сказал Кармаданов. И тут накатило с шумом и шипением пузырьков; мягко подбросило, взболтало, опустило. Мягко подбросило снова.

— Спи, моя радость, усни, — сказал Кармаданов, когда зыбь стала стихать. — Прямо как в колыбели, да?

— Да, — ответил Гинзбург. — Или в шампанском. Так вот. Примерно за неделю до вашего приезда ко

мне обратились... как бы это сказать по-русски... компетентные товарищи. Правда, они меня не к себе вызвали, как заведено в России, а вежливо договорились о встрече в моем любимом кафе... Честно сказать, с тех пор мне пока не хочется туда заходить. Один компетентный товарищ, возрастом и, вероятно, чином постарше, слегка рассказал мне о корпорации «Полдень» — я, простите великодушно, до этого о ней даже не слышал. Коротенько поведав, как и в каких количествах вы там тщитесь переманивать уехавших специалистов обратно, он предположил, что и меня не минет чаша сия. Тогда компетентный товарищ помладше уже без обиняков мне пояснил, что если это и впрямь случится, их ведомство было бы весьма заинтересовано в том, чтобы я принял предложение. А приняв его и заняв подобающее место в новой русской программе, счел бы возможным информировать о том, что именно вы там вытворяете.

Он умолк. Зыбь укатилась, и они висели под радостными лучами морского солнцепека, в ласковой стеклянной толще, неподвижно. Только иногда шевелили ногами, сохраняя равновесие.

— Вы не едете, чтобы не пришлось шпионить? — внезапно осипнув, спросил Кармаданов.

Облитое солнцем лицо Гинзбурга досадливо дернулось.

— Тут вам не там, — жестко ответил он. — Если бы я захотел поехать и не захотел шпионить, меня бы никто не заставил. Я бы поехал, и я бы не шпионил. Я не еду, потому что не хочу. Дело не во мне. Они знали, что вы сюда приедете и обратитесь ко мне, вот в чем дело. Я уверен — знали. Семен, у вас там крот.

— Крот?

— Вы что, детективов не читаете? Информатор.

Шпион. Трепач. Не знаю. Никаких подробностей и никаких доказательств у меня нет. Но я должен был вам это рассказать. Потому что... — он помедлил, подбирая слово, но так и не подобрал. — Потому что. Все, давайте плавать наконец. А то вы решите, будто я тащил вас в такую даль только из конспирации.

А то нет, засомневался Кармаданов, но смолчал.

Больше они до самого берега не разговаривали. Гинзбург, видимо, сказал все, что хотел, а светская беседа его не интересовала. А Кармаданов растерялся. Дно уже подставилось под ноги, потом оба они уже вышли с блаженно накупавшимся видом на песок; только тогда Кармаданов неловко сказал:

— Спасибо.

— За что? — удивился Гинзбург, картинно задрал брежневские брови. Кармаданов чуть улыбнулся.

— За урок глубокого ныряния, — сказал он.

— А, — ответил Гинзбург. — Всегда пожалуйста.

И как-то получилось, что они пожали друг другу руки. Со стороны это выглядело потешно — посреди пекущегося на солнце пляжа двое вылезших из моря мокрых мужиков в плавках обмениваются крепким рукопожатием, будто вот прямо сейчас то ли заключили фантастически выгодную для обоих сделку, то ли поклялись бить фашистских гадов до последней капли крови. Но мокрые мужики не видели себя со стороны.

А когда Кармадановы вернулись в «Полдень», зябко мокнувший под зарядами то дождливого снега, то сдобренного сырыми снежными хлопьями дождя, навалились дела, и встреча с Алдошиным подоспела лишь через неделю. К тому времени все окончательно затуманилось. Кармаданов мучился, не зная, что сказать и говорить ли вообще — рассказ Гинзбурга

был так невнятен, так невесом... И он поведал лишь, что Гинзбург по каким-то своим соображениям отклонил предложение и вернуться не захотел — утешая себя тем, что расписывать Алдошину эти шпионские страсти совершенно незачем; они — вовсе не ученое дело, ученому надо знать только, придет Гинзбург или нет, остальное надо излагать совсем иным людям и в ином месте.

И некоторое время Кармаданов тешил себя мыслью, что вот-вот наберется духу, выкроит свободный вечерок и обратится к этим иным людям, и все им поведаст максимально подробно — но водоворот дел не оставлял ни крошки пустого времени, да и идти было, положив руку на сердце, и противно, и неловко; и рассказ Гинзбурга тихо угасал в памяти вместе с термоядерным солнцем, слепящим морским простором и листьями пальм, упруго мельтешащими на ветру. Его все плотней хоронила растущая холодная груда промозглых дней, сыплющихся из предстоящего в отжитое, точно песок в песочных часах. Скоро стало казаться, что и сказать-то ну совершенно нечего. Уехавший из страны ученый, намаявшийся, наверное, еще в советское время в отказниках, не может не быть сдвинут на происках всяких там разведок и контрразведок, на кознях компетентных товарищей, и если вычесть его ни на чем не основанную уверенность, что останется? Только то, что израильские спецслужбы отследили попытки Алдошинской группы собрать в единый умный кулак всех разбежавшихся (а из этих попыток и секрета никто не делал), а потом вполне логично заключили, что и к Гинзбургу могут подъехать, и предупредили его на такой случай. Дело житейское. Оно вполне могло случиться безо всяких измен и утечек. На то и щука, чтобы карась. На то и

разведки, чтобы. Да Кармаданова бы просто высмеяли, завяйся он с такой информацией к серьезным людям. Стоило бы двери за ним закрыться, над ним принялись бы хохотать в голос: не наигрался взрослый дядя в шпионские игры! Видно, слишком усердно читал в пионерском детстве «Библиотечку военных приключений»...

А тут глядь — и весна накатила, и по весне стало совсем не до отвлеченных материй. Слава богу, думал Кармаданов, что Гинзбург не купился на мои посулы. Хорош бы я был. Как бы я ему в глаза смотрел, думал он, с каждой неделей все больше убеждаясь, что давние его опасения, о которых он мало-помалу и думать забыл, начинают все ж таки оправдываться, и финансирование проекта «Полдень» дышит на ладан.

2

Она долго молчала, и он не торопил ее с ответом, понимая, что дочь Шигабутдинова не станет длить паузу из кокетства или, например, от безразличия; если молчит, стало быть, честно старается понять себя или поточней выбрать слова. Потом она произнесла виновато:

— Нет. Я не могу.

— Зарина, послушай. Твой отец погиб почти год назад, и вот уже полгода...

— Не нужно мне все это рассказывать, пожалуйста, я сама все помню. Ты очень хороший. Добрый. Ты маму и меня так поддержал... Я тебя люблю. Но я не могу.

— Заринка, это же нелепо. Молись ты как хочешь, я разве собираюсь тебе мешать? Да никогда! Святое

дело, я ж понимаю! Хиджаб тебе сам буду повязывать. Но и я...

— Если б ты был хотя бы нормальный православный! Человек писания! Но по шариату ты все равно что язычник. Многобожник. Это хуже всего.

— Опомнись. Двадцать первый век на дворе.

Она запнулась, а потом робко, будто сама удивляясь собственной дерзости, попросила:

— Прими ислам.

У него на миг язык отнялся. От полной беспомощности он немощно попытался превратить все в шутку, сбить пафос — и натужно процитировал «Бриллиантовую руку»:

— Нет, уж лучше вы к нам...

Она даже не поняла. Он сообразил, что сморозил глупость. Возможно, пошлость. С тем же успехом можно было тшчиться наладить контакт с жителями какой-нибудь Шестьдесят первой Лебеда, выстреливая им радиотелескопами анекдоты про Василь Иваныча.

— Зарина, но твой отец...

— Я не буду обсуждать его поступки, — глухо сказала она и отвернулась. — Я никогда не обсуждала их и никогда не стану. Он — мой отец. Но перед Всевышним каждый отвечает за свой выбор сам. Мне тоже надо будет отвечать, и за отца там не спрячешься.

Он не знал, что еще сказать. Что тут вообще можно было сказать?

— Мусульманки очень верные, — тихо проговорила она и вскинула на него умоляющий взгляд влажных глаз. — Я буду так любить тебя... всю жизнь. Буду тебе подмогой и опорой. Ты будешь счастлив... — Она осеклась, потом горячо продолжила: — Я рожу тебе много детей. Они станут тебя уважать и слушаться. Чем старше ты будешь, тем больше будешь

им нужен. Ты станешь седой и дряхлый, а они будут заботиться о тебе наперебой, потому что это правильно перед Аллахом. Знаешь... У вас, у русских, пока вы не стали язычниками, тоже было так. Даже поговорку сложили: дурень хвалится красивой женой, умный — старым батюшкой. Давай, а?

Мороз драл по коже. Четверть часа назад, начиная этот разговор — а не начать его было уже невозможно, — он и не подозревал, что окажется на краю такой бездны. Прыгнуть? А может, прыгнуть?

Расстилать коврик в мечети и, раскорячившись, ритмично бить лбом в пол, бубня «Аллах акбар»?

Бред...

Почему всегда уступает он?

Да что за бред! Он любит, она любит — и отказывается от этого из-за такой ерунды?

Она-то без колебаний отказывается из-за такой ерунды!

А он — не из-за ерунды? Подумаешь, коврик...

Но в глубине души он смутно ощущал, что это не ерунда, далеко не ерунда; и, быть может, именно из-за вроде бы смехотворной для посторонних, архаичной, но от того еще более яркой преданности ерунде, каждый — своей, и она, и он еще и сохраняют способность вот так, до головокружения любить и звать к себе через пропасть. И стоит от нее, от ерунды, отказаться, перейти грань — тут-то и станет рукой подать до превращения в обезьян, что вертят голыми задницами в телевизоре и почитают это за славу, честь, сексуальный триумф и жизненный успех...

Он не смог бы этого поймать, как связную мысль — но что-то чувствовал, и потому лишь молча поцеловал ей руку.

— Сейчас зареву, — низким, ровным голосом ска-

зала она, все поняв. — Уходи скорее. Пожалуйста, скорее уходи.

И он ушел.

Может быть, он поспешил. Может, на сей раз не к добру сработала привычка не обижать и не изводить докучливой настырностью. Он всегда жил так: ведь он русский богатырь, он сильнее — стало быть, он и уступит. Ну и где теперь его сила?

И — неужели уступать даже в этом? Даже в этом, и опять — он?

А стоило ему остаться одному, обида перевесила все. Лицо горело, как от пощечин. Да ее слова и были пощечинами. С каждой минутой унижительность произошедшего жгла все сильнее, будто под череп, в грудь, в глотку цедились едкая щелочь. Она его попросту прогнала. После всего! Из-за белиберды!

Да не белиберда это, уже в открытую закричал я.

Но от бешенства он ничего не слышал.

Что же во мне не так, испуганно и яростно думал он, шагая по вечерней Дмитровке — воротник поднят, как у дрянного шпиона, руки в карманах. Подошвы расплескивали снежную слизь; в мокром асфальте, как языки жидкого пламени, плескались отражения реклам. Он шел по мокрому огню. Что он за проклятый такой? Для него никто никогда ничем не жертвовал. Он всегда всем коврик для ног. Наташка... Уж казалось бы: как все хорошо тогда сложилось, немудряще и по-доброму — а вот свинтила к этому занюханному гению, который, как в старой песенке: то ли гений он, а то ли нет еще. Теперь эта фанатичка... Он подумал так, и сам испугался той радикальной трансформации себя, что сделала его способным подумать так. И старательно повторил, будто ставя на случившейся перемене печать: фанатичка. Но нет,

★

будь он ей важен, и фанатизм, как всегда бывает с фанатизмом, вывернулся бы наизнанку — для него и ради него... Я такой неяркий, с ненавистью подумал он. Вечно боюсь обидеть, показаться эгоистом, настоять на своем. А таких никогда не любят. Ради таких никогда не жертвуют — наоборот, таких приносят в жертву, потому что у них на лбу написано: от меня никакого проку иного быть не может, кроме как принести меня в какую-нибудь жертву. Кто успеет первый — тому и конфетка. И если втоптать меня в грязь, то не приходится опасаться ответных пакостей, ведь у меня совесть, я любого готов понять... А потому подай, Корховой, принеси, Корховой. Пока нужен — ладно, так и быть, почешем за ухом. Надобность отпала — все, ты неинтересный. Ничего не можешь. Никогда не берешь того, что идет в руки. И уж давно — не удерживаешь того, что в руках. Никогда не ударишь кулаком по столу без того, чтобы потом сто раз виновато и униженно не попросить прощения за резкость. Кто будет такого уважать, кто будет бояться потерять такого? Никто. Ух, какая тоска.

Ненависть поднималась в нем откуда-то от мокрого, горящего холодом асфальта и плющила сердце, как корабль во льдах. Трудно было дышать.

Справа Петровский переулок, потом слева Козицкий переулок... Впереди уже виден скверик, где торчит распятый на гитаре каменный Высоцкий.

Вот уж кто с окружающими не церемонился...

Потому и великий.

С детства знакомые места. Вот тут был магазинчик, где в пору позднесоветского дефицита, когда улица еще называлась Пушкинской, стояли в свободной продаже пишущие машинки и всякие к ним причудалы. Он, пятиклассник, приходил сюда и тихо

благоговел на хлипкие югославские «де люкс», на «ятрани», неуклюжие и тяжелые, будто камнедробилки; молился на коробочки с красящей лентой и пузыречки с корректирующей белой замазкой и мечтал: вот куплю пишущую машинку и буду писать... И что он написал? Ничего. Кто знает такого журналиста? Никто. Что проку, что он всегда старался сочинять аккуратно, взвешенно, бережно, так же, как старался и жить — чтобы никого не оскорбить попусту, чтобы читатели от его статей не стервенели, а постигали? Что толку, что ни разу он слова не написал непроверенного? Знают и помнят тех, кто помогает звереть. Кто врет жгуче, тот и остается в памяти. Кто будоражит самое хамское и нахрапистое, оказывается влиятельным. Никто не хочет постижений, все хотят лишь оправданий своей злобе. Чтобы она из будничной, бытовой превращалась в возвышенную и благородную. Все будут почитать за властителя дум и на руках носить того, кто доказательно скажет каждому: твоя жестокость — лишь ответ на чужую, начал не ты, и теперь ты вправе. Только за такое и платят настоящему, а за все иное — по остаточному принципу.

Да, это еще один штришок. Он никогда не полагал деньги главным. Радовался, конечно, если позолотят ручку за написанное от души — но никогда даже в мыслях не держал писать опричь души ради того, чтобы позолотили ручку.

Кому нужен такой дурак? Никому.

Ни разу с той поры, как он завязал, не хотелось ему надраться так, как захотелось в тот вечер.

Жизнь, ошавев от обилия вдруг вспыхнувших по сторонам странных возможностей, нависла над многовариантной развилкой и на миг заколебалась в неустойчивом равновесии — но, не изменившись, пово-

локлась наторенной колеей. Осталась прежней. А значит — обрушилась внутрь себя, как выгоревшая звезда.

Но жизнь не может стать ни белым карликом, ни сверхновой — она просто превращается в собственный муляж.

Корховой вошел в метро.

А через несколько дней у него состоялся еще один важный разговор. Корховой ждал его давно и немало старался, чтобы разговор этот произошел, — и вот наконец дождался.

Сразу царапнуло, что его потенциальный работодатель, вершитель судьбы, организатор, менеджер — лет на десять моложе совсем еще даже не старого Корхового. Ушлый развязный щенок.

— Известно, какое внимание уделяется сейчас проблемам подъема отечественной науки. А ведь вы, Степан Антонович, всю жизнь писали на темы естествознания и о тех, кто естествознанием занят. Не обидно сейчас оказаться в стороне от основного процесса?

— Да я не считаю, что я в стороне. Вопрос в том, что считать основным...

— Ох уж эта казуистика! Ее так любят пожилые... Заболтают, знаете, любое дело — а потом руками разводят: почему денег нет... Основной процесс — это, знаете, тот, на который тратятся основные средства. Все очень просто и однозначно.

— Может быть, — угрюмо сказал Корховой, — вы перейдете ближе к делу?

— С удовольствием. Мне просто показалось полезным сначала обозначить подходы... Мы задумали на нашем канале цикл передач. Вдохновляющих, смелых, полных загадок и недоговоренностей, будоражащих, знаете, мысль. Хочется поднять материалы обо всех заброшенных исследованиях восьмидесятых-де-

вяностей. Не доведенных до конца, забытых, проваленных по каким-либо вненаучным причинам. Под таким, знаете, соусом, что все бы давно уже было, если бы хватило воли. Политической, финансовой...

— Простите, не очень понял. Было бы «все» — что?

— Ну, как вам сказать. Вы же специалист. Вам и судить. Подытожьте все слухи, все обрывочные сведения, которые время от времени просачивались... А может, и что-то новенькое отыщется, это бы вообще стопудово. Надо же как-то подсаживать молодежь на мысли! Патриотизм пробуждать, веру в интеллектуальный потенциал народа... Вам бы мы доверили подбор материала и написание сценариев. Вчерне. Деньги, разумеется, соответственные. На это, повторяю, страна сейчас средств не жалеет. Значит, нельзя уклоняться. Нельзя, знаете, упустить счастливую возможность сказать свое веское слово. Сквозная тема такая: мы бы уже все давно на фиг открыли, если б не взятки-блядки, неверие либерастов в силы русского мозга, интриги и склоки академических маразматиков, коварный враг... Ну, вы сами понимаете.

— Простите, но подобные сюжеты уже бывали...

— Да. Такие, знаете, любительские. От случая к случаю. Им не хватало размаха и последовательности. Мы хотим сформировать целую линейку передач. Тектоническое оружие, антигравитация, управление геномами... Только без мистики, пожалуйста, это другой канал, а все остальное — ваше, на сколько фантазии хватит.

— Фантазии?

— Ну, разумеется, аргументированной фантазии. Романтика, знаете, науки, рукотворные чудеса, невероятные прозрения гениев... Я даже конкретных тем предлагать сейчас не буду, вы за пять минут лучше

меня набросаете примерный план хоть на десять, хоть на пятнадцать передач. Я же знаю ваши возможности, уважаемый Степан Антонович. Вы один из лучших в своей области. Не буду вам, знаете, неуместно льстить и называть знаменитым... Понятно, что, работая по проблемам науки, в Рашке знаменитым не станешь — антигравитация не бойфренды Пугачевой, массовый читатель на антигравитацию не поведется, но... Ваша добросовестность известна всем, кто маломальски интересуется высокими материями. Вот теперь вы с присущей вам, знаете, добросовестностью максимально аргументированно и убедительно станете рассказывать о победах нашей большой науки. Да, не свершившихся — но вот вам, дескать, юные энтузиасты, и карты в руки, вперед! Я тут полистал ваши замечательные статьи и вижу — эти темы вам близки.

— Антигравитация, значит?

— Она, родимая! Вещь нужная, и, согласитесь, само словцо нехило торкает.

— А может, снимем про то, что Тунгусский метеорит был побочным результатом экспериментов не какого-то там Теслы, а нашего Попова?

· Менеджер коротко поразмыслил.

— Мысль интересная, но, пожалуй, перебор. Слишком, знаете, давно дело было, кто сейчас про Попова помнит... А что, метеорит действительно Тесла запустил?

На какое-то время Корховой потерял дар речи.

— Нет, — смиренно ответил он потом. — Я просто пошутил.

— А вот шутить не надо, дело нешуточное. Знаете, раньше говорили — страна ждет от вас подвига!

— Подождите... — Корховой растерялся. Такого уровня он все-таки не ожидал. Потом его прорва-

ло: — Какие победы науки? Послушайте, наукой могут заниматься только те, кто превыше всего на свете хочет сначала просто что-то понять. Не суметь, а понять! Не «Хочу все сдать», а «Хочу все знать»! Как Архимед под мечом захватчика: не тронь мои чертежи! Меч могущественней чертежа, но для Архимеда чертеж был важнее меча! Вы что, думаете, людей можно вдохновить чертить чертежи, выдумывая какие-то мифические мечи?

— Ну-ну, — снисходительно сказал менеджер.

— Что ну-ну?

— Не та стилистика. Архимед, мечи... Архаичная белиберда. Проще надо.

Корховой глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки.

— Поймите, я не фанатик и не утверждаю, что только в поиске истины смысл жизни. Но у того, кто занимается наукой, это так. Наука же не обещает и не творит чудес! Чудеса обещают вруны и жулики! Ученый не приказывает природе, а познает ее волю. Не повелевает ветрами, а ищет, где поставить паруса. А вдохновлять выдуманными, высосанными из пальца феерическими достижениями — нелепость, вы породите только спекулянтов, они будут гнаться не за знанием, а за тем, чтобы выкачать побольше денег из казны, точь-в-точь...

Он осекся.

Он поймал себя на том, что едва не сказал: «точь-в-точь, как вы сами».

Наверное, он осекся поздно. Наверное, продолжение фразы было слишком очевидным, и менеджер его угадал.

Удивительная вещь — барская улыбка. Все так же прищурены глаза, так же раздвинуты губы, так же зу-

бы сверкают; но в одно мгновение насыщение всех этих мимических формальностей становится разительно иным — из приветливого угрожающим, из добродушного хищным. Хотя по всем признакам — ничего не произошло, человек как улыбался, так и улыбается. Но где-то щелкнул переключатель, и под стеклянной маской зажглась лампа другого цвета.

— Знаете, уважаемый Степан Антонович, — задумчиво сказал менеджер. — Вам же и карты в руки. Делайте престижным поиск истины, а мы посмотрим. Поможем, подправим. И должен вам сказать, что у нас вполне и без вас хватает работников — молодых, эффективных, без комплексов. Любой из них, знаете, просто ухватится за ту возможность, которая сейчас предлагается вам. Зубами вцепится и уж обратно ни-почем не выпустит. Просто я подумал, что безупречное имя человека, который всегда писал только то, что искренне полагал верным, само по себе постепенно стало капиталом. Его нужно наконец пустить в дело, как вы полагаете? Но, в конце концов, это, знаете, ваши проблемы.

Весь трясаясь от бешенства, с горящим лицом Корховой вывалился из помпезного офиса, и тяжелая медлительная дверь с механической неотвратимостью затворилась за ним. Он поднял воротник, сунул руки в карманы и медленно пошел в сторону Арбата. Надо было пройтись, чтобы успокоиться, а от Смоленской к его дому была прямая ветка...

И кругом снова закипел великий город.

Провонявший героином и экстази. Распухший, как утопленник, от своих и чужих денег. Осатаневший от разом спущенных с цепи вожделений...

Когда-то Корховой обожал эти места. Он понимал, что не слишком оригинален, и любить арбатские пере-

улки с некоторых пор сделалось настолько банальным, что однозначно свидетельствовало об отсутствии высоких творческих потенций; но ему было плевать. Эти дворы уж какому поколению подряд освещали жизнь оконцами, с детской наивностью окрашенными в разноцветные занавесочки, и дышали, будто птенцов отогревая, незатейливым бабушкиным уютом; когда их взорвали стеклянные, без роду и племени новоделы, пошедшие вскакивать на теле Москвы, как громадные, налитые до полупрозрачности гнойники, — Корховой понял, что загноилась душа страны.

Он простить себе не мог малодушия, которое только и заставило его закончить разговор вежливым «Я должен подумать». Он даже не дал щенку в зубы, когда тот усмехнулся издевательски: «Только не увлекитесь размышлениями».

Сколько слов!

А значили они лишь две вещи: чтобы всерьез и надолго присосаться к финансовому потоку, оросившему ныне гордость за Отчизну, понадобился сериал без конца, этакая «Кармелита» о полной превратностей и вражьих козней судьбе прекрасной и вечно юной русской науки; и нужен негр, который готовил бы реальный материал, а они потом делали бы с этим материалом что вздумается, потому что никто из многочисленного откормленного персонала, все — на «Паджеро» и «Субару», не смыслил в науке ровным счетом ничего, но каждый очень даже смыслил в том, что нужно народу и где касса.

Господи, в отчаянии думал Корховой, теперь эта свора патриотизм распиливать кинулась.

В советское время она воспевала СССР и учила любить его и им гордиться. Потом принялась воспевать демократические ценности и права человека. Те-

перь, толкаясь локтями и на бегу теряя шузы, развернулась опять и рванула туда, где с некоторых пор платят больше; и из поколения в поколение все, до чего она, эта свора, эта сволочь дотрагивается своим блудливым липким языком, превращается в гротеск, в абсурд, в надутое уродство, в издевку над здравым смыслом... Пять лет такого воспитания патриотизма — и он станет ненавидимой и презираемой всеми пародией на себя ровно так же, как когда-то слаженными усилиями эффективных, не обремененных комплексами работников в пародию на себя безнадежно превратились и мораль строителей коммунизма, и общечеловеческие идеалы.

Похоже, все в области духа, что начинает подвергаться материальному стимулированию, непременно выворачивается наизнанку.

Да, но, черт возьми, может, все-таки лучше, если за деньги говорятся слова ЗА нас, чем если за те же деньги говорятся слова ПРОТИВ нас? И почему это я все время должен оказываться по другую сторону от денег? Мир теперь так устроен, черт его возьми совсем, что только те слова, которые хорошо оплачены, будут услышаны! Что же теперь, вешаться? И кому станет плохо? Я буду висеть, думал Корховой распаленно, а они будут жрать?

Неужели и на этот раз он позволит себе остаться в дураках?

Как там сказано-то?

Любезная сердцу цитата; сколько раз она Корховому, пусть и неверующему, помогала, давала надежду, аж слезы набухали...

Началось все со звезды Полюнь; бабахнула откуда ни возьмись, и воды стали горьки. Но на нее мы уж

всяко насмотрелись, нахлебались горечи вдосталь, а потом...

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое»¹.

Очень славно.

Но пока святой город сходит с неба, пока, понимаете ли, Сидящий на престоле якобы чего-то там себе творит — нам есть-пить и себя уважать КАК-ТО НАДО?

Если бы Корховой и впрямь был выгоревшей звездой и какой-нибудь астрофизик сумел заглянуть в него в тот момент, когда он, в мокро отблескивающей куртке, ссутулившись, брезгливо жмурясь то ли от порхающей в воздухе ледяной мороси, то ли от отвращения к себе, среди толпы таких же мокрых угрюмых торопливых людей подходил к некогда любимой станции московского метро, он назвал бы то, что увидел, обычным нейтринным охлаждением. Дотлевающее ядро души сжималось все сильнее, все туже, давление в нем нарастало, как под гусеницей медленно наползающего танка; суетливая рябая мелочь элементарных частиц начала невозможные прежде превращения, и с выделением уже не способных никого ни осветить, ни согреть нейтрино последние крохи энергии пошли вразнос.

Как все в мире похоже...

¹ Откр. 21:1-5.

Корховой даже остановился.

А я знаю, с чего начну этот сериал, понял он, и у него даже мурашки побежали по спине. Никто не знает, с чего можно ударно начать, только он знает. И только он сумеет.

Поняли? Только он.

И вдобавок — может, то, с чего он начнет, все-таки окажется не высосанной из пальца лажей, а правдой.

Хотя какая теперь разница.

— Наташка! Привет, радость моя! Не узнала? Ха-ха, богатым буду! Это твой безутешный воздыхатель... Ну, молодец. Признала. Да, сто лет не виделись, не слышались... Ты в первопрестольную не собираешься? Нет? Совсем укоренилась там в Полудне, или как ваш Арзамас Шестнадцать нынче кличут? Крутом шешнадцать, ага. Нет, не выпил... Голос веселый? Получил долгожданное предложение, от которого невозможно отказаться. Почему невозможно? Потому что неохота. Слушай, я о деле между делом. Если я к вам заеду на несколько дней, на недельку, там где-то можно остановиться? Гостиница пустует в межсезонье? Ага, хоть вся моя? Чудненько... Значит, самое время. Да, понимаешь, я готовлю серию статей... А может, и не только статей, там видно будет. О нереализованных проектах, в частности, космических. Хотел бы тронуть тему... Ты своего ненаглядного не монополизировала? Нет? Упаси боже, современности я касаться и не собираюсь, это твое. Мне нужно творческое наследие былых эпох. Упущенные победы. Твой же вроде имел какое-то касательство к первым проектам орбитальных самолетов... «Аякс», «Поллукс»... или как там? «Турнепс»? Да не выпил, клянусь, шучу просто, ибо рад тебя слышать... И ты? Спасибо... Нет, ну, если былой проект плавно пере-

растает в нынешний, мы с твоим четко обговорим, до какого момента можно, а после какого — ни-ни. Это все решаемо. Ты, главное, меня представь ему заново, ага? А то, помню, на Байконуре все было кубарем... А хорошо было, да? Ощущение близкого будущего... С тех пор так уж и не бывало никогда. Смотри-ка, даже это помнишь? Обладеть. А я тот листок с иероглифом «сердце» до сих пор храню. Не шучу, правда. Только не помню, где лежит... Ха-ха-ха! Ну, тогда будем считать, что подписали протокол о намерениях. Я, когда билеты возьму, тебе позвоню, ага? Где-то во вторник, в среду. Слушай, а чтобы мне с ненадежной нашей связью не связываться... Может, ты там забьешь в отеле махонький номерок на неделю? По старой дружбе? Вот молодец! Рад буду повидаться, правда. Счастливо!

А поутру он позвонил потенциальным работодателям и сказал, что взвесил все, прикинул первые планы и согласен взяться. Ему и в голову не пришло сравнить: ради любви и, возможно, счастья он не стал изменять себе, а ради этого — стал. И с равнодушием, сегодня начавшим становиться привычкой, стерпел высокомерно-снисходительный ответ щенка: «Мы, знаете, и не сомневались, что вы примете правильное решение».

Стерпел, но подумал: а по такому случаю не грех и выпить. Не всякий день тебе дают возможность сделать пространное, обстоятельное и хотя бы в исходном варианте честное высказывание, да еще и денег немерено сыплют за это. Давненько Корховой не размачивал счет с зеленым змием — но теперь можно. Полет на Луну, об участии в котором столь безответственно ляпнул ему ракетный академик в байконурском нужнике, явно приказал долго жить. А стало быть, для чего еще и нужна печенка творческому человеку?

Пить один, однако, он все-таки не хотел.

Хорошо, что есть друзья. Безотказный Ленька Фомичев в ответ на приглашение только и спросил по телефону: «А не умрем?» — «А смотря чем возрадуемся», — ответил Корховой. «Тоже верно», — согласился Фомичев. «Я банкую, — сказал Корховой. — Открыт неограниченный кредит». «Вы смотрите-ка, — с хорошо поданной завистью в голосе сказал Фомичев. — Неужто жизнь удалась?» — «В процессе».

С удовольствием обхлопались по плечам и спинам, полюбовались друг на друга. Редко видимся, надо бы чаще. Жизнь стала совершенно сумасшедшая, ни черта не успевается. Отлично выглядишь. Да ты о чем, что я, баба, что ли? Не знаю, не проверял. Ха-ха-ха. Чем зажевывать будем? Великим жовтнем. То есть, великим зажовтнем. Ха-ха-ха.

Старт был дан в три двенадцать по Москве.

Выпили по первой.

Ну, ты как? Голос не потерял? Ясность зрения? Руку на пульсе держишь? Обо что пишешь? Я твою последнюю статью видел, про малолетность подлодок — ты уверен в том, что наплел? Или это так, вдохновляющая перспектива, поданная как свершившейся факт? Богом клянусь, Степка, своими ушами слышал... что не слышу ни фиги. Ха-ха-ха. А ты? А я все по звездам, все по звездам... Они кому-то еще нужны? Ну, это смотря как написать... Ха-ха-ха. «Булава»-то скоро полетит круче фанеры? Ага, до звезд. Хорошо бы. Тогда будем наконец писать в соавторстве, каждый про свою часть траектории. Ха-ха-ха.

Выпили по второй.

А по деньгам как? Ну, как, как... Хватает, как видишь. Но вообще-то гадство полное. Ага, это точно. За глянцем теперь не угонишься. Ты гламурить не

пробовал? Это как? Ну, черт его знает... Влияние экзопланет на мужскую потенцию. Елкин корень, Ленка, это ж золотая жила! Глоба мрачно курит в сторонке. Слушай алаверды: малолетность стратегических подлодок серии «Ясень» как следствие их фригидности. Ха-ха-ха.

В кафе по раннему часу было малоллюдно.

Слева изысканно веселились две юные пары бизнес-класса. Окидывая придирчивым взглядом до отказа забитый столик, эффектно щетинистый мачо, залитый в черную кожу от ушей до пят, с легкой капризной озабоченностью спросил: «Семь на четыре — это сколько будет?» Его подруга, в фестончатой блузе и блестящих широких штанах, послушно свесилась пятнистой всклокоченной прической над дорогим айфоном и принялась проворно тюкать сенсоры длинным, как лепесток астры, синим коготком: «Сейчас... Погоди. Батарейка садится, что ли...»

Справа поодаль разухабисто гуляла атлетическая группа в пятнистых, под спецназ, одеждах; говорить они уже не могли, только пели: «Наши жены — шлюхи заражены!»

Как тонко, подумал Корховой. Не «заряжены», а «заражены». Какой-то мастер художественного слова поработал с каноническим текстом всерьез... Осовременил.

Выпили по третьей.

Потянуло на обобщения.

— Степашка, слушай... мы вот желчью давимся, а если подумать..., Если кругом вдруг на секундочку случайно перестанут воровать, пилить бюджет и брать взятки — экономика же встанет. Представь: метр жидля — сколько там? Пять тыщ баксов? Или уже опять за шесть зашкалило? Неважно. Может это купить

хоть кто-то, живущий на зарплату? Сколько надо получать, чтобы сделать такую покупку? Отрежь левые доходы — конец строительной индустрии. Или вот в одном только Питере уже пять, кажется, автозаводов поставили. Отрежь взятки — кто сможет покупать такую прорву машин? И так во всем. Теперь попробуй победи коррупцию, какое будет первое следствие? Экономический крах. Никто не сможет ничего купить. Производство окажется без потребления. И сборы с растаможки уйдут в ноль... Все — в ноль. А тогда что? Снова пустая казна. Поэтому как тут можно победить коррупцию? Только если поднять зарплаты до уровня взяток и хищений. Чтобы все эти пресловутые, уже оскомину набившие врачи и учителя, ученые и прочие вагоновожатые могли делать покупки, как депутаты. Как банкиры. Как чиновники. Как милицеевское начальство. Тогда, даже если коррупция исчезнет, промышленности будет для чего и для кого производить, а сфере услуг — для кого торговать и кого обслуживать. Реально это? То-то. Так не зуди мне, что государство не видит воров у себя под носом... Экономика крутится на этих самых ворах. Бюджетникам подбрасывают только на поступающий в казну через налоги процент с ворованного...

— Леня, знаешь, меня в этой ситуации утешает только одно. Наконец-то это не наша национальная дурь, а полное воссоединение с мировой цивилизацией, чтоб ей пусто было. Что есть экономический кризис? Человечество подсело на шмотки, надуло пузыри и само сдулось, потому что, когда пузыри лопнули, покупательной способности оказалось недостаточно для дальнейшего кручения глобальной экономики. Вдумайся — честно заработанных производителем трудом денег в целом мире не хватает для того, чтобы

экономика этого мира могла производить столько, сколько она производит, и продавать столько, сколько продает! Расширенное воспроизводство обеспечивалось только деньгами жулья и воря. Плюс виртуальные деньги, плюс потребление под гипнозом — что тоже проходит по категории жулья. Чтобы фармацевтика работала, чтобы лекарства покупали возами, уже каждый год новые пандемии приходится из пальца высасывать — атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп...

Слушай, точно. Осталось придумать только микробный грипп. Представляешь, как можно народ застрашать: вы, скажем, простудились или порезались, у вас микробы, а они больные, потому что в каждом микробе еще и по вирусу сидит! Очень дорогие вакцины нужны, ну просто ОЧЕНЬ... И ведь поверят!

А как иначе? На то и придумала цивилизация экспертов на каждое дело, чтобы им верили. Цивилизация же еще не врубилась, что пришла эпоха без предрассудков, и экспертами движет не всякая там ответственность или профессиональная честь, а только желание жировать не хуже тех, кто их нанимает. Чем больше ты отхватил — тем, значит, ты ответственнее, профессиональнее и честнее, вот и весь сказ. Эксперт теперь — это просто мастер квалифицированных подтасовок. Вот пугают глобальным потеплением, будто оно хоть на волосок от нас зависит, и стригут на этом, стригут! И только поэтому могут покупать, покупать!

А реклама? Я этого достойна, ага. Миллионерский стандарт жизни вбивается как единственно приемлемый — и любой, кто так не сумел, а их почти что все, ощущает себя обреченным на вечное лузерство. Отсюда имеем немотивированную агрессивность, лузе-

ры покупать много не могут, зато крушат, ломают и жгут, и пуляют чуть что, а значит, и от них, хотя бы так, возникает экономическая польза — цветут ремонтные фирмы, растёт потребление оружия и медикаментов, ура, карусель «производство-потребление» крутится с ускорением.

Прикинь, а кредитование? Помнишь, нас в перестройку программировали: при коммуняхках людям все даёт государство, и оно же может в любой момент отобрать. У людей нет ничего своего. А вот при капитализме — надёжная частная собственность. Поэтому капитализм человечнее, он не обязывает пресмыкаться перед властью, даёт чувство свободы, уверенности, самостоятельности...

Ну точно! При таком размахе кредитной системы снова у всех обычных людей нет ничего своего. Чуть что — и голый. Только тогда отбирали за нелояльность, а теперь — за неплатежеспособность. Чтобы остаться с семьёй в доме, где вы уж пять лет прожили и откуда тебя могут выпереть, ты же перед начальником будешь на цырлах бегать, а если кто погрозит твоему доходу — глотку порвешь, не задумываясь! Какая тут уверенность и свобода! Человечность типа зашибись!

Именно. А когда дутых и ворованных денег на секундочку не стало, экономика рухнула. И десятки тысяч честных работников мигом полетели на улицу. И великие транснациональные корпорации, два десятка лет долдонившие, будто государство отмирает, а его функции переходят к ним, к корпорациям, куда побежали спасаться за опять-таки деньгами? Да к тем же государствам! И те, натурально, принялись им вливать! Опять же из нашего кармана — им на бонусы, чтобы все эти успешные люди, виннеры, мать их, могли снова покупать, как прежде, и тогда — о радость! —

мир выходит из рецессии! Даже Обама с Саркози заблекотали о том, что нужен новый капитализм — только никто не знает, какой он... Это же сумасшедший дом!

— Слушай, Степка... Вот ты мне скажи — зачем нам столько барахла?

— А хрен его знает...

— А прикинь — есть еще одно. Я сейчас подумал... Ведь зарабатывать на пороках надежнее, чем на добродетелях. Обслуживая праведников — что ты им втохаешь? Три корочки хлеба? Сто томов умных книжек? Экономика же встанет! А вот обслуживая ненасытных гордецов, тщеславных развратников, неистовых обжор — не сомневайся в доходах. Поэтому капитализм везде и всегда, вольно или невольно, прямо или косвенно будет поддерживать пороки против добродетелей. Будет пороки ценить как неперменное свойство крупных незаурядных личностей, как признак ярких индивидуальностей, масштабных характеров... И осмеивать, унижать, объявлять уделом серых ничтожеств любую скромность, умеренность, непритязательность... Это, мол, следствие убожества, отсутствия фантазии и размаха. Нищета, мол, духа. Вот итог протестантской этики! Вот такая нам будет система ценностей!

Еханный бабай! Получается что? Получается, что теперь, если обходиться необходимым — все валится, и даже это необходимое не на что производить. Возможность производить необходимое обеспечивается только возможностью сбывать излишнее. Да елы-палы, ведь необходимое — оно у человека с двумя руками, двумя ногами и строго определенным метражом кишок довольно невелико. Увеличивать неограниченно можно только лишнее. Что и делается. Скоро нам

такие новые потребности выдумают — мама не горюй... Ни по какому ни по злему умыслу, а просто потому, что иначе экономическая модель не срабатывает. Сколько это может продолжаться? Камо грядеши, блин?

Выпили и по четвертой, и по пятой, и, кажется, успели по шестой.

За столиком слева вдруг принялись громко ссориться. Непонятно, с чего началось, но второй парень, одетый явно скромнее кожаного приятеля, вдруг принялся с силой дергать за край юбку своей стриженной под новобранца подруги, тщетно пытаясь стянуть этот край пониже — юбка и впрямь окутывала манящей тайной разве лишь область применения гигиенических прокладок; потом заорал: «Расселась тут с голой сракой!» Подруга, поблескивая вшитыми по-над губами скобяными изделиями, улыбнулась с гордым превосходством. «Это у тебя срака, а у меня попочка!» — «Какая, бя, разница?» — «А такая, что сракой срут, а попочкой на международных конкурсах призы получают!» Мачо и его искушенная в математике спутница от души хохотали.

Пятнистые справа уже ипеть не могли; едва ворочая языками, но с отчаянным пафосом надсаживаясь, хрипло декламировали не в лад: «Жулик на Майорочке — а качество в «Пятерочке!»»

Помолчали, с тихим отвращением вслушиваясь. Выпили по вроде бы седьмой.

— Говорил я, дома надо бухать, — мрачно выговорил Фомичев.

Корховой посмотрел на часы.

— Ладно... — невнятно проворчал он. Язык у него уже изрядно сомлел. — Вот-вот музыка начнется — так не то что эту шпану, друг друга слышать перестанем.

— Тоже ни фига хорошего...

Нехотя закусили.

— А ты с Наташкой так больше и не видишься? — вдруг негромко спросил Фомичев.

Корховой даже вздрогнул.

— А ты чего спросил?

— Да черт его знает... Космодром вспомнился от этих разговоров. Знаешь... Как зеленое дерево среди обгорелых пней.

— Я к ней поеду на днях, — во хмелю не утерпел прихвастнуть Корховой. И тут же смутился. — Ну, не к ней... К ним туда. Писать, может, буду про ее это-го... гения щуплого... Ну, не про него, конечно, а про старый его проект.

— Здорово, — качнул головой Фомичев. — Интересно. Плазмод... — И вдруг загорелся: — Слушай, а поехали вместе! Я выкрою пару дней. Сил уже нет в рутине барахтаться!

Корховой насторожился.

Хмельная голова плыла, как полено в океане, но еще соображала.

— Знаешь, Ленка... это... ну... вряд ли получится. Я с Наташкой говорил нынче — у них одна гостиница на весь городок. Да и там — полным-полна коробочка. Наташка насчет номера похлопотать обещала, только на это и уповаю. А без хазы — сам посуди, не на коврике же у двери спать. Не те наши года.

Дружба дружбой, смятенно думал Корховой, а как бы дружбан не вывернул тему орбитального самолета в своих оборонных надобностях. Подшустрит и сам напишет, и снимет все сливки. Застолбит объект. Чего доброго, и бабки на себя оттянет. Этот финт вполне возможен, и с какой такой радости? Он, что ли, мечтал о звездах? Он холил и отращивал долгожданный контакт с ТВ? Он унижался перед щенком-ме-

неджером? Дудки, думал Корховой, все более ожесточаясь, это моя тема!

Это наша корова, и мы ее доим!

— Ну, конечно, — согласился Фомичев, отворачиваясь. — Хотя... Может, в следующий раз. В общем, держи меня в курсе, лады?

— О чем разговор, начальник! Положись!

В свете ярких фонарей они долго стояли, обнявшись, неподалеку от входа в метро, и невнятно бубнили друг другу на прощание товарищеские приятности. Вполголоса, чтобы не искушать судьбу («Вон, нашего брата журналиста уже в вытрезвителях мочить начали...»), спели «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Фомичев, играя в «Иронию судьбы», все заклинал: «Тише, тише... Под крылом самолета о чем-то поет...» Потом заботливо спросил: «Ты доедешь? В вагоне не задрыхнешь? Может, проводить?» Корховой мотал висячей головой, мутно отнекиваясь — хотелось остаться одному, потому что было стыдно.

Уже неподалеку от дома он, пошатываясь, как встарь, зашел в ближайший магазин, купил бутылку самой дорогой водки и в одиночку выхлебал ее ночью и утром.

Жизнь оказалась не дружбой в стужу, а грызней за кость, и этого предательства он не мог ей простить.

3

Попрощавшись с Корховым и для очистки совести удостоверившись, что тот, несмотря на характерную нетвердость походки, добрался до эскалаторов, не возбуждив алчного внимания дежуривших в вестибюле стражей порядка, он вернулся наружу и медленно двинулся по запруженной, тесной Большой

Полянке к Якиманской набережной. Торопиться было некуда. Настроение оставляло желать много лучшего, а бесцельная осенняя прогулка, как правило, успокаивала. Хотелось верить, что и на сей раз поможет. И уж всяко выветрит излишний хмель.

Встреча с Корховым надежд не оправдала. Жаль. Он так на нее понадеялся — отчасти поэтому и отозвался сразу на предложение повидаться, несмело предположив, что это, может, ему счастливый случай небеса посылают...

Славный парень Степка, но что-то с ним явно происходило в последнее время не то. Фомичев голову бы дал на отсечение, что еще полгода назад его осторожная, намеком проброшенная просьба поехать в Полдень вдвоем была бы встречена с распростертыми объятиями. А теперь — нет, зажался. Хочет встретиться со старой любовью без помех, без свидетелей? Стесняется? Боится быть сызнова отвергнутым, а уж если так, то хотя бы не прилюдно? Может быть... Ничего иного, во всяком случае, Фомичеву на ум не приходило.

Ладно, это неважно. Важно то, что надежная нить связи с Полуднем, которая так удачно установилась у него более года назад, лопнула, и замену ей найти пока не удавалось. А это из рук вон плохо. Уже три недели Фомичев понятия не имел, что в Полудне происходит. Да, конечно, особо тревожиться не приходилось, потому что ничего шибко важного не происходило там по меньшей мере несколько месяцев, дело у Алдошина, судя по всему, как-то подвяло и подкисло; но экстраполяции — дело аналитиков, а он, Фомичев, должен добывать и вовремя поставлять конкретную и достоверную информацию.

Однако все маневры, что приходили в голову, по реализации выглядели бы жутко нарочитыми и де-

монстрировали бы любому мало-мальски пристальному наблюдателю (а их наличие надлежало предполагать априорно), что Фомичеву ни с того ни с сего вдруг позарез понадобилось туда, к секретным частным ракетчикам. Светиться же таким образом было совершенно недопустимо.

Ужаснее всего, что контакт угробил Фомичев сам. Некачественно просчитал.

Лучшее — враг хорошего, и порой очень опасный враг. Погонишься за несусветным совершенством — можешь развалить и то малое, да надежное, что имел.

Конечно, Фомичев не сам все решал. Тут вам не Робин Гуды шерифам в нюх дают, не боевечище крутят про невыполнимую миссию. Учет и контроль, дисциплина и сермяга. Фомичев продумал выгоды и преимущества новой конфигурации, этапы ее реализации, написал подробный план, доложил по начальству, его поддержали... Толку-то? Коли неудача — он и виноват. И дело даже не в том, что за ошибку придется как-то поплатиться в карьерном или ином подобном отношении — но расхлебывать-то провал надо, и ответственность за многолетнюю успешную операцию с Фомичева никто не снимал. Прежде всего — он сам не снимал. Мука от испорченного дела изводила, как нескончаемая изжога.

Он отчетливо помнил день, когда решил стать чекистом.

Это было в пятом классе. Отец, придя с работы, бухнул на пол тяжеленный портфель, уселся к столу, зажег старую настольную лампу и, будто ни к кому не обращаясь, но точно зная, что сын слышит, сказал сокрушенно: «У интеллигентов совсем крышу снесло...» Маленький Леня, натурально, оставил книжку

про девочку из будущего и поднял любопытные глаза: «Это как?»

Отец некоторое время не отвечал; он никогда не торопился, не рубил сплеча — даже в домашних беседах. Обернулся, словно бы удивившись: а ты, мол, птенец, откуда взялся, я ж не с тобой разговариваю, а мыслю вслух... Потом, наклонившись, вытянул из раскоряченного сбоку от стула портфеля хлипкую пачку машинописных листов и кинул ее на стол — точно пригоршню сухих листьев. Мягко прошуршал мгновенный листопад. Отец надел очки, по-деревенски лизнул указательный палец и пролистнул несколько невесомых страниц. «Ну-ка, — сказал он, — вот проверка на вшивость, сын. Как тебе такое?» С трагичным подвыванием прочитал: «Между художником и обществом идет кровавое неумолимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть».

И умолк, наклонив голову и выжидательно глядя на сына поверх очков.

Маленький Леня очень старался сообразить, что тут папу обидело. У него-то у самого перед глазами немедленно вскинулось нечто вроде героической картинки к рыцарскому роману или к фантастике про землян из светлого будущего на отсталых планетах. Кровавое побоище! Празднично, как трубы оркестра на параде, сверкают латы, колышется на заднем плане грозный лес копий; истинный художник с поднятым забралом, со знаменем, на породистом скакуне рубит тянущиеся к нему бесчисленные руки с хищно скрюченными пальцами, а общество — смазанная толпа немых смердов с одинаковыми крысиными мордочками, с веревками, сетями, с дрекольем — старает-

ся стащить рыцаря с коня, забить оглоблями и растоптать лаптями.

Трудно было отрешиться от яркого образа, безоговорочно налепившего на участников потасовки товарные знаки «ангел» и «черт», и сосредоточиться на реальном смысле фразы.

Вероятно, думал Фомичев много позже, автору прочитанных папой строк и самому душу грела та же прельстительная, лестная до сладкой дрожи картинка: себя он ощущал этаким Айвенго, а всех, кто на него не похож, — взбунтовавшимся быдлом.

«А что, — спросил он потом, — все люди видят то, что хотят, и только художник — то, что на самом деле есть?» — «Пять баллов, сын, — сказал отец, и не улыбочное худое лицо его потеплело. — В точку. Они себе божественное всезнание приписали, вот в чем беда. И поди ж ты: Белинкова этого еще в шестидесятых напечатали... в провинции где-то, вылетел сейчас из головы журнал... А до сих пор переписывают, перепечатаывают, таскают друг другу, и уверены, что совершают подвиг. Несут слово правды в царство лжи. Вот опять нашли. Пятый экземпляр или даже шестой, на папиросной бумаге... Делом люди заняты! Позорище... Где у них мозги?»

И тут Лене показалось, что он понял, какая важная у папы работа.

Нет, папа не посягал на роль арбитра. Такое посягательство тоже было бы приписыванием себе... как он сказал... божественного всеведения. А папа был скромным человеком и сына учил быть скромным. Но совершенно необходим всем этим чересчур увлеченным собой и своими пристрастиями рыцарям кто-то, кто, подставляясь под колотушки и слева, и справа, нешутейно жертвуя собой, разнимал бы беззавет-

но схлестнувшихся слепых мудрецов из уже тогда известной Лене сказки: каждый из них нащупал какую-то часть слона и остался на всю жизнь убежден, будто слон — это только то, что ему удалось пощупать. Совершенно необходим амортизатор, который то и дело напоминал бы правдолюбцам: так, да не так. Правда, да не вся. Чтобы не растрачивались попусту, на шум, благородство благородных, страсть страстных, ум умных и доброта добрых...

Наверное, именно то прозрение загорелось звездой, с оглядкой на которую Фомичев сориентировал дальнейшую жизнь. И даже когда изверившееся в себе государство перестало заниматься идеологией и Фомичев понял, что отныне таким амортизатором может быть лишь сам народ, и только он — ему и в голову не приходило пожалеть о сделанном когда-то выборе.

Против диссидентов ему, к счастью, не довелось побороться, времена сменились, но работа по противодействию научному и техническому шпионажу давала множество возможностей понаблюдать за интеллигенцией и на досуге о ней поразмыслить.

Отец этого уже не застал. К середине восьмидесятых у него возник новый повод переживать. Он приходил с работы, глотал корвалол и, не доев борща, вдруг раздражался гневной тирадой: «Они что, не понимают? Это же не локальный конфликт! На территории Афгана идет третья мировая война. Мы — и весь Запад, его деньги, его технологии плюс крепкие руки духов! К этой войне нельзя относиться спустя рукава, как будто ее нет... Ее нельзя проиграть! Ты понимаешь, сын, там совершаются подвиги, но мы не можем гордиться героями, потому что они дают подписку о неразглашении. Там совершаются преступления, но мы не можем ненавидеть преступников, потому

★ что войны как бы нет и, значит, преступлений подавно нет. Чтобы выбить душу народу, надежней такой позиции и придумать невозможно. Люди должны гордиться героями и ненавидеть преступников!» Кончилось тем, что отец попросил о переводе. Вряд ли он обольщался, что-де явится туда, где все заволок пороховой туман, и там сразу развиднеется — он и тут не приписывал себе божественных прерогатив; просто он не мог быть в стороне. Просьба была удовлетворена.

Много позже, узнав побольше о родной стране, Фомичев предположил, что тогдашнее папино руководство и само радо было от него избавиться — он был уже не ко двору в конторе со своими представлениями и, прости господи, идеалами. Своим рапортом он лишь дал удобный предлог, иначе вряд ли оказался бы возможен в его послужном списке столь разительный и столь молниеносный зигзаг.

Отец успел прослужить на третьей мировой почти год. Тяжело раненного, искалеченного, его привезли в Союз и сбросили на руки сыну. Умер отец через два месяца после ГКЧП — и не увидел ни Пуши, ни спуска реявшего над Кремлем кумачового флага из ночного декабрьского неба в грязь, ни того, как скороспелые вожди, всей душой преданные общечеловеческим ценностям, отбросили, будто мусор, и обрекли на страшную смерть искренне верного дружбе с Россией Наджибуллу, после чего и наступил в Афгане окончательный крах светской цивилизации и настоящий, а не придуманный западными журналистами террор; и уже безнадежный развал. Не увидел, наверное, к счастью.

Вот говорят, думал порой Фомичев, будто в России всегда угнеталась интеллигенция, и в том причина всех бед.

А ведь Россия — единственная в мире страна, где интеллигенты в течение одного века ухитрялись дважды взять власть. Воспламененные недоучки, самолюбленные и обиженные на непокорную, живущую по своим законам жизнь таланты, уверенные, что страну можно править, как статью или театральную репетицию. Вольнодумцы и острословы, высокоморальные развратники, певцы матерщины и бухла... В общем, сложные натуры, живущие напряженной духовной жизнью.

Оба раза интеллигенция, придя к власти, пыталась воплотить свой, интеллигентский миф. Конечно, в разные эпохи это были два разных мифа: в первый раз коммунизм, во второй — свобода и рынок. Оба, кстати, выдуманы в Европе; оба подразумевали растворение России. Просто курам на смех уши торчат — все диссиденты-западники начинали как правоверные коммунисты, желавшие вернуться к ленинским нормам, очистить партию и построить-таки светлое будущее.

Они просто сменили один западный миф на другой. Сменили с легкостью, потому что в главном оба мифа очень схожи — страны России как вместилища и убежища отдельного народа с его отдельными представлениями, предпочтениями и потребностями миру категорически не надо.

Ведь в чем-то очень существенном одинаковы коммунистический идеал «без России, без Латвий жить единым человеческим общежитьем» и либеральный идеал человека как «экономического животного» без привязанностей и предрассудков, свободно кочующего по миру в поисках места, где ему предложат более выгодные условия оплаты.

А вот диссиденты-славянофилы, диссиденты-поч-

венники коммунистами никогда не были; даже в хрущевскую оттепель они сразу начинали как православные антисоветчики, и в девяностых взявшая власть часть интеллигенции, в том числе сменившие окрас истинные ленинцы, их-то и клеймила красно-коричневыми.

Да-да, так называемые гонения на интеллигенцию в начале большевистской эры и травля квасных патриотов и русопатов в девяностых — это всего лишь террор одних интеллигентов против других. Террор невменяемых, загипнотизированных мифом интеллигентов против вменяемых, не оболваненных собственной верой в безумный, придуманный другими и для других идеал. Никто не бывает столь нетерпим к инакомыслящим, как интеллигент, люто убежденный в том, что лишь он мыслит, а все остальные, во всяком случае, все, кто с ним не согласен, — тупые скоты.

Интересно, что из этого успел понять отец?

Но он-то, сам Леня, как попал тогда в десятку!

И теперь, медленно бредя к Каменному мосту, с которого так сказочно лучезарен в облаке света Кремль, он думал: нужен, нужен этим блаженным, не умеющим ничего беречь, амортизатор и балансир. Чтоб не давал им играть общей жизнью, для себя всегда держа, как волшебное слово «чурики», про запас эмиграцию (чего ж, ни хрена не поняв ненавистную Россию, не начать преподавать русскую культуру и историю в американских колледжах? самый смак!). Не давал шарахаться из крайности в крайность, точно пьяная лошадь...

Вот он, амортизатор, и сработал.

Ведь оба раза реальность выдавливала интеллигентов из власти.

Потребности сохранения страны категорически

не совпадали с тем, что вытворяли перелетные стаи умников, в очередной раз обсевших, как скалу в холодном океане, кормило власти на сезон размножения. Первый же шторм сшибал их с насоро насиженных мест — и оставалось лишь привычно крякать из пены.

Но теперь времена сменились.

Шестое чувство современного человека — неуверенность. Из-за нее постоянная демонстрация уверенности, самоуверенности даже, лихости, наглости, когда и самое откровенное хамство ценится как мужественное умение не уступать. Страшно же. Не сумею, не справлюсь. Обскачут! Облапошат! Переиграют! Победят! И тогда все, даже семья, даже самые близкие, крикнут с абсолютно искренним презрением: неудачник!!!

А тому, кто в страхе, — не до высоких материй. Вот русские дворяне в своих поместьях — это да. Или научные сотрудники в советских НИИ...

При капитализме нет интеллигентов не потому, что всем все нравится, а потому, что нет времени на заумь, надо вкалывать и выживать. Потому что нет заботы страны о людях. Нет бесплатного образования, нет санаториев для членов профсоюза, домов творчества для писателей и театральных деятелей... При СССР была масса досуга, был культ вольного творчества, был гарантированный прожиточный минимум, а еще была прорва идеалистов, с раннего детства воспитанных, смех сказать, на высоких принципах великого Октября, на культе святых борцов с самодержавием; они готовы были у тебя с ног воду пить, кормить, одевать, давать приют, рискуя собой, беречь тебя и твои, например, рукописи только потому, что тебя угнетают власти за храбро провозгла-

шаемую тобой правду: вы все видите, что хотите, а я — то, что на самом деле есть.

Ни один диссидент даже не вспомнил, ругая рухнувший Совдеп, о не стоившем ни копейки учении в вузе, но зато каждый считал своим долгом помянуть: у нас на курсе был стукач, отвратительный тип... Потому что интеллигенты не знают благодарности. Они полагают, что всем обязаны лишь себе, своим умопомрачительным талантам, а то хорошее, что они получают от других, — это как бы само собой разумеется, это им просто положено за их красивые глаза и великие мысли.

И оттого-то нынешняя диссида, несогласные все эти, может существовать только на подачки спонсоров — либо внешних врагов, либо ориентированных вовне родных толстосумов. От души, на свой страх и риск никто нынче не станет возиться с тобой, как с писаной торбой, только за то, что ты ругаешь власть. Выбрал ругаться с властью — твой выбор, а сколько ты на этом заработал? Много заработал — правильно выбрал, молодец, умеешь жить, давай дружить; мало заработал — неправильно выбрал, лох, мы не знакомы.

А что же рыцари наши в блистающих латах, пришельцы из светлого будущего со знаменем высшего знания в десницах? О, они, освобожденные от гнета, выпутавшись наконец из удушающих тенет соцреализма, цензуры и партийного диктата, навсегда расстались с халтурой, с вымученными на потребу кровавому режиму поделками и наперебой кинулись живописать ИСТИНУ и творить НАСТОЯЩЕЕ. От одного лишь перечня названий кидает в дрожь: «Дрянь», «Пыль», «Грязь», «Игла», «Стакан», «Бессилие», «Банда», «Сволочи»... Богат оказался мир истинных ху-

дожников, несметно богат; отзывчиво и зорко их неподкупное око...

Но три недели назад, идя на прямой контакт с Заварихиным, Фомичев никак не ожидал интеллигентских вывертов.

Анатолий Андреевич Заварихин. Начальник оперативного отдела службы безопасности корпорации «Полдень-22». Пятьдесят семь лет, из них почти пятнадцать оттрубил в конторе, но в тошнотные времена бардака и развала ушел оттуда, как ушли многие, — и Фомичев не мог их осуждать, не понаслышке зная, как выкручивало и мяло честных офицеров на рубеже эпох: и делом заниматься держащее нос по ветру начальство уже не дает, и люди хорошие плюют на тебя как на кровавую гзбню; и катастрофу видишь, и сделать ничего не можешь. Восемь лет мыкался по ЧОПам, потом нашел себя при ракетах, при Алдошине. Во время незабвенного вояжа на Байконур Фомичев имел с Заварихиным короткую, ничего не значившую беседу; так, принюхивался, и тот самое благоприятное впечатление произвел на него. Веяло от седого спокойного спеца какой-то твердокаменной, бескорыстной идейностью, и, грех сказать, этим он напомнил Фомичеву отца.

Излишняя идейность-то, похоже, и подвела Заварихина, но кинула Фомичеву нежданный и негаданный козырь.

К началу эпопеи с Полуднем Фомичев уже четыре с хвостиком года был залегендирован и заглублен как вольный журналюга, работающий по оборонно-промышленному комплексу и всяким хитрым его новинкам, чем убойнее, тем краше. Ему понравилось писать и публиковаться, он научился и этим тоже приносить стране пользу, то вскрывая и бичуя, то гордо

возвещая о победах и прославляя мастеров и подвижников — публично задавая как высшую планку служения Отчизне, так и вопросы, этой Отчизне предельно неприятные, и всей душой надеясь, что она, хвороба родимая, Родина-уроина, уже не сможет отвертеться и не дать хотя бы уж не публичного, хотя бы совершенно секретного, но реального ответа; Фомичев был на отличном счету и в СМИ, и в конторе. Отец был прав: людям надо гордиться героями и ненавидеть преступников — и Фомичев обеспечивал им это жизненно необходимое право.

Пару лет назад, в результате досконально спланированной многоходовой операции, его подставили под вербовку китайцам — и с той поры у него стало уже целых три ипостаси, а резидент китайской технической разведки «товарищ Ван» полагал Фомичева одним из самых ценных своих агентов. Что имело вполне понятные последствия для точности представлений Китайской Народной Республики, великого нашего соседа, стратегического партнера нашего, о некоторых существенных тонкостях многострадальной, но вечнозеленой русской оборонки.

Жизнь была интересной, важной, нужной; но жизни маленькой, личной, при такой мешанине ипостасей возникнуть не могло никакой, разве что проскакивали самые скотские ее варианты, одноразовые, как шприцы. Проскакивали все реже, сошли на нет. Нормального порядочного мужика Фомичева от одной мысли о них уже просто мутило.

Крайне аккуратные попытки выяснить, кто из персонала Полудня прислал ему то памятное электронное письмо с предложением себя в агенты для работы на Китай, заняло у Фомичева больше трех месяцев. Он очень боялся спугнуть нежданного инициа-

тивника. Тот был ему как нельзя кстати. Теперь задание, поставленное товарищем Ваном перед отъездом группы журналистов на запуск первой полуденной ракеты, Фомичев по праву считал выполненным на двести процентов. Товарищ Ван на Фомичева нарадоваться не мог, а те товарищи, что подсунули Фомичева товарищу Вану, — и подавно; информация из получаемых Фомичевым писем добровольного доносчика до передачи резиденту изучалась (конторе Поддень был тоже весьма интересен), фильтровалась и при необходимости модифицировалась. То же, что автор писем по каким-то своим каналам, которые, видно, были достаточно серьезны, обнаружил в Фомичеве китайского агента, само по себе было настолько ценно для локализации утечек, что за одно это неизвестного изменника хотелось расцеловать.

Собственно, Фомичева подкупило первое же письмо. Он где-то понимал человека, который его написал и пошел на такой риск, на преступление даже, ради идеи. По косвенным данным, по оговоркам, время от времени встречавшимся в письмах, минимально прибегая к возможностям самой конторы и проводя несколько очень аккуратных перепроверок, Фомичев помаленьку все же вычислил автора писем и был просто потрясен тем, что это оказался Заварихин.

Сразу же начал зреть сложный и многоцелевой план, способный качественно изменить конфигурацию по нескольким параметрам. Только себе Фомичев мог признаться в том, что одной из важнейших целей, которые он себе тут ставит, одной из важнейших его личных мотиваций является стремление вытащить Заварихина из западни, включить его в игру уже сознательно и на правильной, на нашей стороне. Грубо говоря — спасти.

Перед начальством он напирал на иное.

Товарищу Вану-то Фомичев доложил о вербовке Заварихина как о личном крупном успехе. Но нельзя было исключить, что раньше или позже по каким-то своим соображениям, например, засомневавшись вдруг в нем, в Фомичеве, китайцы попробуют выйти на Заварихина напрямую. Даже если это удастся надлежащим образом отследить, возможность фильтровать поставляемую Заварихиным информацию будет утеряна, а то, что уже было передано, окажется дезавуировано, и равным образом дезавуирован и провален будет он, Фомичев. Расхождения между тем, о чем сообщал Заварихин, и тем, что получал товарищ Ван, вносились крайне деликатно, но при контакте без посредника обнаружение таких расхождений станет вопросом времени. Если же контакт отследить не удастся, он будет иметь последствия, опасные уже для самой жизни Фомичева. Риск неоправданно велик.

Аналогичная ситуация возникнет, если, напротив, по каким-то своим соображениям попытку выйти напрямую на китайскую разведку сделает сам Заварихин.

Еще более неприятные коллизии могут возникнуть, если китайцы, отнюдь не ставя о том в известность ни Фомичева, ни Заварихина, найдут в Полудне какой-то дублирующий источник информации. Тогда достаточно быстро окажется дезавуирован и потерян уже и Заварихин, совершенно беззащитный при возникновении каких-то вилок внутри корпорации в силу своей полной неосведомленности об игре.

Если исходить из того, что игру с китайской разведкой по поводу Полудня продолжать следует — а это, в общем, само собой разумелось, — тогда прекратить разыгрывать Заварихина втемную и выгоднее, и надежнее. В конце концов, Заварихин же, по

сути, свой. Бывших разведчиков и бывших контрразведчиков, как говорится, не бывает. Ну, сделал человек глупость, но кто глупостей не делал? Положение в стране все ж таки изменилось, блевать тянет реже. Есть шанс вернуть бойца Родине. Со временем ценнейший может получиться кадр.

Три недели назад Фомичев получил наконец долгожданное разрешение на реальную вербовку. Заварихин как раз по каким-то своим делам появился в первопрестольной.

Договориться о встрече было делом давно отработанной техники.

Наверное, думал иногда Фомичев, если бы я и впрямь был только журналистом, то проявлять назойливость далеко за гранью элементарного такта, ссылаться на рекомендации конфиденциальных источников, требовать беседы вот прямо немедленно, я бы стеснялся. Было бы, наверное, неловко. Но когда он точно знал, что ему не надо никакого интервью, исто-во навязываться, чтобы его якобы взять, и бессовестно, будто ни своей гордости не имея, ни уважения к вежливо посылающему тебя на хрен собеседнику, настырно клянчить встречу — было проще пареной репы.

Он словно просил не для себя, а для кого-то другого — а делать что-то для другого у него всегда получалось легче, чем для себя.

Гостиница, где Заварихин остановился, была из скромных, и номер — вполне спартанским. Заварихин даже не делал попытки его обжить; может, потому, что приезд в столицу не обещал затянуться, а может, вообще не имел такой привычки. Плотный, коренастый, уверенный в себе пожилой человек спокойно и выжидательно смотрел Фомичеву в глаза.

Заварихин, конечно, полагал, что знает, кто к нему

пришел: тот самый корреспондент, который шпионит на благо народного Китая и через которого он, Заварихин, оставаясь для корреспондента неизвестным источником, тоже работает на благо народного Китая. Согласившись на встречу с этим корреспондентом для беседы о тех достижениях Полудня, которые, возможно, имели место с тех пор, как мы, помните, встречались прошлым летом на космодроме и так удачно проводили на орбиту первую вашу ракету? — согласившись на такую встречу, он, однако, не мог не гадать, как пойдет и чем обернется нечаянный прямой контакт с человеком, которого, как был старый боец уверен, именно он из темноты разыгрывал втемную.

Фомичев воспользовался приглашением сестры и не стал тянуть резину. Он заранее прикинул несколько вариантов поведения — и сейчас, чувствуя, как в нем сама собой, снова, как на Байконуре, необъяснимо поднимается волна почти сыновнего уважения к сидящему напротив человеку, предпочел вариант самый короткий, самый искренний и самый резкий. Наверное, и самый благородный.

Потом он мучился: может, все дело было только в том, что он неправильно себя повел? Может, выбери он какой-то иной вариант: мутный, извилистый, когда все только подразумевается и ничто не называется своими именами, окуни он собеседника в столь любимый подлецами липкий сладкий кисель, позволяющий хоть маму родную продать на органы и быть при том уверенным, что замечательно о ней позаботился, устроив в дорогой дом отдыха, — может, тогда все окончилось бы иначе? Был бы успех, было бы радостное, вдохновляющее чувство очередной победы... был бы, в конце концов, жив человек...

Но в глубине души он знал наверняка — это ничего

бы не изменило, разве что в худшую сторону. Ошибку он допустил гораздо раньше, и ее практически невозможно было избежать. И в дурном сне не могло привидеться, по каким мотивам Заварихин оставил службу и сколько эти мотивы для него значили.

Он вкратце обрисовал Заварихину реальную ситуацию.

— И тогда, — закончил он, — помимо прочего, очень легко будет представить дело так, будто фактически вы и с самого начала дурили противника, как наш российский контрразведчик. Пусть поначалу и как вольный стрелок. При желании в оригиналах ваших писем можно отыскать элементы дезинформации. Это же прекрасный вариант, правда?

Когда Фомичев умолк, Заварихин долго не произносил ни слова. Молча смотрел на Фомичева немигающими глазами, потом так же молча отвел взгляд и стал смотреть немигающими глазами в окно. Потом неторопливо достал допотопную массивную зажигалку, звучно хряпнул ею, высекая огонь, и опрятно вставил в тихий свет маленького пламени сразу затлевший кончик сигареты. Глубоко затянулся, выпустил дым к потолку.

— Опять вы, — наконец сказал он терпеливо ждавшему Фомичеву.

— Опять я? — не понял Фомичев. — А что, после Байконура мы...

— Да не вы, — безо всякого раздражения, только со страшной усталостью сказал Заварихин. — Не вы лично, молодой человек... А — вы. Вы, мундиры голубые... Просто плюнуть некуда.

Затянулся. Выпустил дым.

— Как же вы мне надоели... Как же ненавижу я вас.

Фомичев был готов ко многому, но тут несколько растерялся.

— Позвольте, Анатолий Андреевич...

И осекся, не зная, что сказать. Заварихин, подождав секунду, чуть усмехнулся.

— Ну? — спросил он. — Что я вам должен позволить?

И тут Фомичев ощутил самое обыкновенное раздражение. Даже некую тень обыкновенной обиды.

— Мне вы ничего, конечно, не должны, — сказал он. — Но не кажется ли вам, что вы и нашим китайским братьям ничего не должны — а вот, однако ж, в поте лица, рискуя собой...

— Прекратите паясничать, — сказал Заварихин. — Вы что, из генеральских сынков, что ли? Сразу по рождении был зачислен в гвардию секунд-майором... Одними доносами карьеру делаете? Совершенно не умеете держать удар.

— Ну-у, — сказал Фомичев разочарованно. — Поехали...

— Приехали, — решительно ответил Заварихин. — Я все это проходил, когда вас, молодой человек, еще и на свете не было. — Умолк. Затянулся. Выдохнул дым. — В кои-то веки снова нашлись умные, честные головы, способные сделать что-то достойное, и вы тут как тут... Один с сошкой, семеро с ложкой. Сколько вы собираетесь стричь с Полудня?

— Чего-то я даже понять не могу вашу околесицу, — с простонародной развязностью сказал Фомичев.

— А, так вы что, за идею? — качнул головой Заварихин. — Стричь тугрики начальство будет? А вы типа Родину защищаете?

— Поясните вашу мысль, — светски попросил Фомичев.

Заварихин опять усмехнулся.

— Охотно, — с издевкой ответил он Фомичеву в тон. — Извольте. У меня почти что на глазах... трижды за два года... доблестные органы, зорко и неусыпно стоящие на страже интересов страны и ее трудового народа, давали трем совершенно разным коллективам ученых разрешения на передачу китайским коллегам существенной научной информации. Как правило, связанной с ракетным делом. За большие китайские деньги, конечно. Информация не была засекреченной, просто существенной, типа ноу-хау, но разрешение органов требовалось непременно. И за хороший откат такое разрешение непременно давалось. А если откат задерживался или выплачивался не полностью, пусть даже по вине китайской стороны, которая то не поспевала с оплатой, то норовила сжульничать, те же самые органы без зазрения совести сажали этих ученых как шпионов. За передачу, понимаете ли, иностранной державе совсекретных сведений. Знаете, говорят: если кирпич падает на голову один раз — это несчастье, если дважды — закономерность, если трижды — добрая традиция. Вы четвертый. Как такое назвать?

На протяжении этой речи Фомичеву казалось, что под ним растворяется пол. И вот открылось пустое пространство без конца и края, и началось свободное падение без края и конца. Все шло коту под хвост. Все его далеко идущие планы, все его великодушные замыслы...

— Наверное, законом природы, — сказал он, из последних сил стараясь, чтобы и содержание ответа, и его тон остались примирительными. Предполагающими хоть какое-то продолжение беседы. — Не стой под грузом и стрелой.

Опытный Заварихин это сразу просек — и прекратил.

— Не будем упражняться в остроумии, — сказал он и резким движением, будто ломая двумя пальцами кадык врагу, загасил сигарету в пепельнице. — Закончим так. По не зависящим от меня объективным причинам я не могу принять ваше любезное предложение и с великим сожалением вынужден ответить отказом. А теперь можете встать и идти темным лесом.

Фомичев наконец вполне осознал, что происходит катастрофа. В первую очередь, увы, чисто человеческая. Он и впрямь встал, но не сделал ни шага к двери и, умоляюще глядя на Заварихина, непроизвольно прижал оба кулака к груди — точно третьесортная актриса в потугах изобразить душевное волнение.

— Анатолий Андреевич, — проникновенно сказал он. — Ну это же ни в какие ворота не лезет! Если мать захромала — вы что же, оставите ее и дальше хромать по воду и побежите к чужой тетке со своей нерастраченной сыновней любовью? Да откуда вы знаете, может, у этой тетки все суставы уже давно искусственные, вот она на людях и не хромает. Вы же ее в домашней обстановке отродясь не видели! Демократы нам всю плешь проели, как честен, культурен и добр Запад, — а вы что, на красные флаги повелись? Решили, будто если компартия, так там и впрямь построят коммунизм, о котором, простите за выражение, мечтали наши отцы и деды?

У Заварихина дернулись желваки. Один только раз. Мощный был мужик, выдавший виды. Битый, тертый, толченный.

— Вон отсюда, — спокойно и негромко сказал он. Так и слышалось в его непреклонном тоне с детст-

ва знакомое: вы все видите, что хотите, и только я — то, что на самом деле есть.

Фомичев, вдруг сообразив, как глупо выглядит, опустил руки.

Стало ясно: чем задушевнее он пытается убеждать, тем более лицемерным и лживым для Заварихина выглядит.

— Анатолий Андреевич, — сказал он совершенно иным тоном, нейтральным. — Глупо и противно мне об этом напоминать вам, опытному человеку, который в отцы мне годится... Но ведь с момента, как я выйду отсюда, вы уже бесповоротно окажетесь предателем и иностранным шпионом.

И тут выдержка Заварихину чуть изменила: он с восторгом и радостной издевкой оскалился. Будто старого друга увидел после долгой разлуки — и аккуратно в тот миг, когда друг расстегнул штаны, чтобы справить нужду.

— Наконец-то слышу родную речь, — ответил он. — Шантаж — любимое орудие пролетариата и его карающего меча. Не тушуйтесь, молодой человек, гуляйте, а с этой проблемой я как-нибудь разберусь сам.

Только наутро, из сводок, Фомичев узнал, что Заварихин застрелился.

Хлопот сразу оказался полон рот. Всполошилось и требовало разъяснений начальство; всполошился и требовал разъяснений товарищ Ван; менты, расследуя малопонятное самоубийство, землю рыли в поисках человека, который посещал покойного за час до суицида и, согласно показаниям гостиничных работников, был, видимо, последним, кто видел Заварихина живым... Чтобы расхлебать всю эту бодягу, понадобилось больше недели.

Когда стало поспокойней, Фомичев перевел дух.

Ему и самому впору было в петлю.

Такую тоску, грех сказать, он испытывал разве что в последние часы отца, когда тот, лежа на диване под шинелью, неразборчиво шелестел что-то, иногда стонал и от беспомощности и неловкости перед сыном тихо плакал; и Фомичев все уговаривал его попить, в отчаянии стараясь хоть как-то порадовать («Папа, морс из черноплодки! Твой любимый. Свежий, утром сварил...»), но отец уже и пить то ли не мог, то ли не хотел, и прекрасная обыденная жизнь неудержимо тонула навсегда.

Был девятый день после смерти Заварихина, когда он вышел на метромоет. Сзади время от времени поезда утробно рокотали внутри висящего над рекой тоннеля; серый, тяжелый, как мокрая губка, воздух сочился мелкой промозглой сыростью, слева из серой горы триумфально выпирал Университет, погрузив шпиль в нависшее над столицей грузное дымное море. Перила были исчирканы и исписаны, кто-то кому-то обещал полизать, кто-то кому-то обещал оторвать, кто-то просто был тут тогда-то и тогда-то, а еще была крупная надпись: «Если мир — говно, тебе — туда», и стрелка, указывающая с перил вниз, прямо в бездну, где напряженное свинцовое стекло реки нескончаемо выдувалось из-под моста вдаль.

Странно, думал тогда Фомичев. Глаза жгло.

Оказывается, возможны гибриды из отца и его былых подопечных. Хороший, честный, смелый — начудил, наворотил, погнавшись за смутным сиянием; попал пальцем в небо, подвел всех, кто только был рядом, и тогда уж окончательно уверился, что во всем прав и потому одинок... Чисто интеллигент.

И схоронился в самую дальнюю эмиграцию из тех, что приличны русскому офицеру.

А теперь Фомичев медленно шел по Большой Полянке.

Бесились огни, торопились и толклись люди; нервозно рыча, как вечно голодный бесконечный крокодил, полз мимо поток машин — и Фомичев не знал, как быть дальше.

Ну, выпил. И что?

Помолиться разве...

Мысль, подкупающая свежестью и простотой.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли мне в оперативную разработку ценный и приятный в общении источник...

Цыц, сказал себе Фомичев. Кончай, придурок. Есть вещи, которыми нельзя шутить даже по пьянке, даже наедине с собой. Почему? Действительно, почему? Не то что я божьего гнева боюсь, понял он. Не верю я в горний гнев. Я себя испортить боюсь. Потому что хамство есть хамство, и стоит только позволить себе...

Вдруг навалилась усталость. Хмель выветрился, и захотелось просто спать и по возможности ничего не видеть и не слышать. Пожалуй, не стоило бродить дальше; прогулка сделала свое дело, желание спать — это хорошо. Последнее время Фомичев худо спал, досады одолевали. Наверное, уже не стоило идти до следующей станции метро, вон обычная остановка...

На странную женщину на остановке он обратил внимание сразу. Трудно было не обратить. В легком длинном пальто, в туфлях наверняка не для мокрого асфальта и вообще одетая явно не чтобы килькой в банке, хребет к хребту с такими же, умлевать в грохочущих давальнях метро, но для изящной посадки в просторное авто и царственного выхода из него, женщина сидела, привалившись спиной к прозрачной задней стене кабинки ожидания, одеревенело скло-

нив голову немного набок, и широко раскрытые глаза ее были стеклянными. Одна рука свешивалась с колен, холеные пальцы сжимали сигарету. Что-то в сигарете было неправильное, подумал Фомичев и тут же сообразил: она протлела до половины и не дымилась. Женщина уже забыла курить. Или уже не могла. Ей было уж всяко не больше сорока, смотрелась она ухоженно и более чем миловидно и никак не походила на бомжиху или записную наркоманку; на нее оглядывались, но, как водится, только пожимали плечами — и, садясь в подкативший автобус, снова напоследок оглядывались и пожимали плечами еще разок: ну, в жизни всякое бывает, а вообще-то не наше дело. Хорошо, что место было людное. Чье внимание женщина привлекла всерьез — так это двое разболтанных юнцов с банками энергетической отравы в пятернях; юнцы старательно делали вид, что женщине вообще не видят, до лампочки им женщина, но явно уже срисовали ее сумочку, широкое золотое обручальное кольцо, отчетливо дорогие сережки и с характерной вороватостью озирались в ожидании, что вот сейчас наконец все уедут на следующем, и можно будет проверить, воображает дама хоть что-нибудь, или все, что при ней и на ней, — наше.

Баста, подумал Фомичев, уймьтесь. Шиш вам обломится нынче, крысята. Стоять, бояться! И вы, негодующие праведники с высокомерной укоризной в белесых равнодушных зенках, тоже свободны, можете впредь не пялиться и не комментировать. Тише, тише, господа! Господин Искарриотов, патриот из патриотов, приближается сюда!

Фомичев развязно плюхнулся на сиденье рядом с женщиной.

— Томка, — сказал он громко, — ты чо тут рассла-лась? Не спи, замерзнешь! Перебрала, что ли?

И панибратски хлопнул женщину по плечу. Ле-гонько, разумеется.

Ее встряхнуло, как неживую. Не отреагировала.

Алкоголем припахивало, но лишь слегка; куда силь-нее отдавало какими-то ласковыми духами. Фомичев ни черта не понимал в духах и прочей женской снасти, но, судя по тому, что аромат был вкрадчивым, тон-ким, мерцающим, налетал словно бы легкими взмахами, а не проедал воздух насквозь, как при газовой атаке, — духи были хорошие, дорогие.

— О-о, — сказал Фомичев, ловя на себе ненавидя-щие взгляды юнцов и частью подозрительные, частью любопытные — остальных. — Ну, старуха, ты даешь. Нельзя так веселиться. Ты ж завтра проснешься, а ра-дости никакой, в башке по нулям, только вкус первого салата и головная боль. Недоглядел я опять... Выпорю!

Женщина не реагировала.

И что мне теперь, несколько раздраженно подумал Фомичев. Похоже, девушку чем-то накачали... К ментам нельзя. Может, и обойдется, но вероятность лишиться кольца и серег в милом обществе стражей порядка не шибко ниже, чем в каменных джунглях. Он обнял женщину, ладонь просунул ей под мышку, другой — подхватил под локоть; по ту сторону поро-дистой тонкой ткани, совсем близко, женщина оказа-лась стройной и прельстительно упругой. Фитнес, шмитнес... Во всяком случае, явственно не шалава и не алкоголичка, а человек в беде.

— Пойдем-ка, радость моя, — заботливо сказал Фо-мичев. — Застудишь себе все на хрен, кто детей мне будет рожать.

Он аккуратно поднял ее, поставил на подгибаю-

щиеся ноги. Сигарета наконец-то выпала из ее пальцев. Фомичев внимательно осмотрел асфальт — нет, кроме сигареты вроде ничего не упало и не выкатилось. Разрывая грудью тугую паутину взглядов, он повел женщину прочь. Та хоть чуть-чуть, но все-таки на каком-то глубоко запрятанном автопилоте помогала ему. Шажок, еще шажок... Ее голова ездил по его плечу. Потом женщина зацепилась одной ногой за другую и он чуть ее не уронил. Нет, подумал он, так мы далеко не уйдем. Надо сразу тачку брать.

Но дальше-то куда? Лезть к ней в сумочку, искать паспорт, в котором адрес? Искать мобильник и в его записной книжке домашний номер? Вот уж тут-то меня за мародера и примут. С гарантией.

Ладно, поживем — увидим.

Хорошо хоть, машина остановилась почти сразу. Пожилой, надлежаше небритый водила, искоса глядя, как Фомичев затаскивает женщину на заднее сиденье, скривил свое коричневое лицо то ли кавказской, то ли среднеазиатской национальности, но смолчал.

— И на старуху бывает проруха, — пробормотал Фомичев, усаживаясь с женщиной рядом. Ее голова опять упала ему на плечо, и опять будоражащий аромат мягко плеснул словно бы на излете издалека, из разнузданной испанской ночи, где в серебряном лунном хмелю бурлят гордыми цветами соловьиные сады; накатил, позвал недвусмысленно в эту разнузданность и тут же уплыл. Фомичев обнял женщину и слегка прижал к себе, чтобы ее не мотало на поворотах. Похоже, ее понемногу начало отпускать; ослабела судорожная одеревенелость, тело стало мягче, и веки сонно опустились на недавно еще остекленевшие глаза.

— Старуха должен дома сидеть, — сварливо ска-

зал восточный мудрец, перекидывая рычаг передач. — Кушать готовить, детей нянчить.

— Должен-то должен... — отозвался Фомичев и назвал свой собственный адрес.

Поехали. Вечерняя Москва длинными слепящими струями потянулась мимо.

— Дети есть? — вдруг спросил водила.

— А то как же, — браво ответил Фомичев. Женщина тихонько то ли всхлинула, то ли застонала у него на плече.

— К сыну... — с трудом разлепив губы, вытолкнула она. Фомичев встрепенулся, прислушался, но она опять отключилась. Впрочем, уже и это было информационным подарком. Знать бы еще, куда это — к сыну. Тогда бы, подумал Фомичев, с моим удовольствием. И поплотнее прижал ее к себе — ему казалось, она мерзла. То есть на остановке-то она точно замерзла. Отогреть надо как-то...

— Это хорошо, — сказал водила. — Много?

— Четверо, — огрызнулся Фомичев. — Старшего вот в армию берут — жена и перестаралась немножко на радостях.

— Молодец, — вдруг с уважением сказал водила. — Старуха должен радоваться, когда сына в армию берут. Сын не воин хуже дочери. Дочь хоть рожать может, а сын не воин — тьфу, ишак.

— Ну, ты не горячись, друг, — уже всерьез завелся Фомичев; видимо, хмель из него все-таки не вполне выветрился. — А если сын — учитель? Или ученый?

— Паф! — сказал водила. — Ты думал, трудный вопрос, да? Простой вопрос. И в армии не всякий воин. И в школе можно быть воин. А ученый — о! — Он смело оторвал одну руку от баранки и уважительно воздел ее к потолку машины. И даже потряс, словно

приветствуя подданных с трибуны. И некоторое время так и ехал. — Воин познания! — наконец пояснил он. Потом опустил руку и уже без пафоса признал: — И в армии не всякий воин, и в академии не всякий ученый.

Интересный мужик, с веселым удивлением подумал Фомичев. Женщина шевельнула губами, но беззвучно. Глаза ее были мирно закрыты, казалось, она уже просто спит. Уснула на плече у друга... У мужа. А вот сейчас они приедут домой, и ждут их четверо детей...

Их никто не ждал. Ни сын, ни дочь, ни пес, ни кошка. Даже кактуса на подоконнике не было у Фомичева. При его образе жизни, при его частых и долгих отсутствиях он мог завести дома разве что пыль. Но она и сама заводилась с успехом, пыль — не дети.

По лестнице он нес женщину на руках. Похоже, она и впрямь теперь просто спала — глубоко и, что называется, беспробудно. Мертвецки. Хорошо, что никто не встретился ни на лестнице, ни в лифте. Слегка запыхавшись, Фомичев уложил прекрасную незнакомку на диван; кусая губу, поразмыслил, потом решил снять с нее хотя бы пальто. Платье оказалось просто-таки вечерним, струящимся в облив тонкой талии и широких нежных бедер, с почти открытой грудью, и на груди — авторитетное ожерелье. Не подоспей господин Искарриотов, подумал Фомичев, крысята бы кучеряво поживились...

Экзотичный цветок нынче к нему занесло. Уже на дипломатических раутах наркотой балуются, что ли? Он присел на край дивана, наклонился к лицу женщины и профессионально принялся, погоняя к лицу воздух ладонью. Да, размеренное и совсем уже успокоенное дыхание гостьи отдавало алкоголем, но

крайне щадяще, а была ли еще какая-то химия — трудно понять, запахи шли месивом; мягким ночным ловцом снова прыгнул откуда-то с длинной шеи, с обнаженных ключиц истомный аромат садов Севильи-Гренады и, недвусмысленно мурлыкнув присоединиться к сладостным субтропическим безобразиям, снова лукаво спрятался, свернувшись клубочком. Запрокинутое на подушку женское лицо, приоткрытые чувственные губы и покорно закрытые глаза были, оказалось, совсем близко. Фомичев резко отпрянул, будто в лицо ему плеснули кипятком. Женщины у него не было уже несколько месяцев. Да и то... «Каштанку» читала? Молодец, а теперь в койку... Тьфу, ишак.

В несколько проворных движений он обшмонал карманы ее пальто. Пусто. Весь в раздумьях, он вернулся в прихожую и повесил трофей на вешалку. Рядом с его расхожими вещами тот смотрелся, как блестящий султан цирковой лошади в вологодском хлеву. Поколебавшись немного, открыл сумочку и перебрал содержимое. В нашей маленькой шкатулке есть помада и духи... Сигареты есть. Дорогие. Ну, деньги. Немного, кстати — так, чисто карманные. А вот мобильника, например, нет. Документов, конечно, тоже нет. Информационный вакуум. Что же она, с неба свалилась? Девочка из будущего...

Врачей позвать? В нерешительности он некоторое время стоял рядом с диваном, совершенно отчетливо и уже почти без угрызений совести понимая, что любит ее, беспомощно лежащей навзничь, делай с ней что хошь, а потом снова присел рядом. Диван прогнулся, женщину чуть выкатило к краю, ее бедро коснулось его бедра. Он вздрогнул.

— Утром уеду к сыну, — вдруг внятно и с каким-то вызовом сообщила она, не открывая глаз. Он вздрог-

нул снова. Наклонился над нею и без сомнений, будто так и надо, мягко поцеловал в лоб, а потом, успокаивая, погладил по голове.

— Конечно, милая, — тихо сказал он. — Непременно поедешь. Он ведь ждет, да? Конечно, ждет. Он тебя очень любит. Таких сыновей поискать. А сейчас тебе надо отдохнуть и набраться сил. Ты немножко заболела, но это пройдет.

Ее губы, дрогнув, улыбнулись.

Завтра она очнется. Перепугается, конечно. Спросит: «Кто вы?» И я, подумал Фомичев, не знаю, что ответить...

Он решительно встал. Вынул одеяло и бережно укрыл ее. Чтобы ей стало совсем уж уютно и целебно, подоткнул со всех сторон, при каждом движении явственно ощущая на своих ладонях теплую, послушную тяжесть женского тела за рубежом одеяла — и твердо зная, что этой тщедушной границы не перейдет. Погасил настольную лампу, чтобы даже приглушенный угловой свет не беспокоил гостью. Набравшись наглости, взял ее сигареты и ушел на кухню курить. Сто лет не курил, а тут все-таки пробило.

Она перестала понимать, зачем живет.

В последние двадцать лет все было просто: для сына.

Вряд ли она обожала его как-то уж чересчур. Самозабвенно, фанатично, эгоистично... Какие есть еще определения для сумасшедшей матери? Нет, тут было иное. Она совсем не была диктатором. Никогда не пыталась лезть во все его дела и управлять ими по своему взрослому бабьему разумению. Никогда не требовала детального отчета по каждой проведенной

вне дома минуте и аргументированного обоснования любых действий, казавшихся ей лично не вполне надлежащими. Ей были смешны и жалки дуры, которые поступают так и, сами того не понимая, на всю жизнь становятся, при всей своей якобы любви, первыми и главными врагами своих детей — а порой и их погубителями. Она очень рано поняла, что такое поведение диктуется не любовью (хотя старательно маскируется под любовь и самими дурами исключительно как любовь осознается), но всего лишь элементарным эгоизмом, в котором от любви либо очень мало, либо вообще ничего — просто боязнь, что вот дитя начудит, и придется расхлебывать; страх лишних хлопот. Она прекрасно понимала, что от подобных стараний, крайне трудоемких и невероятно нервных, будет, наоборот, плохо, и сама не заметишь, как со всей своей истерически упеленывающей заботой вырастишь не мужчину, а беспомощного уродца; так китайцы бинтовали ноги девочкам, чтобы пальцы намертво вросли под стопу и нельзя стало толком ходить. Утверждалось, что это апофеоз женственности и очень укрепляет семью. Беспомощный уродец, конечно, до поры до времени тоже очень укрепляет семью, однако хороша же та семья получается...

Может, она поняла все это, глядя на мужа? Еще не сознавая, что именно видит, но инстинктивно уже настораживаясь и начиная желать Вовке иной судьбы?

И уж подавно она не забывала из-за сына о своих собственных радостях и удовольствиях — в которых, впрочем, вполне знала меру, потому что предпочитала любимым бурным уладам надежное светлое довольство.

Но все в ее мире должно было складываться так, чтобы мальчик рос хорошим и все у него срасталось хорошо.

Надо признать, что и до сына у нее все было довольно просто — но ведь у молодых всегда все, в сущности, просто. Неглупая начитанная мечтательная девчонка, которую бог ни фигурой, ни мордашкой, ни темпераментом не обидел — хотя и не послал ничего уж такого ошеломительного; конечно, главным в жизни была любовь. Ну, предчувствие любви. Вокруг этого все крутилось.

Естественно, ей была лестна и приятна самозабвенная преданность Журанкова. А то, что он такой неумелый, обаятельно нелепый, не от мира сего, но с перспективами нешуточного таланта, лишь добавляло наслаждения: лопух-то лопух, а когда она наколола ногу, заботливо высасывал ей ранку на пятке, прижимая талантливую голову к ее подошве с такой готовностью, так естественно, будто занимался этим каждый день. Она была уверена: он ее так любит потому, что это она такая. Много лет прошло, прежде чем она поняла: это было потому, что — он такой.

Да и нечего зажмуриваться: во времена их молодости непрактичность еще сохраняла некое очарование, некую советскую престижность; она считалась признаком одаренности и широты характера, устремленности в будущее. Закрытой двери грош цена, замку цена копейка, пели тогда под гитару. Сбцайте-ка это сейчас на Рублевке или, наоборот, тем, кто едва сводит концы с концами, с кровью отрывая копейки на самое необходимое, — дождетесь ли светлых слез слушателей? А в ту пору она вполне была под этим подлым гипнозом.

Она пошла за Журанкова, уверенная, что по любви.

И в первые годы после рождения Володьки все было, в сущности, хорошо. Ей нравилось, как Журанков чикается с младенцем, когда находит для этого

время, — а он старательно находил; ей нравилось, как он учит его, карапуза, ходить на лыжах по Александровскому парку, и радуется, сам впадая в детство, — а уж карапуз и вообще в восторге; ей даже нравилось, как он рассказывает сыну вместо обычных сказок какие-то романтические бредни про полную тяжкого труда жизнь добрых звезд; чего, мол, стоит один нуклеосинтез, ради которого ослепительные Сверхновые жертвуют собой — а будь иначе, во всей Вселенной любая жизнь оказалась бы невозможна, — и ей, слушавшей краем уха, становилось тепло на душе.

Для порядка она журила: что ты забиваешь ребенку голову, какая там доброта у звезд, они же плазма, и все! А он смущенно улыбался: знаешь, я вот как подумую, что кто-то смотрит на комочки слизи, называющие себя людьми, и думает: какая там у них доброта, они же просто комочки слизи... Зачем, мол, пожарные лезут в огонь, зачем спасатели спасают, не помня о себе? Наверное, это у них вроде как у леммингов, что по глупости кидаются в воду, просто закон природы такой.

И она смеялась.

Ей нравилось, нравилось, нравилось...

Она любила. Что тут скажешь — любила. Ей нравилось, как этот вечный мальчик ласково и всегда как бы чуть стесняясь трогает ее, мягко раздвигает, будто не к обладанию рвется, а бережно ухаживает за чудесным цветком, а потом, уже добравшись до сладкой глубины, в самый нужный момент все же становится наконец мужчиной и начинает, глухо рыча, вертеть ее, точно щепку в водовороте, мять и молотить, так что она снова, и снова, и снова, несмотря на откладывающиеся в теле и в душе годы, оказывается беспомощной девчонкой — и за эти короткие, но ослепи-

тельно яркие возвращения в юность она любила его, наверное, больше всего.

Потом до нее дошло: Вовка может вырасти похожим на отца.

Беззаботная борьба за дело Ленина сменилась жестокой схваткой за себя. Жизнь преображалась. От ее требований уже не отделаться было ритуальным составлением социалистических обязательств, приходилось подписывать финансовые, и ответственность за них была не чета пусть и унылой, но мало к чему всерьез обязывавшей советской игре.

Всеобъемлющий оползень науки был стремителен и страшен, но пес с ней, с наукой, не на ней свет клином сошелся; а вот неумение мужа найти достойное место в разухабистой и абсолютно бессовестной свистопляске, в которую кинули контуженных встряской людей новые хозяева, стало казаться безысходным. Ему, видите ли, надо заниматься только любимым делом. Зажмурился, как испуганный малыш, и решил, что если он не станет видеть перемен, так их и не станет. Но, в конце концов, по паспорту он давно совершеннолетний, пора бы отвечать за себя, а не может — никто ему не виноват. Его жизнь за него прожить даже самая любящая жена все равно не в состоянии. Ее жизнь и жизнь сына — несовершеннолетнего, между прочим, а значит, нуждающегося в том, чтобы для его блага что-то решали за него, — не станут жертвами на алтаре мужниных наивности и слепоты. Заняв круговую оборону, спина к спине отбиваться от жизни, работать и зарабатывать, одолевать и преодолевать — это она с готовностью, только горн протруби. Грустно пускать вместе пузыри — ни за что. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ждать смерти, как избавления.

Легко разлюбить того, кто оказался ненадежен. Ей всегда были отвратительны дуры, до старости вытирающие сопли мужьям и даже носовые платки вынужденные покупать на свои, а не на мужнины деньги, потому что мужниных денег в природе просто нет.

Но вытирать задрипанному таланту сопли — это еще ладно бы, это, в конце концов, противно, унизительно, но не страшно. Страшно ей стало, когда она вдруг начала улавливать в подрастающем Вовке черты Журанкова. Это оказалось, как удар плетью. Неожиданный, незаслуженный. Сама-то она все делала для сына правильно. Но сын каждый день видел не только ее, но и его. Когда она представила, что Вовка, обреченный получить под застройку совершенно иной мир, чем в свое время получили, взрослея, они — куда более черствый, колючий, беспощадный к малейшей нерешительности, к малейшей доверчивости, к малейшему чистоплюйству, — может, чего доброго, войти в зверинец жизни не укротителем, а этаким допотопным Шуриком из комедии, то поняла: надо спастись любой ценой.

Иногда, философствуя в минуты досуга с сигаретой и чашечкой кофе, она позволяла себе поразмыслить о том, что и впрямь, наверное, бытие каждого последующего поколения является для предыдущего морально невыносимым.

Легко, думала она и делала маленький глоток, смеяться над стариковскими причудами, цитируя вавилонскую клинопись; ведь уже на глиняных табличках записаны пространные сетования о дурных и развращенных нравах молодежи, которая не чтит стариков, не проявляет скромности и не держит слова. И она отточенным движением подносила сигарету к губам.

Ну, ясное дело, старики везде одинаковы, как брюзжали, так и брюзжат, и нечего обращать на них внимание. Четыре тысячи лет развращаемся и развращаемся — и ничего! А на самом-то деле, думала она и делала еще глоток, очень даже чего. Вавилон-то давным-давно нет, опрокинут развратом. Создается нечто новое, создается только благодаря тому, что создатели жестко и порой свирепо этичны — и все начинается сначала, пока не рухнет сызнова. Стальная строгость нравов новорожденного Рима — и бессмысленная вакханалия поздней империи. Энергичное пуританство основателей Америки — и дым марихуаны над сношающимися кампусами, престижность извращений, неуязвимая наглость нелегальных иммигрантов и повальная стрельба хоть в кого-нибудь. Революционная аскеза горами двигавших комсомольцев — и нынешний наш раздолбайский гедонизм... И каждое новое поколение видит только часть раскисания, и то состояние, при котором оно входит в жизнь, кажется ему нормальным, а то, что становится нормой уже для следующего, — Содомом. А для следующего поколения все повторяется, пока жизнь, проеденная сифилисом мотиваций, педерастией ценностей, не рассыплется окончательно, и очередные выскочившие из-за угла владыки не создадут очередное и тоже не вечное царство хищной чистоты.

Она изящно отряхивала выросший на сигарете пепел. Кофе уже начинал остывать, и она делала глоток побольше.

Нам в молодости и в голову не приходило, что парню с девушкой, чтобы поцеловаться, сперва лучше бы вдуть по баночке слабоалкогольного, а теперь, похоже, и смеяться трезвыми уже никто не в состоянии. Для нас водитель, полагающий, что правила пи-

саны лишь для ущербных мозгляков, был хамом, а теперь это норма. Для нас, если мент ударил прохожего, это было чудовищное событие, из ряда вон, а теперь и к убийствам привыкаем и только на всякий случай шарахаемся подальше, завидев тех, кто нас бережет. Мы в детстве раннем до упаду возились на детских площадках, скакали, едва просохнут по весне тротуары, по меловым квадратам незабвенных «классиков», неумоимо раскатывали на ледяных горках, любой летний куст звенел, как птичьими, ребячьими голосами; а теперь малышни на улицах не увидишь — страшно оставить. Для нас крепостные заборы вокруг дач или терроризм и порожденные им повсеместные турникеты, ограждения, бесконечные досмотры и проверки документов были страшной сказкой о диких странах, а для нынешних это быт, и сравнивать не с чем. Прогресс...

Родителям нашим по сравнению с их безгрешной куцей юностью мы казались необязательными, распущенными, себялюбивыми, наглыми. И ровно так же у нынешних юнцов и юниц, когда мир станет крутиться уже стараниями их детей, волосы встанут дыбом. Она глубоко затягивалась напоследок. Тут главное — успеть сыграть в ящик, чтобы не оказаться вынужденным добывать хлеб насущный по правилам тех, кто порожден тобой; когда отпрыски войдут в силу, тебе, с твоими представлениями о допустимом и недопустимом, мало не покажется. Прогресс ускоряется, и укорачиваются периоды, на протяжении которых для каждого поколения мир выносим. Но как это согласуется с испуленным желанием жить подольше? Да никак...

Этих мыслей хватало как раз на одну чашку кофе и одну сигарету. Она поднималась из кресла, оправ-

ляла туго обтягивающее платье, опрятно смахивала с него неизбежные снежинки пепла и выбрасывала отвлеченную чушь из головы до следующей сигареты, а то и дальше.

Как бы ни создавался очередной прекрасный новый мир, по каким бы законам ни жил — он должен оказаться сыну по плечу. А это значит, помимо прочего, что плечи сына ни в коем случае не должны походить на плечики отца.

Легко полюбить того, кто показался надежным.

Странно, но она уже не могла вспомнить, где и как познакомилась с Бабцевым. Конечно, на какой-то интеллигентной тусовке с возлиянием и вольными беседами — время от времени она позволяла себе встряхнуться, а доверчивый, неумело заботливый Журанков никогда не чинил тому препятствий и даже сам однажды вслух объяснил свою снисходительность: «Я ведь тоже иногда за полночь засиживаюсь за работой...»

Она уже настолько была готова его предать, что подумала: «Если Вовка так будет относиться к жене, надежной семьи ему не видать, как своих ушей...»

Но было ли это сказано уже при Бабцеве или только в преддверии — она не могла вспомнить.

Поначалу он не то чтобы ей понравился; скорее она ему понравилась — и почувствовала это. Тактично заявленная мужская стойка всегда подкупает. А потом оказалось, что он храбрый романтик, обеими ногами стоящий на земле. Это сочетание восхитило ее. Не барыга, не нувориш из нынешних, которые как раз поперли из каждой помойки — капитаны бизнеса с тюремными наколками, ботающие по фене народные избранники, юные барабанщики, в одночасье ставшие кто певцами либерализации, кто высокооп-

лачиваемыми адвокатами... Себя она знала: можно сколько угодно философствовать о необходимости приспособления, но заставить себя быть рядом с таким она не сможет, есть непреодолимые уровни тошноты. А тут — свой человек, но на две головы выше; интеллектуал-победитель, гордый, смелый, свободный. Честный до самопожертвования. «Лапа, завтра мы не сможем увидаться, прости, я срочно улетаю в Чехию — интервью с Гавелом...» «В Брюсселе я пробуду не больше недели...» «Валенса такой смешной увалень, но мужик основательный и никогда не лицемерит. Либо говорит, что думает, либо молчит. Ты тоже таких уважаешь? Как у нас много общего, что бы это значило?» «По секрету только тебе — возможно, нам организуют встречу с Хаттабом и Басаевым. Ну, не так уж опасно. Не волнуйся, малыш. В зеленке, в зеленке, непременно в зеленке. Конечно, с наших звероящеров станется и журналистов вешать на танковых орудиях, но... Но пойми, если мы эту страну не спасем — никто не спасет!»

Именно о таких в последних классах школы, на первых курсах института они, романтичные интеллигентные девочки, пели под гитару: «Не оставляйте стараний, маэстро...»

Ей до сладкой дрожи захотелось, чтобы Вовка вырос похожим на него.

В первый раз она переспала с Бабцевым за два месяца до того, как сказала Журанкову, что уходит. Ей понравилось. Быть с ним в постели оказалось красиво и легко, словно в пылом танце. Ни похоти, ни грубости, ни неловкости — лишь изящная, полная взаимной заботы игра и бесстыдная радость освобожденного тела.

И к тому же нешуточная квартира в престижном

районе столицы. И новенький «Ауди», и гонорары европейских издательств. И такой круг знакомств, что с непривычки чувствуешь себя по ту сторону телеэкрана. И в первый же год — отдых в Италии. Вовка, младенчески сунув палец в рот, смотрел-смотрел на Колizeй, так похожий на тот, что столько раз мелькал перед ним на картинках и в телевизоре, только большой, твердый, не подвластный смене страницы или канала, а потом осторожно, будто боясь в ответ услышать что-нибудь не то, спросил: «А он настоящий?» Бабцев присел перед мальчиком на корточки, положил ему руки на плечи и, глядя в глаза, мягко и властно сказал: «Запомни, Володька. Это только у нас в России одно вранье. Здесь все настоящее». У нее сердце защемило от восхищения. Рядом с ним, думала она, и Вовка вырастет настоящим — и готова была у мужа с ног воду пить.

Журанков растворился быстро и бесследно, как пар над вскипевшим чайником.

Так она думала.

Она не заметила, с чего начался закат. Иногда ей казалось очень важным это уразуметь, потому что от ответа зависело, ни много ни мало, решение вспоминавшейся время от времени проблемы: что в человеке главенствует — дух или плоть? Но установить истину она так и не смогла. Все происходило очень постепенно; наверное, думала она, одно от другого в нас просто неотделимо.

Невозможно оказалось вспомнить, задолго ли до роковой поездки ей стало все чаще становиться скучно с ним в постели. Яркий парный танец, исполненный азартной, ничем не стесненной свободой, огненный выплеск естества мало-помалу оказался чем-то вроде однообразной производственной гимнастики,

полезной, наверное, но не дававшей ни близости, ни радости, и порой ей думалось, что лучше бы она и впрямь где-нибудь просто потанцевала, чем слушать, как он пыхтит.

А может, в начале, как и положено, было слово — страшное слово «маргинал». Когда она мысленно назвала так мужа впервые, то сама испугалась. По-настоящему смелых, честных и талантливых всегда мало, уговаривала она себя, их всегда не понимают, их всегда травят, поэт и толпа, совесть и власть, праведник и быдло, нет пророка в своем отечестве, Волга впадает в Каспийское море... Но при чем тут было все это, когда он в тысячный раз высокомерно и кощунственно трендел о рабьей природе этого народа, о его неизбывной ностальгии по сильной руке, по хозяйну... А как может старик, вышвырнутый из своей каморки по таинственному новомодному закону, не ностальгировать о временах, когда ему был гарантирован пусть минимальный, но неотъемлемый и нерушимый предсмертный покой и достаток? Как может одаренный мальчишка, которому не на что учиться, не мечтать о временах, когда образование было бесплатным? Как может честный работяга, которому ничего теперь не полагается, потому что он, оказывается, неправильно жил, не грезить о порядке, когда жулье только по углам таилось, тырило украдкой по мелочам, а не хохотало вызывающе из золотых теремов? При чем тут рабство, при чем тут сильная рука? Он вообще смотрит вокруг? Он вообще-то говорит о том, что видит, или, зажмурившись, повторяет, как попка, одно и то же просто потому, что за это еще платят?

Их становилось все меньше и меньше. Они становились все глупее и глупее. Их совсем уже никто не

слушал, кроме их же самих, над ними потешались за глаза, передразнивали, как придурков, с переменным успехом стараясь из последних сил соблюдать внешнюю видимость корректности — у нас же демократия, да и правда, что с убогих взять. И чем менее интересны они оказывались здесь, чем меньше их мнение чего-то стоило и кого-то трогало, чем меньше им было что реально предложить, тем больше западная публика старалась хоть как-то их подкормить и утешить; тем громче там, где нет вранья и все-все настоящее, кричали, как стремительно Россия вновь скатывается к тоталитаризму, как в ней снова подавляется всякая живая мысль и как затыкают рты самым искренним, самым умным, самым демократичным, самым болеющим за судьбу своей страны...

Этому никто уж не удивлялся; давно понятно, что для европейца и клоп — демократ, если кусает русско-го. А ей становилось тяжело — он же не клоп, он муж.

Но потом — трагедия с Вовкой. А у этого подонка даже тогда никаких слов не нашлось, кроме затверженных еще со времен, наверно, Горбачева, когда эта галиматья шла по свежаку на «ура»: генетическая ненависть к инородцам, русская страсть к погромам, хоть кол им на головах теши — они и вовсе без голов проживут, хоть медом общечеловеческие ценности намажь — они не возьмут, лучше собственным дерьмом сыты будут... Она смотрела на его губы, шевелящиеся толстыми червяками, даже без ненависти, просто с гадливым удивлением: и это — то самое? Не оставляйте стараний, маэстро?

Да, отдав дань растерянности и панике, он пришел в себя и что-то такое пытался, дергал за какие-то свои ниточки — но они все оказались с подвохом: что с вами, светоч вы наш? Сочувствуем, сочувствуем, разу-

меется, вашим семейным проблемам, но вы же понимаете, русский фашизм — это такое бедствие, такая опасность для человечества, что никакое снисхождение недопустимо, мальчик должен получить хороший урок... Он и сник.

А потом Вовку выручили совершенно другие люди, и сын вдруг оказался под крылом у своего нелепого отца, который, смешно подумать, после десятка лет на хлебе и воде непостижимым образом оказался кому-то нужен, и как нужен! Космос им, видите ли, опять понадобился — а вместе с космосом и те, кто, вопреки всякому здравому смыслу, наперекор истории, и впрямь, оказывается, не оставлял все это время каких-то совершенно невообразимых стараний...

Так это что же — ее потешный Журанков, что ли, маэстро? Настоящий, как Колизей вблизи?

От этого можно было взбеситься.

Первая их встреча в Полудне длилась жалкие несколько минут, но она и за эти минуты почувствовала: он все еще принадлежит ей. Как он смотрел, как говорил — так не говорят с чужими, так не говорят с теми, кого хотят оставить чужими из мстительности или от обиды; так говорят с теми и смотрят на тех, кто впечатан в тебя навек. Стало ясно: она могла бы взять его снова в любой момент. Но она не успела прикинуть, хочет этого или нет, не успела почувствовать ничего, кроме какого-то странного умиротворения — хоть тут все осталось по-прежнему; радуется такая неизменность или просто льстит — не утналась разобрать. Все испортила эта хищница, эта узкоглазая кобра.

Еще бы, теперь-то ее муж всем понадобился! Когда его вдруг короновали гением! Когда кругляшом драгоценного сыра пустили кататься в масле, видать, погуще советского, где купались полвека назад ядер-

ные физики! На готовенькое-то все горазды! Она, что ли, эта азиатская вертихвостка первой распознала в Журанкове талант и так долго, многие годы, преданно служила ему, и стирала ему, и родила ему сына? Нет! Не она!

Уезжать было нестерпимо.

До отъезда они с Бабцевым пробыли в Полудне еще два дня, но поговорить с бывшим мужем наедине так и не удалось. С сыном — пожалуйста, Вовка был сама сыновняя любовь, и будь она в ином состоянии — то беспримесно могла бы наслаждаться тем, как поразительно он изменился, возмужал, повзрослел, как повеяло от него спокойной сдержанностью, и уверенной добротой, и чуть снисходительной преданностью маме... Но не с мужем. Можно, конечно, было все списать на случайности, но, похоже, кобра оказалась отнюдь не дурой и стояла на страже.

Да если бы только кобра!

Баба бабу насквозь видит, и ничего тут нет из ряда вон выходящего, — но какого черта Бабцев-то вдруг ни с того ни с сего начал набиваться Журанкову в друзья-приятели?

А ведь начал. Его подходы и прихваты она за годы, проведенные вместе, выучила наизусть. Вдруг он принялся вслух превозносить счастливый случай, благодаря которому наконец удалось познакомиться с вами, уважаемый Константин Михайлович, ведь я, распинаясь он, о вас так много хорошего и лестного слышал, и не только от нашей общей жены, ха-ха, а и от весьма авторитетных издателей, заинтересованных в воскрешении научно-популярной литературы... Согласитесь, в наше время в России научно-популярная литература в ужасном состоянии. В советское время выдающиеся ученые, такие, как, скажем, Шклов-

ский, отнюдь не чурались работы для широкой публики. И это давало поразительные результаты. Вы в детстве читали Шкловского? Ну, конечно! И я! Помню, как это потрясло! Глаза горят, в зобу дыхание сперло... Вот и теперь надо же как-то поднимать эрудированность мальчишек и девчонок, правда? Нельзя отдавать информационный поток дилетантам и профанаторам, безграмотным делягам и мистикам. Ведь, в конце концов, от этого зависит будущее российской науки! Увлеченный ребенок — это не обязательно будущий великий творец, но будущий великий творец — это непременно сегодняшний увлеченный ребенок! Вот вы, например, не хотели бы попробовать свои силы в этом жанре?

Господи, думала она, да с каких пор его будущее российской науки взволновало?

Вдруг его заинтересовали, понимаете ли, какие-то червоточины в пространстве. Вдруг он оказался фанатом покорения большого космоса. Оказывается, все его статьи о том, что России на фиг не нужно лезть куда выше свалок, все равно она превращает в свалки все, куда залезла, вызваны были исключительно, видите ли, его опасениями за бессмысленное перенапряжение российского бюджета в тяжелый для страны период; ведь, в конце концов, жидкостные носители — это тупик, это бешеные деньги на ветер, а ветер — он ведь не для денег, а для парусов, и вот когда новая наука придумает какие-то новые паруса, принципиально отличающиеся от гремучего огненного убожества, ядовитого и взрывоопасного — он, Валентин Бабцев, обеими руками будет за новое соревнование в космосе, в котором России, конечно же, усилиями таких, как вы, уважаемый Константин Михайлович, суждено быть если и не вечным лиде-

ром, то, во всяком случае, заслуженно занять одно из призовых мест... Как вы оцениваете перспективу? Ядерные двигатели? Орбитальный самолет? Или что-то еще более новаторское, из области фантастики?

Не будь этой болтовни, не займи супруг этим непонятным обхаживанием все свободное время мужа, она бы уж улучила момент. Морозы отступили, накатила сухая сверкающая весна. В одночасье сугробы расцвели навстречу солнцу блестящими игольчатыми подпалинами, а по обнажившемуся асфальту побежали, будто в детстве, сверкающие ручейки с черными сморщенными пенками на заторах; и так мирно, душевно было бы пройти с Журанковым по берегу еще заснеженной речки, может, даже под руку, и вспомнить прошлое. Как ни крути, а мы тогда были молодые. И ведь нам было хорошо, правда? Жизнь — непредсказуемая штука. Главное — прочь обиды, надо ценить хорошее и рукой махнуть на плохое, тогда самому же легче дышится. Знаешь, хочешь верь, хочешь — не верь, но я, сказала бы она, рада тебя видеть... Смешно, сколько времени врозь, а вот стоило оказаться рядом, и какие-то древние рефлексы просыпаются; никуда они, оказывается, не делись — хочешь то шарф тебе поправить, то показать красивое облако, которого ты, задумавшись, не замечаешь, то уговорить зайти в магазин купить новую куртку. Да-да, куртка у тебя ни в какие ворота, протерлась вон. Ты что, не замечал? Молодая подруга за тобой плохо смотрит.

А ведь мы, вдруг подумала она, прикидывая будущий разговор, действительно были молодые...

Такие молодые!

И нам было хорошо.

Говоря все это Журанкову, поняла она, ей не при-

шлось бы кривить душой. Она действительно хотела бы пройти с ним под руку по заснеженной набережной.

Но супругу приспичило интересоваться физическими аспектами погружения в черную дыру. Вот настал время! И, главное, на кой ему это? Журанковато, несмышлениша, он обманул, тот в ответ на неожиданное внимание просто фонтанировал историями о каких-то, тихий ужас, конифолдных переходах, но она-то знала, что Бабцеву весь этот космос на фиг не нужен. А вот что ему понадобилось — это был вопрос. Впрочем, ответ напрашивался — сама-то она тоже была в те дни в высшей степени приветлива и уважительна с раскосой коброй и щебетала с нею, точно с лучшей подругой. Славный у нас подобрался коллектив, думала она, хорошо сработавшийся... А посреди всего этого цирка возмужавший ребенок Вовка торчал, приоткрыв рот, озирался и нарадоваться, похоже, не мог, как мы все быстро и славно подружились, и ему не надо ни от кого уходить, чтобы к кому-то прийти.

Да, уезжать было нестерпимо, но оказаться снова в Москве с супругом вдвоем, в безнадежной дали от места, где жили главные люди и происходили главные события, оказалось стократ нестерпимей.

К тому же супруг странным образом в последнее время утратил яркость и кураж, сдулся как-то, творил реже, публиковался меньше — было даже странно, откуда в доме берутся деньги. Ну, если абстрагироваться от негустых ее офисных. Причем денег было уж всяко не меньше, чем прежде, если не сказать — больше. Однажды она не выдержала и невзначай завела об этом разговор. Супруг, похоже, понял ее сомнения с полуслова и очень, очень спокойно ответил:

★ сколько можно молотить по клавишам, времена меняются, надо подумать, осмыслить, найти новое место в новом мире... А денег меньше не становится, потому что он правильно выбирает издателей («Помнишь генералиссимуса Суворова? Не числом, а умением!»), да и его имя работает на него. На нас. На всех нас, лапа.

Слова были исключительно правильные, не придраться. Но не могли они отменить того странного факта, что ее мужчина утратил блеск. Будто отполз в угол и то ли от чего-то прятался, то ли чего-то ждал. Будто его стиснули в кулаке, как слишком уж расчиркавшуюся и надоевшую канарейку, и что-то надломили. Она решила, что так на него подействовала беспомощность в драме с Вовкой. Как ни посмотри — он честно, по-отцовски пытался помочь, но ему, журналисту с именем, привыкшему ногой открывать любые кабинеты, вдруг дали под зад в самой что ни на есть болезненной ситуации — семейной; именно когда от него вдруг оказались зависимы не какие-то там смутно плавающие в небесных хлябях судьбы реформ, а незамысловатые и насущные, как ботинки, судьбы близких людей, его и поставили на место. Такое действительно могло надолго сделать мужчину калекой, подумала она и решила стараться быть с ним поласковой — насколько это вообще возможно при нынешнем раскладе. Пространство, которое супруг занимал в ее душе, таяло неудержимо, точно ледышка в кипятке. Жизнь с Бабцевым утратила смысл, когда Вовка оказался не здесь.

А с отцом.

Ей ведь, положи руку на сердце — тоже надо было быть там.

Недели через две или три, что ли, после вояжа в

Полдень вдруг выяснилось, что супруг переписывается с Журанковым по мэйлу. Это ее поразило. Но с него и тут как с гуся вода. Лапа, сказал он спокойно, я не буду вдаваться в дела былые, что уж между вами тогда надломилось — не мое дело, но, честно тебе скажу, мне он показался весьма достойным и очень интересным человеком. Он мне симпатичен. А кроме того, это мне и профессионально может пригодиться. Человечество вдруг будто очнулось — или наоборот, с кризисного отчаяния опять гашиша накурилось, не знаю пока, — но ты посмотри, как про полет к Марсу снова заговаривают то тут, то там. Если, паче чаяния, и впрямь возьмутся — это будет действительно колоссальное дело. Общечеловеческое, между прочим. Мне же надо держать руку на пульсе. Где гарантия, что твой бывший муж не окажется так или иначе связан с проектом?

Да, тут тоже было не придаться. Это она понимала. Заблаговременно подгрунтовать будущий доступ к вероятному центру внимания всего мира и сопричастность великому свершению — уважительная причина для кого угодно, а уж для журналиста и подавно.

Но, с другой стороны, если ему интересно и важно поддерживать отношения с Журанковым, то ей и сам бог велел. Раз Володька там...

С Журанковым. С отцом своим.

И с его темпераментной юной пассией.

Странно: пока Вовка жил тут с ними, рос и взрослел при них, при ней, и она жила надеждой, что сын день за днем исподволь пропитывается умом и умениями Бабцева, его драйвом, она не только не вспоминала Журанкова добрым словом, но вообще не интересовалась, как ему живется и, тем более, с кем. Ей даже в голову не приходило, что ему даже до пятиде-

сяти довольно далеко и он вполне еще может водить в дом барышень или что.

А вот теперь она ревновала его к азиатке смертельно. Иногда, как девчонка, уснуть не могла, ворочалась рядом с похрапывающим Бабцевым и то всей плотью вспоминала с умилением, как они с Журанковым, оба неловкие, но ласковые девственники, в первый раз были вместе, то перед закрытыми глазами у нее раскаленно всплывали, тесня друг друга, непристойно шевелящиеся видеоклипы его нынешних блаженств — и сердце начинало колотиться с яростной частотой и так сильно, что, казалось, ее при каждом ударе подкидывает над постелью. Анекдот: Журанков начал ей сниться! В самых что ни на есть откровенных снах! Курам на смех!

Она продержалась до середины мая. Но тут уж святое дело — у Вовки экзамены, а отец ведь наверняка, при всем своем радетьельном кудахтанье, занят выше крыши; где ему позаботиться о парне. Ей просто необходимо быть сейчас рядом.

Если бы Бабцев сказал, что поедет с ней, она бы, наверное, пристукнула его на месте.

Но он, похоже, понял. Он явно хотел сказать именно это, о совместной поездке, у него мигнуло что-то в глазах и даже губы дрогнули; со своей предусмотрительностью и желанием держать руку на пульсе он наверняка обрадовался бы предложению закрепить на достигнутых рубежах — переписка перепиской, а непосредственный личный контакт ничем не заменишь. Но он понял. И сказал: конечно, лапа. Странно, что ты так долго не могла решиться, тут же нет ничего из ряда вон выходящего. Не покусает же тебя твой Журанков. Знаешь, я бы тоже поехал, но сейчас — никак, дела не пускают. Вот в следующий раз

непрерывно. Непрерывно. В конце концов, может, тебе это и невдомек — но Вовка и мне не чужой человек... Я по нему соскучился, представь.

На какой-то миг ей даже стало Бабцева жалко. От благодарности у нее защипало в уголках глаз и по молодому сжалось горло. Будто она была влюбленной в Бабцева школьницей, а он позвал ее в кино. На перроне она поцеловала супруга от всей души.

Ночь в поезде и потом полтора часа автобусом — подумаешь, путешествие...

Снаружи кипела и цвела весна. Синее небо летело, как знамя. В открытое настежь широкое окошко задорно лезли ветки густой сирени, и аромат в комнате стоял такой, что хотелось броситься в него и плыть. Дом был чист и уютен, и тщательно прибран, и Журанков был чист и уютен. И — прибран.

От него пахло другой женщиной.

Она поняла, что опоздала. За эти два месяца молодая азиатка отрезала от нее мужа. Так, наверное, разрезают сиамских близнецов. Сегодня он смотрел не как тогда. Не мучаясь совестью за все, что в жизни сделал для нее не так, а словно на призрак. И, наверное, только вежливость не позволяла ему сказать: чур меня, чур.

Вовка еще не вернулся из школы, два часа до окончания уроков. Молодая — в командировке, она и не подумала бросать работу. Волнующий сиреневый воздух, льющийся в окно прохладным водопадом — как символ омовения, как посул обновления; кроткие, без чужих, комнаты развернулись, словно простыни, чистые и свежие настолько, что способны любое безрассудство сделать непорочным; женщина и мужчина, когда-то любившие друг друга, впервые за много лет наедине. Это мы, мы! Мы целовались, мы

завтракали голышом, мы жили вместе! Это все рядом, лишь руку протяни! Вот же я, ты ведь мне наколотую пятку высасывал... Журанков обрадованно, немного сбивчиво рассказывал об учебе сына, о том, как они, в общем, ладят — Вовка такой самостоятельный, мы с ним не как отец с сыном, а скорее как друзья... Глаза Журанкова светились от внутреннего покоя.

Ей захотелось плакать.

Она и не подумала начинать тот разговор, что так хотела и так фатально не успела начать в марте. Мы были молодые... Долой обиды... Рада тебя видеть...

Ничего бы уже не получилось, кроме неловкости.

Вон из-за той двери кобра вышла тогда голая. Тварь. Там, наверное, их постель.

Его рассказ о сыне дал первый сбой. Все самое главное оказалось сказано, а больше им, наверное, не о чем было говорить. Ничего у них не было теперь общего, кроме сына. Уже большого. Маленький ребенок — короткая веревка, но каждый сантиметр, что он прибавляет в росте, удлиняет веревку на километры. Мало-помалу ее концы расходятся по разные стороны горизонта; в ее нескончаемых петлях можно запутаться, она может даже обмотаться вокруг шеи и задушить, как пуповина — но удерживать двух людей рядом, если нет иных нитей, эта единственная уже не способна. Наступило молчание.

— А что же Валентин не приехал? — принужденно спросил Журанков.

— Тебе что, его не хватает? — холодно усмехнулась она.

— Да нет... Просто... Может, он стесняется. Ты скажи ему, чтобы не стеснялся. Знаешь, мне немного совестно перед ним.

— Тебе — перед ним? — она недоверчиво посмотрела на него исподлобья.

— Ну конечно.

— Слушай, ты серьезно?

— А что такое?

— Нет... Но...

— Он же столько лет был ему отцом. Отдавал силы, что-то пытался вложить... А теперь получается, будто я у него отнял. Пришел на готовенькое. Конечно, совестно.

— Не так уж много он отдал, — не удержалась она.

— Ну... это уж... Не мне судить, но только знаешь — все всегда получается хуже, чем пытаешься.

— Это точно, — подтвердила она. — Да, вот это точно. Когда-то любили говорить: мысль изреченная есть ложь. А ведь это интеллигентские слюни... Подумаешь, не та болтовня, так эта. Ужас в том, что сделанный поступок есть ошибка.

Он помолчал.

— Как ты жутко это сказала...

— Курить у тебя можно? — тихо спросила она.

Он чуть улыбнулся:

— Тебе можно.

Вежливый.

— Костя, — сказала она и выдохнула дым прямо в аромат сирени. — Знаешь... Я до сих пор не могу понять, что сделала не так.

— Ты о чем? — встревожился он.

— О нас.

Он помолчал, а потом вдруг шумно воздвигся, неловко спрятал руки в карманы домашних штанов и медленно ушел к окну. Некоторое время смотрел туда, где в щелях между толпящимися домами виднелась зеленая даль. На фоне майского сияния он напо-

минал погашенную, оплывшую, в застывших наростах свечу.

— Ты все сделала правильно, — глухо сказал он, не оборачиваясь. — Ты умная, решительная и смелая. Ты молодец, что у тебя хватило духу. Ты бы не выдержала со мной. А я с вами. Вон ты какая красивая, душистая... А Вовка? Разве я бы смог? Я бы в лепешку расшибался изо дня в день, рвал бы жилы, чтобы как-то вас обиходить — но при том и своего дела бы не сделал, и для вас ничего толком не сумел.

— А ты сделал какое-то дело?

Он помедлил, чуть заметно пожал плечами. А потом все-таки признался:

— Пока не знаю.

Она едва не сорвалась на крик:

— Десять лет провалилось — и ты до сих пор не знаешь?

Он не ответил.

Она некоторое время молчала, пытаясь подобрать слова. Но для таких чувств нет слов, и она махнула на слова рукой. Пусть просто услышит голос ее тоски. Не поймет так не поймет.

— Понимаешь... Все на свете — обмен. Ты же ученый. Химические реакции — обмен молекулами, атомами. Ядерная твоя физика — обмен частицами. Обмен. Везде. Почему же, если так ведут себя люди, это считается каким-то... Нечистоплотным, стыдным? Талант надо обменивать на благосостояние. А если не умеешь — надо учиться. Если талант не вступает в обмен с окружающим миром — значит, его все равно что нет. Неумение ведь не добродетель, неумение — грех, несовершенство, неисправность. Кто назвал бы добродетельной молекулу, которая отказывается от участия в реакции потому, что ей, видите ли, гадко,

когда в ней что-то на что-то меняют и она перестает быть собой? Ведь жизнь бы остановилась, если бы молекулы вот так сошли с ума!

Он обернулся. У него побелели губы.

— Катенька... Господи, ты все переживаешь.

— А ты — нет? — не удержалась она. Голос дрогнул.

Он помедлил и ответил:

— Сам не знаю...

Она улыбнулась:

— Я тебя до сих пор лучше тебя самого знаю...

Ты — нет. Если бы переживал — знал бы.

Помолчала.

— Вы уже расписались?

— Нет.

— Почему?

— Некогда.

— Ты очень занят?

— Кошмарно. И она тоже.

— Тогда ответь на мой вопрос.

— Катенька...

— Не надо так меня называть.

— Почему?

— Царапает.

— Прости...

— Ничего.

Он не спросил, почему царапает, и она не понимала, рада его сдержанности или нет. Он наверняка неправильно ее понял. Ей совсем не претило, когда он называл ее, как прежде. Наоборот. Но это слишком подчеркивало, что на самом-то деле она ему совсем уже не Катенька — и именно теперь, когда ей так хотелось бы снова ею стать.

— Ответишь? — напомнила она. — Ты знаешь ответ?

Он задумчиво взъерошил себе волосы — думая, что пригладил.

— Сказать по совести, я никогда под этим углом не смотрел... Но... Если вот так, навскидку, первое, что приходит... Природа. Ни в одной природной реакции никто не старается взять лишку. Просто не может. Берется ровно столько, сколько требуется, и не больше. И не меньше, разумеется. Но человек всегда старается взять больше. Ему всегда надо больше, чем на самом деле надо. Это от головы. Это такой способ самоутверждения. Демонстрация силы, могущества: если я выпил три бутылки, а ты только две, значит, я главнее. А ведь хватило бы одной и тому, и другому. Съесть больше, чем вмещает пузо, купить больше, чем позволяет кошелек, убить больше, чем нужно для безопасности... Сделать на копейку, но получить на рубль... Интересно, я никогда об этом не думал. Спасибо за вопрос, Катень... Да. Катя. Тебе еще не скучно?

— Пока нет.

— Я ведь, если уж меня заставили над чем-то задуматься, не остановлюсь. Ты сама меня останови, когда надоест.

— Хорошо.

— Понимаешь, похоже, это у нас повально: из всего выдавить больше, чем оно способно дать само, без насилия. Мы и друг от друга вечно стараемся получить больше, чем нам могут дать от души. Ты замечала, конечно?

Он спросил это просто, безо всякого намека, но ее словно окатило расплавленным оловом.

— Замечала, — через силу ответила она.

— Ну, вот... И я замечал. От каждого поля мы стараемся взять больше зерна, чем оно способно вырастить. От воздуха, от океана... И от обмена тоже. Так у

нас мозги устроены. Каждому хочется победить других. Если не в битве, так в жратве. Показать, что он круче. Жизнь человечества превратилась в нескончаемое соревнование, кто больше гамбургеров сожрет в единицу времени. А мир расплачивается. Мы ко всему относимся, как пьянчужки, трясущие пустую бутылку: кисонька, еще двадцать капель! Глотаем стимуляторы, чтобы из себя выдавить больше мыслей, сил, способностей и не проиграть другим. И природу пичкаем стимуляторами, потому что она надламывается от наших запросов... Завышением требований мы выжигаем... нет — ВЫЕДАЕМ и себя, и друг друга, и весь мир. А кому-то же просто противно включаться в эту жрачку. Кто-то же должен вести себя иначе, чтобы... ну... — он смущенно улыбнулся. — Не знаю, зачем. Чтобы оставалась альтернатива. Чтобы по крайней мере отсрочить конец. Может, если его отсрочить, мы успеем что-то в себе понять и изменить. Наверное, поэтому поведение, идущее наперекор нашей завидущей и загребущей природе, перевозносятся все религии. А уж вслед за ними — и светские традиционные культуры, по наследству... Модернистские-то, наоборот, кричат: хватай! Чем больше, тем лучше! Но есть какие-то вещи, которые зазорно не отдавать даром. Ну ты представь, если бы Солнце вдруг начало присылать нам счета за освещение?

— Светить всегда, светить везде... — скептически процитировала она и заключила: — Концовка подкачала, Костя.

— Тебе бы все шутить, — смутился он.

— О да, — сказала она.

— Ну, а если без концовки... — проговорил он. — Если просто так... Понимаешь, очень противно идти у

этого закона на поводу. Не знаю, почему. Наверное, я слишком пропитан иллюзиями культуры.

— Наверное. Законы на то и законы, чтобы их исполнять, — возразила она. — Даже незнание закона, — она усмехнулась, — не освобождает от ответственности. Тем более, если ты его знаешь.

— Да, конечно... — без энтузиазма согласился он. Она поняла, что крыть ему нечем. Но он добавил: — И все-таки есть отличная от нуля вероятность, что этот закон, если посмотреть, например, на уровне метагалактики или мультиверса — лишь частный случай, а то и просто исключение из какого-то куда более фундаментального закона. Вот за что я руку бы отдал... — задумчиво произнес он. — Чтобы открыть такой закон.

— Смотри не накликай. Твоя женщина не обрадуется, если ты лишишься руки, — не удержалась она. — Чем ты будешь...

Журанков покраснел, как мальчишка. И в этот момент, не дав ей договорить — хотя, возможно, она и не стала бы договаривать, все и так было ясно, — в двери звякнул ключ. Журанков вскочил, засияв.

— Вовка, — сказал он. — Что-то рано...

Она поспешно загасила сигарету.

— Сын меня убьет за порчу кислорода, — сказала она.

Журанков в прихожей услышал и засмеялся.

— Наверняка сбежал с последнего урока, — сказал он. — Как же, мама приехала — разве усидишь?

Глупой курицей она хлопала крыльями над сыном битую неделю с утра до вечера, готовила его любимое, говорила его любимое, выгладила его любимое и дождалась-таки, когда в безусловно отглаженном любимом он пошел на первый экзамен; и высший балл

он получил уверенно, взялся, похоже, за ум. Тогда она собралась обратно. Как бы домой. Пообещала скоро приехать снова. Может, уже к концу сессии. Будем ждать, сказали ей оба мужчины.

В купе она оказалась в обществе развеселой, шальной от дорожного раздолья молодой парочки. Едва поезд тронулся, и Журанкова с Вовкой, стоявших у окна до самого отправления, вместе с перроном мягко потянуло назад, и они, уже уплывая невесомыми мыльными пузырями, в последний раз помахали ей из-за стекла, парочка с хихиканьем сбежала отрываться в ресторан. Она наконец осталась одна. Только смирительная келья купе и безучастно плывущие мимо неважные поля, чужие овраги и рощи, чьи-то тропинки, по которым она никогда не сможет пройти, реки, из которых пить не ей. От их равнодушного чередования облегченно щемило сердце; на них можно было просто смотреть, они ничего не требовали, ни к чему не обязывали, ничего не напоминали, ничего не обещали, из них не надо было выбирать, на них не надо было надеяться. Она не была виновата перед ними за то, что просто едет мимо. Ехать бы и ехать, и никогда никуда не приезжать. Теплый красный мяч вечернего солнца неумоимо катился по горизонту. Ни в кредит, ни в лизинг, ни даже за нал. Ни даже за лесть — просто за совесть. Ну а уж если солнце изменит или надорвется, не помогут никакие ухищрения и никакие деньги. Колеса мягко и непреклонно отбивали железный ритм. Ни там — ни здесь, ни там — ни здесь, ни там — ни здесь... На нее никто не смотрел. Ее никто не видел.

Теперь можешь зареветь, сказала она себе.

И не заревела.

Гнойник зрел еще полгода и прорвался в ноябре.

Неожиданно. То, что долго исподволь зреет, в конце концов всегда происходит неожиданно.

Супруг уговорил ее выбраться в театр. Хватит работать. Хватит сидеть каждый в своем углу, за своим компьютером, со своими делами и заботами. Тут он, наверное, прав, подумала она — им категорически не хватало новых общих впечатлений и переживаний; а все прежнее общее уже истрепалось до дыр. Пересохло, как клей, до утраты клейкости. Они будто плавали, снуло шевеля плавниками, в поставленных стекло к стеклу аквариумах, каждый в своем — око видит, а душа неймет. Если вместе что-то делать или хотя бы на что-то смотреть, может, появится, о чем говорить.

Тем более зрелище обещало быть любопытным. Несколько смущало ее, правда, название — «Двуликий Анус»; она, перевалив за половину жизни, так и осталась немножко ханжой и не любила ни матерщины с экрана, ни излишних физиологизмов, подаваемых как художественная смелость. Однако супруг уговорил: аристократический просмотр, по-домашнему крохотный зал, вся интеллектуальная элита Москвы просто без ума. Каждый вечер аншлаг.

Они едва не опоздали и еле нашли, где припарковаться — на полсотни метров плотно выстроился, сверкая под московской моросью, словно бы филиал европейского автосалона. На той стороне проспекта, в мерцающих клубах летящей по ветру мелкой колючей влаги, утрюмо и довольно уныло мокло несколько десятков человек с лозунгами, кое-кто — в торчащих из-под курток рясах и даже, кажется, с иконами и православными хоругвями. Между отсыревшими демонстрантами и людьми в вечерних туалетах, степенно выходящими из машин, азартно метались телекамеры. Кто-то из приехавших, поджарый, седой, улов-

ленный на выходе из вишневого «Бутатти», уже давал под микрофон интервью, с негодованием тряся рукой в сторону лозунгов. Она попыталась присмотреться, но буквы отсюда не читались, расплываясь в сырых сумерках и промозглых бликах; разобрать можно было только многочисленные восклицательные знаки. Поодаль серыми тенями скучала милиция. Благодаря «Двуликому Анусу» все были при деле; если не мир, то уж, во всяком случае, знатная доля столичного мира крутилась вокруг него.

— Ага, — удовлетворенно сказал Бабцев, глуша мотор, — черносотенцы тут как тут. Отец Звездоний на страже.

— Ну, — сказала она, — я вон смотрю, там и вполне современная молодежь...

— Путин-югенд, — пренебрежительно отмахнулся супруг. — За копейку любят Родину с девятнадцати до девятнадцати тридцати, потом разбегаются по бутикам и кабакам.

— Почему ты так уверен? — неприязненно спросила она.

Он внимательно посмотрел ей в лицо и улыбнулся.

— Сейчас уже некогда, вот-вот начнут, а завтра давай специально приедем и проведем маленькое исследование. Если хоть на одном из юных патриотов обнаружится пальто фабрики «Большевичка» или обувь фабрики «Скороход», я публично признаю, что Медведев и Кирилл — это Дмитрий Донской и Сергей Радонежский нашей эпохи.

Она не придумала, что сказать в ответ. Да супруг и не ждал ответа. Зафиксировав ручник, он открыл дверцу — в салон широко дунуло зябкой прохладой — и заботливо сказал:

— Накинь все-таки пальто. Сырость.

Когда они боком, неловко, будто увечные крабы в узкой расселине, пропутешествовали над чужими коленями и нашли свои места, в глубине сцены, в таинственном свете софитов, уже занимался потихоньку своими делами человек в смокинге; из-под смокинга торчали голые, броско волосатые ноги. Смокинг был двубортным, длинным и срам все ж таки прикрывал — постановка не бравировала вульгарной порнографией, но шла как интеллектуальный бурлеск. Носитель смокинга вроде бы не ведал, что на него уже смотрят, и тщательно, волосинка к волосинке, причесывался перед зеркалом, манерно похлопывал лосьонными ладонями по щекам и вообще всячески охорашивался. Надо думать, это символизировало тщедушный и лицемерный лоск цивилизации; в сущности, спектакль уже шел. Напоследок актер взял с полного косметики туалетного столика какую-то коробочку, вытащил из нее пластинку, наверное, с лекарством — несмотря на малые размеры зала, уж таких подробностей было не разглядеть; ножницами разрезал пластинку и вытащил нечто вроде суппозитория. Присел на корточки, так, что фалды смокинга свисли до полу и слегка даже по нему постелились, сунул руку в укрытое обвисшей тканью пространство и, похоже, проделал там некие интимные операции; во всяком случае, когда он вытащил из-под смокинга руку, в пальцах ничего уже не наблюдалось. Сыграно все было в высшей степени целомудренно, без натурализма, но искушенному зрителю сомневаться не приходилось: суть сцены сводилась к тому, что мужик вставил свечку себе в задницу. По залу прокатились легкие смешки, кто-то заплодировал, и кто-то подхватил. Мужик, не обращая внимания на одобрительную реакцию публики, встал с корточек, протер руки

салфеткой со столика и, от бережности к свдвигнутым внутренним проблемам шагая несколько скованно и неуклюже, пошел из глубины к стоящему спинкой вперед почти у края сцены стулу; сиденье было накрыто мягкой, небрежно брошенной тканью. Подошел. Тщательно расправил ткань, чтобы не было ни малейших давящих складочек, и тогда уж сел верхом. Положил руки на спинку, на них водрузил подбородок и устался в зал. В зале то тут, то там, точно беглая стрельба, снова протрещали выжидательные, поощряющие хлопки. Мужик несколько секунд водил пристальным взглядом по лицам зрителей и словно каждому пытался заглянуть в душу, а потом с мягкой грустью, будто в разговоре с самыми близкими о самом потаенном, начал:

— Знаете ли вы геморрой? О, вы не знаете геморроя! Всмотритесь в него. Горит и дышит он...

Она почувствовала не веселье, а злость. Слишком уважала она Гоголя и, хотя не перечитывала «Майскую ночь» уже много лет, любимые места помнила чуть ли не наизусть. Чем им Гоголь-то помешал, подумала она и тут же постаралась одернуть себя: я совсем уже от личных проблем занудой стала, так нельзя. Надо смеяться, ведь смешно.

Впрочем, как выяснилось вскоре, Гоголя опустили только для разогрева.

— Вы там наверху, в Кремле организма, только радуетесь маринадам и разносолам, острым китайским приправам и крепкому портеру, а расплачиваться мне, внизу. Ну, не совсем внизу, я вам не пятка, конечно... Пяткам что? На пятках крепкие трудовые мозоли, им не больно! Но вы полагаете, трещины и впрямь проходят через сердце поэта? Я вам скажу, где на самом деле проходят трещины! Может, даже покажу...

Общий хохот, потом — аплодисменты.

— А вы знаете, что даже у Господа нашего Иисуса Христа были с этим проблемы? То приходится сорок дней бухать с Сатаной в пустыне — а какая в пустыни закуска? Никакой. То вдруг Марфа и Магдалина наготовят полные блюда остренького, пряненького, и надо все умять в один присест, чтобы не обидеть уверовавших. Последствия понятны... Помните, с какой горечью он сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи¹? Думаете, это о культуре, о судьбах народа? Воля ваша, думайте, если вас еще не припекло снизу. Но я-то собрата по несчастью сразу чувствую. Вы только попробуйте представить, каково это, когда к вам на седалище воссядут тяжеленные книжники и костлявые жесткие фарисеи! Они вам напрочь пережмут кровоснабжение и воздухообмен прямой кишки! Как тут не заговорить притчами? Или вот это, помните? В посланиях. Братия, я, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели во Христе Иисусе². Тут уж все сказано простыми и ясными словами. Чтобы забыть боль в заднем проходе, великий апостол бежит куда глаза глядят и стремится к цели — облегчиться, убежать от реальности, которая настигла его сзади. Ну и, разумеется, приходит к Христу. Ведь кто лучше всех поймет того, кому нужно срочно забыть заднее?

Время от времени, возможно, опасаясь, что зрителям наскучит монотонность монолога, он мастерски пускал ветры губами — то трубно, протяжно-рокоюще, то шипяще, то с бульканьем и клокотанием...

¹ Матф. 23:2.

² Фил. 3:13.

Публика хохотала, рыдала, стонала и в полный голос комментировала. Было похоже на сумасшедший дом.

Она обернулась на супруга. Тот, вытянув шею, ловил каждое слово. У него горели глаза, он дышал ртом, чтобы лучше слышать, и приоткрытые губы, в уголках которых застыла слюна, задубели в улыбке. Так Вовка в пять лет, затаив дыхание и напряженно замерев, боясь пропустить хоть слово, несмело улыбаясь от робкой надежды, следил, как на экране старенького телевизора Герда спасает Кая. Но Бабцев был не ребенок, и на сцене играли не «Снежную королеву». От супруга шел возбужденный терпкий дух — она не сильна была в практической зоологии, но именно так, подумалось ей, должны пахнуть мелкие грызуны во время спаривания.

Вот почему в постели он механический, как вагинальный массажер, с ужасом и отвращением поняла она. Вот где его секс.

Похоть надругательства и сладострастие святотатства.

Возвращаться в его дом и ложиться с этим извращенцем в одну постель стало невыносимо. Запах был отвратителен. Горящий взгляд вызывал тошноту.

Нарыв лопнул.

Она тихонько, чтобы никому не мешать наслаждаться явлением культуры, привстала, шепнула Бабцеву: «Я сейчас». — «Давай скорей, жалко будет, если много пропустишь», — торопливо ответил он, не отрывая глаз от сцены. Она еще не вполне понимала, что собирается делать, куда идти, и чувствовала только, что больше не выдержит здесь ни минуты — либо забьется в истерике, либо ее стошнит прямо на утонченные прикиды сидящих впереди. То и дело едва не теряя равновесия, она проутюжила ногами одни чу-

жие колени за другими, выбралась в проход и почти побежала вон.

Демонстранты уже рассеялись. Если верить супругу — по бутикам и кабакам. Но ей было плевать.

Морось отчетливо переходила в знобкий, секущий дождь. Волосы обвисли. За шиворот потекло. По асфальту тонкой пузырчатой пленкой катила холодная вода, и мгновенно промокли туфли. Но ей было плевать.

У нее не было с собой ни документов, ни мобильного, и даже ключи от машины остались у мужа. Но ей и на это было плевать.

К сыну.

А потом — в Питер. У Вовки или у Журанкова наверняка найдутся лишние ключи от пустой сейчас царскосельской каморки. Осяду там, предвкушала она. Одна. Как-нибудь проживу, кем-нибудь пристроюсь. Хватит. Сын вырос и сам нашел, на кого смотреть снизу вверх. А может, он и ни на кого уже не смотрит, только на собственную звезду. И хорошо, и пусть. А с меня хватит. Останусь без мужика? Да провались они пропадом уже. Что я, храпа не наслушалась? Приноравливаешься, приноравливаешься... А в итоге — вот. Вонючий грызун, уверенный, что борется с человеконенавистническими мифами, а на самом деле просто кончающий от мысли о том, что у Христа был геморрой. С меня хватит, слышите?!

К сыну. А потом в Питер.

Но это завтра. Надо забрать документы, деньги, уложить вещи и плюнуть в лицо супругу. А сейчас — свобода. Край. Под ногами еще твердо, но уже распахнулась, обещая несказанный полет, полная солнца и ветра гудящая бездна. В невероятной дали внизу по тоненьким жилкам дорог запыленными муравья-

ми ползают, как зэки в котловане, мужья, бестолково катая взад-вперед полные важных дел тяжелые тачки. А ты, легкая и чистая, в вышине, наедине с далеким горизонтом. Один шаг — и ты птица, и небо твое.

Свобода так свобода. Будем брать от жизни все. Не обязательно сразу бежать домой и собирать манатки, как воришка. Пусть лучше он придет первым и психанет хотя бы вполовину так же, как она четверть часа назад. Пусть полезет на стенку. Хватит бережности. А потом она заявится... Навеселе. И все ему скажет. Да, навеселе. Сколько раз он являлся за полночь навеселе? Кто же считает... Деловые встречи, ага. Какое идиотские слово — навеселе. Почти на весле. Говорят, при тоталитаризме на каждом углу обязательно стояла женщина с веслом. А теперь надо ставить бабу с веслом. Символ обновления.

Она зашла в первое же попавшееся кафе. В упоении ей и в голову не могло прийти, что, свернув с натеренной стежки дом — «Ауди» — офис — проверенные магазины — проверенные рестораны, она рискует всем телом приложиться об иные грани мира. Сто лет не бывала она в таких вот занюханых простонародных забегаловках, и сейчас в чаду, дыму, нетрезвом гомоне и братской тесноте у нее даже сердце размякло — было похоже на рюмочные шального позднего детства. Она еще застала их короткий чахоточный расцвет, когда идиот Горбачев подсадил народ на самопальную отраву и бытовую спиртосодержащую химию; зато, правда, вырастил водочную мафию, первых отечественных капитанов бизнеса, в чьи трудолюбивые руки не стыдно было потом сдать для оздоровления неэффективную имперскую экономику...

— Коктейли у вас делают? — спросила она бармена, постаравшись улыбнуться очень доброжелатель-

но; пусть я из верхнего мира, но нынче я простая-простая, как все. — Что-нибудь такое, чтобы женщина могла ощутить себя МОЛОДОЙ женщиной. Приятное приключение, например. Ну, Батида дель Соль или Цацарак...

Обаятельный мальчик-бармен в ответ улыбнулся ей с пониманием, но сокрушенно покачал головой.

— К сожалению, у нас немножко иная специализация, — сказал он. — Только чистые напитки. Но для вас, — добавил он, и голову можно было прозакладывать, что ради этой женщины он пойдет на любой подвиг, — я что-нибудь придумаю. Присаживайтесь, вам принесут.

Она обернулась в поисках посадочного места; упиваясь свободой, мимоходом лоя и отбрасывая заинтересованные, удивленные и восхищенные взгляды, величавой неторопливой царицей пошла к незанятому столику у двери в подсобку — и не видела, как бармен кому-то показал на ее спину глазами и быстро сделал большим и указательным пальцем колечко. Бармен понял ее по-своему.

Из полуоткрытой двери отчетливо тянуло несвежим туалетом, столик был полон каких-то крошек и кадель.

Но ей было плевать. Она летела.

Приветливая девочка подошла с подносом буквально через пару минут.

— Что-то покушать будете?

— Пока нет.

— Тогда пожалуйста, вот.

Неказистый, но крупный бокал молодежно тукнул стеклянным донцем в стол.

— А что это?

Девочка улыбнулась.

— Вам понравится. Именно то, что вы хотели, — чтобы по ходу отдохнуть как следует. Только, знаете... у нас так принято... Не могли бы вы расплатиться сразу? Это совсем не значит, что вы не сможете повторить заказ или пожелать что-то еще, просто... Так у нас принято.

Смеясь, она заглянула в клочок счета. М-да. За один бокал... Ну, да не в такой день мелочиться.

— Дорогонько, — мимоходом заметила она, небрежно отдавая деньги, и улыбнулась — мол, все замечаю, все понимаю, но прощаю вам ваши маленькие слабости. Девочка широко улыбнулась в ответ и даже коротко присела в слабом подобии книксена.

— Зато вкусненько — ответила она шаловливо. В тон.

Какие свойские, услужливые ребята, благодарно подумала она, поднося бокал к губам. Ну-ка, подумала она с любопытством доброжелательного естествоиспытателя, что они мне... Первый же глоток, вязко окатив рот и горло незнакомым, но приятным ароматом, словно опустил в желудок расплавленный сгусток золота. Интересно... Перно, абсент? Кальвадос? Непонятно. Она сделала еще глоток. Сгусток вдруг стал распухать, неторопливо разъезжаясь по внутренним дорогам тела на горячих паровозах; наврное, вот так, подумала она, едва сдерживая внезапный смех, взрываются те добрые сверхновые, о которых когда-то рассказывал сыну сказки Журанков. Жу-ран-ков... Мой первый, подумала она. Сделала еще глоток и вдруг поняла сладко закружившейся головой: мой единственный. Творилось что-то несусветное; ей так захотелось под Журанкова, что внизу живота будто запольхало маленькое пламя. Точно зеркальце косметички наполнилось полуденным солн-

цем. Между ног сделалось открыто и влажно. Ничего еще не потеряно, агрессивно подумала она, я еще вполне, вон как на меня тарасились, когда я шла. Уеду к сыну и пойду к Журанкову в любовницы. Кобра в командировках то и дело. Костя... милый... Господи, как прижаться-то надо... На коленках поползу! И сын!!

Сквозь внезапно завесившую мир плотную дымку то ли грез, то ли слез она лишь в последний момент увидела, как к ней хозяйски подсаживается с рюмкой в одной руке и ополовиненным графинчиком в другой грузный мужчина в расстегнутой черной куртке, с непокрытой лохматой головой, с обвислыми щеками. Это еще что за явление, подумала она с негодованием. Это не Журанков! Или Журанков? Вроде нет. Не похож. Водкой пахнет.

— Ну что, ляля, — сипловато сказал мужик и подмигнул ей. — Не вставить ли нам за удачный день?

Мать честная, подумала она. Это чучело собралось меня, похоже, клеить! Да как уверенно! Неужели, подумала она, я выгляжу, как гулящая? Журанков! Ты где? В тубзик, что ли, уперся не вовремя? Что за жизнь паскудная — как муж понадобится, так он на горшке!

— Дружок, — примирительно начала она, но язык почему-то заплетался; она сама с трудом поняла, что сказала. Надо освежить мозги, подумала она и сделала несколько решительных глотков.

— Вот это по-нашенски, — одобрительно сказал мужик и вдогон дернул водки.

— Дружок, — старательно выговорила она и для полной внятности отрицательно помотала головой, — ты герой не моего романа.

— Ну, киса, — разочарованно сказал мужик, на-

ливая себе из графина, — не гони пену. Я уже все про тебя знаю. У брошенок всегда свербит.

Журанков, сволочь. Исчез как раз тогда, когда оказался хоть для чего-то нужен. Только что был здесь — и будто испарился. Ну, я же тебя догоню, подумала она свирепо. Внезапный порыв догнать Журанкова ее спас. Она вскочила, качнулась, ушиблась, с грохотом уронив стул и расплескав остатки коктейля из бокала. Мужик, непроизвольно отпрянув, откинулся на спинку своего стула и ошалело глядел снизу. Догоню и отхлещу по морде чем попало, сладострастно подумала она и на подламывающихся ногах неудержимым зигзагом ринулась наружу. Больно ударившись, налетела на чей-то столик, невнятно извинилась. Она понимала, что далеко Журанков уйти не мог, где-то он тут, скотина, рядом.

Под валившим волнами крупитчатым дождем она минут двадцать бессмысленно металась по скачущим, точно штормовая палуба, улицам. Потом возбуждение схлынуло, и она вдруг перестала понимать, что ищет. Пора было домой, только вот она понятия не имела, как туда попасть. Наверное, можно доехать автобусом. Это открытие ее поразило, на миг она даже замерла. Да, конечно. Автобус — это такая вещь, которая едет-едет, а в конце концов привозит домой. Она принялась озираться. Увидев в полусотне метров впереди, на углу, остановку, она даже засмеялась от счастья; она успела испугаться, что потерялась навсегда. Но теперь остановка мерцала в колышущейся темной хляби, как спасительный маяк. Уже вполне целенаправленно она направилась туда; ее почти не швыряло, лишь придавливало. Достигла. Смирненно села в кабинке, подобрав скрещенные ноги под сиденье, закурила и принялась ждать, когда подъедет.

Она вздрогнула. Она поняла, что лежит — одетая, но с закрытыми глазами. Тошнило. Глаз открывать не хотелось, жутко было это делать — она и с закрытыми глазами сразу знала, что она не дома, а непонятно где: пахло не так, то, на чем она лежала, было не таким, тишина была не такая. Она замерла, точно прикинувшееся мертвым насекомое — не ешьте меня, я невкусный труп. И некоторое время так лежала. Она не понимала, что произошло. Потом смутно вспомнила уютное маленькое кафе для народа, где она решила немного выпить в полете, чтобы лучше держали крылья. К горлу выехал едкий бурлящий ком. Она сдержалась.

Наконец она решила взглянуть на внешний мир.

Ничего особенного. В смысле, ничего страшного; явно не притон. Скромная и, похоже, холостая квартира. Барахла негусто, и вообще вид не слишком обжитой, словно тут только ночуют. Ощутимо отсутствие женской руки. Впрочем, подумала она, теперь равноправие; за некоторыми девками мужики прибирают, а те знай расшвыривают исподнее и сыплют пепел с сигарет где ни попадя. Но тут, кажется, не тот случай.

Потом ей будто из взорвавшейся канистры бабахнуло в лицо обжигающим жаром. Она поняла, что категорически не может вспомнить, было у нее с кем-нибудь что-то такое, или нет. По идее не должно, не шалава же она, даже если порскнула от супруга, как от крокодила; но ведь как-то она очутилась в чужой квартире, на чужом диване. Правда, одетая. Она, трусливо не откидывая чужого одеяла, неловко извиваясь, исследовала себя ладонями. Нет. Одежда помята, конечно, платье — тряпка тряпкой, это факт, но явно ничего не было напялено чужой рукой. Попутно она открыла, как заботливо ее укрыли — так она в

свое время Вовку укутывала уютненько, чтобы волк не пришел и не цапнул за коленку. Интересно... Чтобы уж знать наверняка, или, по крайней мере, с максимально возможной уверенностью, она, опасливо обмирая — а вдруг что-то все же окажется не надлежаще? — залезла рукой под платье и беззастенчиво ощупалась. Ей показалось очень важным удостовериться и впредь уже точно знать. Нет. Чисто, опрятно, скромно. Нигде не липнет. Похоже, действительно ничего не было. Но что же тогда было?

Дожила интеллигентная женщина, нечего сказать.

Ой, тошно, ой, кто-то был со мной — сарафан не так и в руке пятак...

Пятака, правда, нет. Сарафан более или менее так. И, похоже, никто со мной не был.

Но тошно все равно.

Кто-то снаружи осторожно приоткрыл дверь комнаты, и она увидела в щель внимательно взглянувшие на нее глаза.

Взгляды встретились.

Несколько мгновений ничего не менялось. Потом она натянула одеяло до подбородка. Тогда дверь открылась шире, и внутрь неловко двинулся вполне приличного и скромного вида мужчина лет тридцати пяти. Может, малость побольше. Лицо его было спокойно и несколько озабочено, и кого-то он ей напоминал, только совершенно не понять, кого.

— Доброе утро, — сказал он. Сердце у нее пустилось вскачь. Помедлив и не дождавшись ответа, он спросил: — Чем вы предпочитаете снимать утреннюю интоксикацию? Возможны ананасный сок, кофе, крепкий чай, крепкий сладкий чай с лимоном. Пива не предлагаю. Вы не похожи на женщину, кото-

рая похмеляется пивом. Но если специально попросите...

— Вы кто? — шепотом осведомилась она.

Он опять помедлил, а потом с улыбкой сказал:

— Я, царевна, твой спаситель. Твой... э-э.. случайный избавитель.

Стоило ему улыбнуться, она сообразила, на кого он похож. Ересь какая-то: на Юрия Гагарина. Просто-таки показательно открытое и простосердечное лицо. Только пошире первого космонавта в плечах и вообще покрупнее.

Так это что, смятенно подумала она — приключение?

Пить действительно хотелось нестерпимо. Стоило слово сказать про жидкость, она сразу ощутила, как пересохло во рту, в горле... Ну я и отчебучила, дошло до нее.

— Поподробнее можно? — неуверенно спросила она.

Случайный избавитель сделал шаг вперед — она напряглась под одеялом, невольно вжавшись в диван — и аккуратно присел на краешек.

— Можно, — ответил он и коротенько, без душе-раздирающих подробностей и неуместных сантиментов, рассказал про вчера. А в заключение опять ободряюще улыбнулся и добавил: — Вот что в жизни случается.

Она долго молчала.

— Ну и ну, — сказала она потом и попыталась улыбнуться ему в ответ. — Даже не знаю, что говорить. Как благодарить...

— Неоплатные долги не оплачиваются, — легко, почти шутливо отмел он ее неловкую попытку.

— Да, правда, — согласилась она. — Но...

— Давайте сначала совсем придем в себя, — ска-

зал он. — Я вскипятил чайник, заварил свеженького... Сок тоже есть, правда. Туалет вон там. Можете душ принять даже, если не застесняетесь...

— Застесняюсь, — честно призналась она.

— Ну, воля ваша, — ответил он. Глаза его весело искрились, но вел он себя безупречно. Ну, обнаружилась похмельная баба в кровати с утра — делов-то. Надо подлечить чаем, показать, где туалет. Он встал. — Оставляю вас на момент откидывания одеяла в одиночестве... На всякий случай. А то вдруг, если я не уйду, вы так и будете лежать и стесняться. Сейчас почти десять утра, вы не хотите позвонить домой? Там, наверное, с ума сходят...

— Не хочу, — резко ответила она.

— Ну, опять-таки воля ваша... Все, ушел.

И он действительно ушел и притворил за собою дверь.

Через двадцать минут она уже настолько освоилась, что решила-таки воспользоваться ванной и испытала очередной шок: у спасителя даже геля для душа не оказалось. Так он что, вообще не моется? Или еще круче — моется, но мылом? Она попыталась вспомнить, когда в последний раз видела человека, который моется мылом. Не вспомнила. Однако... Прямо спартанец какой-то.

Впервые в жизни она пальцем почистила зубы; зубная паста у спартанца, слава богу, нашлась, но не совать же в рот чужую щетку. Хотя на общем фоне подобная щепетильность выглядела, прямо скажем, анекдотичной, и, выдавливая белую колбаску на подушечку указательного пальца, она сама себе напомнила незабвенного Швейка: конечно, если господин лейтенант прикажет мне съесть ложку его кала — я

сьем, только чтобы в нем не попался волос, а то я страшно брезглив...

Долго стоя под хлесткими горячими струями, с наслаждением смывая мерзость неправильной свободы, которую она, точно ведро с нечистотами, сама обрушила на себя вчера, она окончательно оживала и лихорадочно размышляла. Жизнь пошла вразнос, и то, что сейчас происходило, лишь подчеркивало необратимость катастрофы. Или не катастрофы? Рождение младенцу тоже кажется катастрофой... Да в каком-то смысле ею и является — но не только и не столько ею; и всю жизнь потом относиться к собственному переходу из маминой утробы в мир, как к непоправимому несчастью, это, пожалуй, не самая умная позиция.

А еще получалось, что не перевелись на свете рыцари.

Одно это открытие стоило многого.

Потом она жадно пила сок. Потом она медленно, уже с осмысленным наслаждением пила крепкий ароматный чай. Тошнота время от времени еще виляла нечистым лохматым хвостом в груди и в горле, но мало-помалу унималась, оседала, оставляя ее наедине с вкусным чаем и симпатичным спасителем.

— Вас хоть как зовут-то, молодой человек? — спросила она после третьей чашки, решив, что физиология уже получила свое и пора подумать о душе.

— А вы уже созрели для столь отвлеченных тем, царевна? — улыбнулся он.

— Да.

— Я Леонид. А вы?

— Я? — На миг ее изумило то, что ей ведь тоже стоило бы представиться, хоть в порядке ответной любезности. Однако назвать свое имя — это будет уже совершенно иной уровень отношений, так она

почувствовала; оставаясь безымянной, она как бы еще не вся была здесь, в новом мире, только что из душа и вдвоем с незнакомым мужчиной моложе себя.

— Хотите остаться незнакомкой? Пожалуйста, я не настаиваю...

Это он зря сказал. Это было даже как-то обидно.

— Я — Катя, — сказала она решительно.

— Вот так вот сразу просто Катя?

— Вот так вот сразу просто Катя.

— Два капитана, — задумчиво сказал он, и она лишь после некоторого ступора сообразила, что он имел в виду и куда его завели ассоциации. И поразились, что такой молодой здоровенный самец помнит эти героические совдеповские сопли с сахаром. Усмехнулась.

— Знаешь ли ты, Григорьев, что такое неправда? — спросила она противным голосом и, как Гриценко, занудно подняла назидательный палец. — Неправда — это ложь.

— Катя, — мягко сказал он, — это не ваша роль.

— Сейчас моя, — возразила она. — Потому что я очень хочу услышать правду... Леня. Я ни при каких вариантах не буду на вас обижаться, просто мне... важно. Мы... целовались?

Он спокойно и серьезно посмотрел ей в глаза и ответил:

— Пока нет.

Она принужденно рассмеялась, почему-то сразу поверив и попытавшись за сарказмом спрятать свою до уродливости чрезмерную благодарность.

— О! Вы что же, рассчитываете на продолжение?

Он покраснел.

— Нет. Простите. Глупо пошутил. Знаете, — добавил он, — я ведь тоже не очень хорошо понимаю, как

себя сейчас вести. Трудно найти совсем уж правильный тон. Если вы думаете, что у меня такие приключения происходят еженедельно, то вынужден вас разочаровать.

У нее словно теплое масло растеклось по душе.

— Спасибо, Леня, — все-таки сказала она.

— Да перестаньте. Слушайте, Катя, неужели вы совсем ничего не помните? Давайте попробуем найти, где и кто вас так отоварил. Я ему глаз на пятку навяну, а? Руки чешутся, честно. Куда менты смотрят...

— Менты демократического Ануса охраняют от черносотенцев, — криво усмехнулась она. — Это куда важнее... Нет, Леня, ничего не помню. Где, что... Полный аут. Вы знаете, я ведь в жизни вообще никогда не бывала пьяная. И никогда не хотела быть пьяная. Люблю вкус хорошего вина, люблю, когда в родной доброй компании становится весело и легко, но... Не больше. А тут такой удар по организму...

— Это не только алкоголь, — уверенно ответил он. — Поверьте, Катя... Эх. Жаль, что не помните. Душа требует продолжения банкета...

— Какого банкета?

— Мероприятий по спасению царевны Лебедь.

— У вас что, своих дел нет?

— Есть, — просто сказал он. — Но это важнее. Не люблю крыс. То есть, пока они просто крысы и бегают по помойкам в темноте — ладно. Божьи твари, так сказать, и не нам судить, зачем он их сотворил. Но вот когда они прикидываются людьми...

— Нет, — сказала она грустно, — ничего не помню. Коктейль. Рожа какая-то... Противная, бухая... Клеил меня, да. А в целом — аут. Слушайте, Леня, вы курите? Давайте покурим.

— Вообще-то... Знаете, Катя, я тут ночью у вас из пачки три сигареты стибрил. Ничего?

Она облегченно засмеялась. Она уже чувствовала себя здесь, как дома. То есть, куда там! Если за дом взять апартаменты Бабцева в последние, скажем, полгода — здесь было куда лучше, чем дома.

— Да пожалуйста, — сказала она. — Хоть какая-то вам от меня польза.

Они закурили — как водится, на кухне. От первой затяжки опять замутило, она даже успела пожалеть о том, что предложила испортить вкус доброго чая вкусом поганого дыма; но позыв был короток, и Леня, наверное, его даже не заметил. Слава богу.

— А знаете, князь вы мой прекрасный, — решительно сказала она, когда тошнота уже окончательно отпустила и сделалось, наоборот, окончательно хорошо. — У вас есть шанс продолжить банкет.

— Я весь внимание, — ответил он, сквозь медленно колышущиеся полупрозрачные перепонки дыма глядя ей в глаза спокойно и с выжидательным вниманием. Внимание грело. Она помедлила, а потом будто бросилась наконец в ту наполненную ветром и солнцем гудящую бездну свободы, которая уже открывалась ей вчера и которую она, дура, сгоряча подменила выгребной ямой.

— Я ушла от мужа. Резко, наотмашь. Вы не думайте, Леня, я не сука, но... Край настал. Потом расскажу, если захотите. В театре просто встала и ушла навсегда. У меня ни документов, ни денег, ни жилья. В Петербурге есть квартирка, может, первое время там смогу перекантоваться. Прийти в себя. Но для этого надо доехать до... сына...

Она осеклась. Про Бабцева она рассказала бы ему смело, но еще и про Журанкова сразу... Нет, про Жу-

ранкова — нет. Вовкин отец не заслужил небрежного упоминания невзначай.

— Сын сейчас... Наверное, вы не слышали, о нем мало кто слышал, есть такой странный частный наукоград, Поддень в просторечии, отсюда девять часов в поезде. Сын сейчас там, и мне надо туда добраться. Объяснить, что произошло, попросить у него ключи... Для этого нужно взять хотя бы документы и деньги. Для этого надо вернуться в дом мужа хотя бы на час. Я... боюсь. Он меня остановит. Уговорит, запутает, заболтает... У меня может не хватить сил.

— А может быть, — тихо спросил он, — это и к лучшему? Подумать, спокойно разобрать...

— Нет! — почти выкрикнула она, едва поняв, к чему он клонит.

Несколько секунд ходячие стебли дыма переливались и переплетались в тишине, а из-за них на нее смотрели спокойные выжидательные глаза.

— Хорошо, — негромко проговорил Леня. — Простите. Что я, в самом деле... Продолжайте, царевна.

Она глубоко вздохнула. Запросто, на втором часу знакомства просить о таком... И вообще — где тут то, что называется знакомством?

Просто от этого парня пахло человеком, который не может подвести и предать. Оказаться слабаком. Отговориться важными делами. Спрятаться за то, что ему надо спасти страну или достать с неба звезды. Это был очень странный запах. Она чувствовала его впервые в жизни.

— Если бы вы поехали со мной, я бы сказала, что вы... мой новый друг. Тогда уж все было бы отрезано. Не о чем стало бы болтать и... размазывать. От вас ничего не потребуется. Драться он не полезет. Говорить

буду только я. Вам нужно просто быть рядом. Ну, с таким видом, будто... ну... будто мы уже давно вместе.

Она умолкла. Он смотрел на нее так, будто впервые увидел. Наверное, он все-таки решил, что она — сука.

И слегка обалдел от такого открытия.

Молча он загасил окурок в блюдце. Встал. Подошел к плите, на которой стоял кофейник. Заглянул внутрь.

— Кофе не хотите?

— Нет, — тихо сказала она. — Слишком много тонизирующего, чай уже был крепкий. После вчерашнего — сердце выскочит.

— Это ни к чему, — согласился он и налил себе остывшего кофе прямо в чашку, где только что был чай. Он действовал медленно и с какой-то подчеркнутой неторопливой аккуратностью. Она смотрела ему в широкую спину и умоляла: согласись, а? Тебе же это ничего не стоит! Вон ты какой... Он вернулся к столу, обеими руками поднес чашку ко рту, сделал несколько глотков. Бурда, наверное, невольно подумала она. Холодный, несладкий... Впрочем, одернула она себя, что я о нем знаю? Может, он всегда так изощренно пьет.

— Бывают же совпадения... — пробормотал он, глядя мимо нее куда-то в пол. Она молчала и ждала. Прикурила вторую сигарету от первой.

Наконец он вскинул на нее глаза.

— Вы будете смеяться, Катя, — хриловато сказал он, — но у нас с вами сходные проблемы. И психологически, — он криво усмехнулся, — и даже географически, — наконец он откашлялся, прочистил горло и заговорил решительнее. — Я знаю, что такое наукоград Полдень. Там у меня... былая любовь. Не скажу,

что я так до сих пор и сохну, но... знаете, Катя, я человек простой, и у меня гордость. Я бы хотел туда приехать по случаю, и чтобы она видела, какая у меня теперь прекрасная, замечательная, красивая женщина. Вы.

У нее приоткрылся рот.

— Вот такой расклад, — сказал он. — Я буду вашим лихим бойфрендом тут, а вы — моей доброй подругой там, когда мы как бы вместе приедем к вашему сыну. Настолько доброй, настолько уже устойчивой, что, когда вам понадобится к сыну, оказалось совершенно нормально, что мы отправились вместе. Уговор?

Крыша едет, подумала она.

Настал ее черед долго молчать.

— Леня, это невыносимо... — панически пролепетала она и сразу вскинулась, испугавшись, что обидела его; ей показалось, ее слова прозвучали так, будто она безоговорочно, барски, хамски сочла его недостойным себя. — Ох, нет, я не то хотела сказать... Мы же на самом деле не... не... Понимаете, супругу можно соврать. Сыну — я не смогу.

Он чуть подался к ней. Лицо его стало отрешенным, даже жестоким, начисто утратив обаяние и свет. Она облизнула пересохшие губы и вдруг поняла, что он сейчас ей в ответ скажет. Он скажет: «За чем же дело стало?» — и начнет ее раздевать. И после того, что он сделал для нее ночью, и после того, как он вел себя ночью, и после того, о чем она имела наглость и подлость его попросить — попросить мужчину, который ее спас и сберег, стать ей еще и чем-то вроде презерватива перед Бабцевым, — она не сможет ему теперь отказать ни в чем. Заслонять пуговицы от его пальцев после того, как предложила ему изобразить ее любовника перед жалким, кончающим

на геморрой пустобрехом — это даже не пародия, не фарс, это — двуликий Анус.

К горлу выкатилась уже унявшаяся было тошнота.

Он откинулся на спинку стула и неловко улыбнулся.

— Простите, царевна, — сказал он. — Опять неловко пошутил. Просто, знаете, когда о таком просят... хочется хоть немножко сбить с человека спесь. Не робейте, я вам помогу.

Она, боясь поверить счастью, глубоко вздохнула. Тошноты как не бывало. Она, не успевая ни о чем подумать, ничего прикинуть, ничего рассчитать, отложила дымную сигарету, встала, сделала три шага по тесной кухоньке и зашла ему за спину. Он сидел неподвижно и даже не следил за ней взглядом, не поворачивался вслед. Она положила обе ладони ему на голову и отчетливо ощутила, как он вздрогнул и глубоко втянул воздух носом. Он меня очень хочет, поняла она. От умиления и нежности у нее стало горячо в уголках глаз.

— Мы поедем вместе, — негромко произнесла она. — Вы мой старый друг. У меня после разрыва с мужем был сердечный приступ, прямо на улице. Вы меня спасли. И побоялись отпускать в долгий путь одну. А что подумает о нас ваша зазноба — это ее дело. Так пойдет?

После долгой паузы он лишь молча кивнул. Ее ладони опустились и поднялись вместе с его головой. Она чуть стиснула пальцы. У него были мягкие волосы. Как у Журанкова. И не как у Бабцева. Это может быть мой новый мужчина, подумала она немного удивленно и уже почти предвкушая.

Молодой...

Небрежно отброшенная прежняя жизнь скомканным чулком отлетела в угол. Чулок порвался — так

зачем его беречь. Наконец-то. Продолжение прежней жизни было бы смертью.

А что я скажу Вовке, подумала она. Ему я скажу, что...

— Прости, — сказала она.

— За что, мама? — тихо спросил сын.

— За то, что так надолго увела тебя к Бабцеву.

Сын смотрел на нее спокойно и выжидательно, как Леня тогда на кухне, в их первое сумасшедшее утро.

— Знаешь, мам, — проговорил он задумчиво. — Он, в сущности, неплохой. Это же страшное дело — так хотеть хорошего и так навыворот его себе представлять. Мне его по ходу жалко даже, он ведь совсем один остался. А для меня... Он мне много дал, на самом деле, со всей своей мутотой. Знаешь... Типа прививки получилось. Этим я уж теперь точно не заболею.

— Знаешь, — призналась она, поразившись, до чего точно Вовка выразил ее чувства, — для меня тоже.

Понимаю, горько подумал он. Но меня успели привить с двух сторон, в обе руки. Он не хотел об этом вслух, но на миг не совладал с собой.

— Жаль только, что... — начал он и не договорил.

Она поняла.

Как тут было не понять.

Жаль от одной дури шарахнуть так беспутно, что закинуло в другую. Жаль, что погиб хороший человек, убитый словно бы не им, а марионеткой в чужих подлых руках — но ведь это он сам позволил сделать себя марионеткой; жаль, жаль, жаль. Жаль от унижения, от растерянности, позора, бегства. Жаль, что чувство вины изувечило душу и надолго ли, нет ли, приковало ее, точно жертву авткатастрофы, к инвалидному креслу. Жаль, жаль...

Но прошлого не подправишь. Надо было жить дальше и разбираться с тем, что есть.

Он разлюбил детективы.

Странно вспомнить, что еще каких-то полгода, скажем, назад, не говоря уж о временах более отдаленных, ему отлично помогали отдохнуть и отвлечься от мелко лезущих в глаза и в уши сиюминутных дел, так похожих на писклявый и кусливый гнус, иронично-помпезный юмор Флеминга, душераздирающие интриги Ле Карре, виртуозно свитые стальные паутины Клэнси, обстоятельные до занудности, но живенько усыпанные трупами лабиринты Ладлэма... С какого-то момента они перестали потешать и стали тревожить; он не сразу это осознал, и поначалу только удивлялся, отчего при перелистывании любимых книг в душе воцаряется не мир, но смятение. А потом понял: именно в зубодробильных детективах пусть и мимоходом, на третьестепенных отроствах сюжета, но устрашающе неприкрыто явлена судьба малых, по случаю завербованных агентов, раньше или позже оказывающихся для самой же вербующей стороны расходным материалом, которым так легко жертвовать ради победы главного героя.

Бессмысленно было уговаривать себя, что это, мол, литература, и в жизни все иначе, что читатель, мол, и читать не станет, если вспомогательные мертвяки, точно высохшие насекомые, не будут осыпаться с каждой страницы. Мозг капал сам себе эти успокоительные капли, а сосало-то под ложечкой.

Он перестал такое читать.

Зато, как бросивший курить к чужой сигарете, как запойный к рюмке, он стал с пугливым вожделем тянуться ко всякого рода мемуарной и документальной литературе. Здесь рыцари плаща и кинжала оказывались пусть уж не гуманными, — с какой ста-

ти им быть гуманистами, не смешите — но, по крайней мере, в ответе за тех, кого приручили.

Конечно, в меру. Так, чтобы не мешало делу.

Странная мания началась с произведшей жутковатое, но загадочным образом живительное впечатление книжки знаменитого Боба Вудворта — того самого, что на пару с коллегой Бернштейном еще в молодости журналистским своим расследованием породил Уотергейтский скандал и ни много ни мало вынудил позорно подать в отставку самого президента Соединенных Штатов. Некоторые страницы этой книги, посвященной ЦРУ восьмидесятых годов, Бабцев перечитывал по несколько раз, точно привороженный.

«Когда поступало сообщение о каком-то молодом перспективном политическом деятеле или многообещающем министре, Кейси писал на полях: «Можем ли мы его завербовать» или «Вербуйте», и ставил знак «!» — «очень важно». Китай и СССР были «трудными объектами». Россия более тяжелый объект, мало поддающийся проникновению. Оперативному сотруднику, работающему под прикрытием посольства США, годами приходится развивать отношения с каким-то чиновником или военным офицером до того, как сделать ему вербовочное предложение. Согласно принятым правилам, сотрудник-разработчик не должен делать вербовочное предложение, чтобы не расшифровать свое прикрытие. В этом случае он знакомит кандидата на вербовку со своим «другом», сотрудником ЦРУ. Если вербовочное предложение отвергнуто, первый оперативный работник сможет все отрицать»¹.

М-да, думал Бабцев, задумчиво кусая губу, и принимался читать сызнова со слов «годами приходит-

¹ Вудворт Б. Признание шефа разведки (*Woodward B. Veil. The Secret Wars of CIA. 1981 — 1987*). М., 1990. С. 280 — 283.

ся». Дойдя до слова «друг», он поднимал голову и некоторое время смотрел в потолок, вспоминая кульбиты собственной жизни. Качал головой: за четверть века методы не слишком-то изменились... Конечно, Ле Карре или Клэнси придумали бы что-нибудь более изысканное. Если в жизни все едят суп ложкой, литературе, в конце концов, это не указ: чтобы развлечь читателя и упредить обвинения в банальности и в бедности фантазии, автор не преминет заставить кого-то из наиболее хитроумных агентов заковыристо похлепать вилкой.

Однако на сервировку реальных столов, тех, за которыми утоляют реальный голод, это вряд ли повлияет...

«Советские люди стали совершать больше поездок за рубеж, и там с ними легче устанавливать контакты. Кейси был уверен, что среди них есть люди, питающие отвращение к своей системе и правительству. Он считал, что предложение работать на Соединенные Штаты должно восприниматься ими как признак особой благосклонности»¹.

Какая прелесть, думал Бабцев, со вкусом перечитывая последние слова. Иронично и самодовольно прислушивался к себе: а ведь действительно лестно, черт возьми!

Пай-мальчики, зубрилки, острил он сам с собой, заслужившие не просто высший балл у истории, пятерку баксов, но и благосклонную улыбку завуча в придачу. Как это говаривал у Шварца Ланцелот? Всех учили, но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Знаем мы, помним, хоть и были еще пацанвой, кто

¹ Вудворт Б. Признание шефа разведки. С. 283.

часто ездил за рубеж в первой половине восьмидесятых; никто не забыт, ничто не забыто! Интересно, много ли таких обнадуженных и обласканных высочайшей благосклонностью через пять-шесть лет перестройки оказалось владыками искусства, министрами, членами Верховного Совета? Никогда уже не узнаем.

А забавно: эти первые ученики ведь, наверное, как и я совсем недавно, были искренне уверены, что питают отвращение исключительно к системе и правительству; а вот стране, мол, желают только добра. Но когда страна не сумела их слушаться...

«Конгрессмен Уилсон фактически единолично выбил даже не тридцать, а сорок миллионов долларов для афганского сопротивления. Вместе с повстанцами он побывал на территории Афганистана. И считал, что это своевременная и справедливая война. «Тридцать миллионов долларов — это же мелочь», — заявлял он. Он хотел, чтобы было убито как можно больше русских. «Во Вьетнаме мы потеряли пятьдесят восемь тысяч ребят, поэтому русские еще должны нам»¹.

Вот тут что правда, то правда, угрюмо думал Бабцев, откладывая книгу и заваривая себе кофе. Это как Каинова печать. Мы столько наворотили, что действительно должны всем. И ничего не попишешь. Пока долги не отданы, мы не сможем встать с нормальным человеческим миром вровень и говорить с ним на его языке.

Все преступления и все катастрофы двадцатого века либо прямо совершены нами, либо нами спровоцированы. Изворачиваться десятилетиями, как угорь на сковороде, и громоздить ложь на ложь, подтасов-

¹ Вудворт Б. Признание шефа разведки. С. 294.

ку на подтасовку — какой же поганью надо быть? Что проку талдычить, будто в четырнадцатом году Россия никому не объявляла войны! Если бы не русское непокорство, разве локальная миротворческая операция Австрии на Балканах переросла бы в мировую бойню? И что толку напоминать, будто и коммунизм, и нацизм возникли в Европе и порождены европейской культурой? Если бы русские фанатики, все эти Ленины, Троцкие, Свердловы, Дзержинские, Урицкие, Джугашвили, Кагановичи и Лацисы не ринулись осуществлять коммунизм на деле, он так и остался бы мирным экономическим учением, а вскоре оказался бы просто забыт. И если бы не отчаянная необходимость хоть как-то противостоять тяготению европейского плебса к большевизму, разве кто-то допустил бы Гитлера к власти? А значит, и «хрустальная ночь», и Аушвиц-Биркенау, не говоря уж о самой войне — это тоже, в конечном счете, русская вина! И если бы пьяный от крови Сталин не захватил Берлин раньше союзников, разве пришлось бы американцам, скрепя сердце, решиться на атомные бомбардировки, которые единственно могли показать усатому, кто на самом деле в доме хозяин? А теперь долбим бессовестно: ах, какие американцы жестокие...

Может, и есть народы жестокосерднее нас — но нет народа подлей.

Странно. Почему я до сих пор думаю: «мы»?

Вот ведь въелось... Какое, в сущности, я имею отношение к этим долгам? Ни малейшего. Если я их признаю — я тем самым от них освобождаюсь. И пусть никто не пытается их на меня повесить!

«Он сказал, что наша цель — нанести сандинистам поражение. В одной из последующих речей Рейган добавил: «Оказание помощи «контрас» соответст-

ует морали отцов-основателей Соединенных Штатов». Один из присутствовавших спросил: «Какая разница между «контрас» и палестинцами?» Кейси сказал: «Контрас» имеют свою родину и пытаются отвоевать ее. А палестинцы родины не имеют»¹.

И снова Бабцев надолго откладывал книгу и, откинувшись на спинку кресла, поднимал голову, словно бы разглядывая потолок, а на самом деле всматриваясь в туманно пульсирующие где-то в небе кровеносные сосуды судьбы. Фраза страшенькая, думал он, но ведь честная. Это на самом деле так. Более того, размышлял он, наверное, вообще любой, кто пытается идти против хода времен, утрачивает право на все, даже на жизнь, а на собственность и территорию — в первую очередь. Отстал от жизни — это ведь не фигура речи. Отстал от жизни — значит, умер. Ах, это твой дом? Ах, Сибирь говорит по-русски? Надо же! А кто тебе виноват, что ты живешь в своем доме не в ногу со временем? Ты безнадежно отстал от своего дома, не кто-то отнял у тебя твой дом, а дом сам обогнал тебя и прибил к тем, кто сумел выровнять скорости!

«Командующий атлантическим флотом был встречен действиями советских подводных лодок, которые передвигались так, словно читали сообщения американских кораблей. Был сделан вывод об утечке информации. Вопрос был снят после ареста Уокера и Уитворта. Наводку ФБР на Уокера дала его жена»².

Вот этой фразы почти в самом конце книги ему лучше было бы не видеть. Отношения с женой и без того тревожили его все больше. Потому что их, этих отношений, становилось все меньше.

¹ Вудворт Б. Признание шефа разведки. С. 376 — 377.

² Там же. С. 451.

Брак их явно заходил в тупик.

И при этом Катерина впервые, пожалуй, с самого начала их совместной жизни — да что там совместной жизни! впервые с момента знакомства! — принялась с какой-то неприятной дотошностью интересоваться: у тебя, по-моему, мало публикаций, что случилось? а почему ты меньше пишешь? тебя что-то гнетет? расскажи, поделись, я утешу... Теперь вдруг ей приспичило являть заботу! Приходилось делать вид, что все, как прежде, объясняться, отшучиваться, изворачиваться... Это нервировало. А тут — будто предупреждение. Мене, мене, текед, упарсин¹. Наводку на Уокера дала его жена.

Как презрительно издевались мы в свое время над Любовью Яровой и ее автором — вот, мол, искалеченное порождение большевистского фанатизма! Никаких иных обвинений сей кровавой идеологии и не надо, достаточно одного лишь этого свидетельства, воспевающего злобное уродство души как образец для подражания... Культ стукачества! Разумеется, на стукачах же строй стоит... То ли дело мы! У нас, конечно, на первом месте человеческие отношения: любовь, уважение, бережность к людям вне зависимости от их идейных принципов и политических пристрастий, как то и полагается при демократии...

Ха. Наводку на Уокера дала его жена. Демократия в действии.

Никогда Катерина не была Бабцеву супругой-секретарем. Ни разу в жизни не попросил он ее хотя бы

¹ Дан.5:25. Далее в тексте: «Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; текед — ты взвешен на весах и найден очень легким; перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан.5:26 — 28).

о пустяке: вычитать, скажем, файл рукописи. Ей и самой-то это никогда не требовалось, ей вполне хватало общих разглагольствований за чаем и того, что деньги в доме не переводятся. А вот именно теперь, понимаете ли, она решила, что у него творческий кризис и надо как-то помочь или хотя бы выказать участие!

К счастью, такое настроение продлилось у нее не долго. Похоже, это был последний брачный спазм накануне осознания распада. У женщин так бывает: на короткий миг перед тем, как вдруг обнаружить, что привязанность пересохла, будто иссякший родник, они умножением суетной внешней заботы пытаются самим себе доказать, что все у них хорошо, и семья едина и крепка. Отвратительное свойство. Наверное, так они, подсознательно уже слыша завтрашний хруст разлома, на инстинкте пытаются снять ответственность с себя и повесить будущую вину на того, кто внутренне уже ими предан; я ведь забочусь, я стараюсь, я все для него делаю — тогда какого еще рожна ему, кобелю, надо?

Жизнь полна лицемерия. Осознанного и не.

Странно: в последнее время он отнюдь не ощущал, будто ему приходится врать, притворяться и криводушничать больше, чем прежде. Совсем нет. Получается, и раньше каждый прожитый день сдабривался лошадиными дозами лицедейства. И быт, и работа сидят на этой игле. Наверное, думал он, все мы шпионы, на парашютах сброшенные в жизнь. Поэтому даже единомышленники никогда и ни о чем не могут договориться, разве что очень ненадолго и не о важном; ведь каждый хочет отличиться перед Центром. Каждый хочет доказать генералу именно свою незаменимость. Людей никогда не построить в ко-

лонну — они не солдаты, они агенты. Вопрос лишь в том, кто откуда заслан.

Себя он с малолетства ощущал посланцем будущего.

Так и случилось.

Это опасная, но почетная и благородная функция. А вот оказаться агентом прошлого хоть и не хлопотно, зато унизительно и недостойно.

И совсем страшно, вконец постыдно быть засланным в настоящее не просто из прошлого, но — из чужого, чуждого прошлого. Так он видел, например, здешних мусульман. Этих дикарей готовили к заброске даже не в Московии, ленивой, пьяной и вшивой, со всех ног бросающейся давить малейший росток творчества и свободы. Этих тренировали и снабжали пароллями в задыхающихся от чада факелов зинданах Тамерлана, в тупо брякающих окровавленными цепями азиатских теснинах, не давших миру вообще ничего, кроме курганов из черепов да тяжелых золотых подносов, полных вырванными из глазниц человеческими глазами, да возведенного в ранг похвальной ловкости примитивного, не оплодотворенного никаким высоким смыслом, но абсолютно бессовестного коварства.

Нелепее этого может быть лишь одно: стать агентом чужого будущего. От них бед еще больше.

Однажды они разговорились с Журанковым. Это было, кажется, во второй приезд Бабцева в Полдень — может, и в третий, но скорее во второй, июльский. Теперь у Бабцева был прекрасный повод там бывать; никто не имел права мешать ему видеться с парнем, который более десяти лет был ему сыном. Тогда, поначалу, он ощущал это дутое отцовство лишь как удобный, нарочно не придумаешь, предлог к про-

никновению; Журанков явно ощущал себя виноватым перед ним, Бабцевым, в том, что волею судеб разлучил Вовку с отчимом, и с почти жертвенной готовностью способствовал их общению. Попытки продолжать контакт с пасынком, который оставался для Бабцева за семью печатями, даже пока они жили под одной крышей, и он, Вовка, ел его, Бабцева, хлеб, теперь и вовсе стали, по большому-то счету, бессмысленными — и вдобавок тягостными, выматывающими. Но приходилось крутить педали. Стоило приблизиться к Вовке, Журанков оказывался настолько рядом, что старый друг Кармаданов, изначальная зацепка в Полудне, вскоре был отброшен, точно отработавшая ступень благополучно выведенной на опорную орбиту ракеты, и лишь сетовал, что Бабцев к нему во время приездов в Полдень так редко и так ненадолго заходит. Ничего не было естественнее, чем, с натугой поболтав с Вовкой о планах и о смысле жизни, о фильмах и о спорте, зацепиться потом языками с его отцом и задушевно просидеть два, три часа, забыв о времени и обсуждая характер общего сына, его хорошие и дурные стороны, его увлечения... Константин, вы, конечно — отец, и нелепо мне вам что-то советовать, но все же мы десяток лет прожили с парнем бок о бок, и я заметил, что... Ну, хорошо, Костя так Костя. Тогда уж и я для вас — Валя, а не Валентин, договорились? Замечательный чай вы завариваете! Ах, это Наташа расстаралась? Наташенька, мой вам уважение и уважуха... Так вот, я хотел сказать, что Вовка...

После памятной беседы с Кармадановым на кухне под коньячок, когда Семен открыл другу глаза на то, с какой шальной щедростью кинула Бабцеву карты судьба, он так растерялся, что назавтра не знал, как

говорить с Журанковым. Встречи было не избежать, потому что надо же было хоть для видимости, на пару с Катериной, пообщаться с Вовкой; Бабцев до сих пор подозревал, что от неожиданности несколько перегнул палку и с места в карьер принялся выстукивать ту связанную с космосом тему, на которую Журанков срезонировал бы звонче всего. Он попробовал и вполне приземленные вещи: новые двигатели, разработка атомных силовых установок, челноки... Памятуя, что Журанков все же не столько ракетчик по конкретному железу, сколько изначально-то физик-теоретик, Бабцев, чтобы уж охватить всю картину, опробовал для очистки совести и полную галиматью, с юности памятную по фантастике и научпопу: черные дыры, кротовые норы, они же червоточины... Уяснил он в тот раз только одно: Журанков говорит охотно и увлеченно, но равно охотно и увлеченно обо всем, а, стало быть, именно того, чем он занят сам, нащупать пока не удалось. Не хватило то ли эрудиции, то ли подготовки, то ли — и такой вариант был возможен, хотя и скучен — реально-то Журанков и вообще ничем сейчас не занимался.

Во всяком случае, нахрапом, кавалерийским наскоком взять не получилось. И слава богу, что наивный Журанков счел любопытство Бабцева вполне естественным — какой же нормальный человек не интересуется черными дырами! — и не замкнулся, и не заподозрил ничего. Пожалуй, это неосторожное выпытывание даже сыграло на Бабцева. Журанков счел его единомышленником по части детской увлеченности необходимостью осваивать космос; у них завязались отношения.

Но, готовясь разрабатывать физика всерьез, в первый настоящий, уже обстоятельный приезд Баб-

цев решительно не трогал никаких тем, кроме родительско-воспитательских. Нельзя было торопиться. Процесс пошел — так и пусть его идет максимально естественно. Соскучившаяся по сыну Катерина, сама того не сознавая, плотно обволакивала Вовку страстным хлопотаньем, перекрывая к нему любые доступы и подходы; Бабцеву лишь оставалось делать вид, будто он тактично, невзыскательно и по-доброму отдает матери все права на общение, и тогда уже сам Журанков полагал себя обязанным как-то развлекать гостя, поскольку тот, вместе с женой приехав повидаться с ребенком, оказался от него отрезан понятным и простительным, но все же несколько чрезмерным материнским эгоизмом.

На следующий же раз Бабцев решил, что в разговоре о том, о сем уже можно снова начать ненароком касаться и тем, связанных не напрямую с конкретным ребенком, но, скажем, с детьми и детством в целом, с тем, куда рулит подрастающее поколение. Тему увлечений и жизненных целей не так сложно было бы по ходу разговора заточить уже конкретно под космос — а тут лиха беда начало...

Они сидели за крайним столиком в открытом кафе на краю городка, на берегу неширокой речушки, по ту сторону которой до самого горизонта светились зеленью слегка всхолмленные луга. Полная скользящих розовых бликов речка петляла причудливо и напевно; дикий кустарник, которым плотно поросли берега, подчеркивал первозданный, точно в древней церкви, уют природы и ее врожденную русскость. Расцвет национальной культуры даром не проходит, с иронией вспомнил любимую фразу Бабцев. В данном случае это оказалось особенно наглядно: по-рус-

ски неокультуренные и с виду полные поэзии кущи исторгали волны и тучи комаров.

Заждавшаяся Левитана речка и называлась-то с восхитительной посконностью — Большая Заклюка; когда Бабцев услышал это имя, то, внутренне хихикнув, подумал, что оно как нельзя лучше подошло бы и всей стране. Только представить, как гениально звучало бы: представитель Большой Заклюки в Совете Безопасности ООН. Экономический рост в Большой Заклюке в первом полугодии составил... Многонациональный народ Большой Заклюки в едином порыве...

Мужчины уже настолько сдружились, что дули не чай и не кофе, а пиво. Этак по-свойски, ровно приятели.

Вообще Журанков очень легко, даже охотно шел на контакт. Будто у него была прорва свободного времени. Наверное, он до сих пор ощущал себя по совести обязанным Бабцеву. Эта совесть оказалась как нельзя кстати.

Но могли быть и совсем иные мотивы, их Бабцев тоже пытался учесть. Ему думалось, что Журанков вполне осознает свое одиночество и отнюдь не рад ему. Конечно, у него недавно завелась молодая подруга, а еще и сын привалил — но такое не компенсирует отсутствия мужской дружбы; друзей же у Журанкова Бабцев не наблюдал. Преданная душой и телом женщина, которая обожает тебя любого, и мужчина, который уважает тебя за твое дело и твой успех в этом деле, — совершенно разные опоры. Наверное, преданная женщина нужнее. Однако некая пустота, некая темная полоса в спектре самоутверждений — разнородных, но одинаково необходимых, чтобы чувствовать себя полноценным, — у Журанкова, похоже, была. Заполнить эту полосу спектра мог лишь

мужчина-друг, мужчина-единомышленник. Это тоже было очень удачно.

— Знаете, Костя, вы ведь заметили, наверное, как в последние года полтора волнами прокатываются разговоры о грядущей экспедиции на Марс. Прокатится — и тишина. Вдруг опять прокатится — и опять тишина. Я помню, мы мальчишками шалели от таких волн... За ними, как ни крути, стояло реальное дело. С удачами и провалами, но реальное. А теперь уже никого не трогает, по-моему. То летим, то не летим, то надо, то не надо... Откуда, как вы думаете, такая непоследовательность? Что она значит? Вернее, так: она значит что-нибудь, или это просто очередная дурь?

— Честно говоря, не знаю, — помедлив, ответил Журанков. — Реальной информации у меня не больше, чем у любого обывателя, но я еще и гадать попусту не хочу. Я же ученый, Валя.

Безупречно замотировал отказ отвечать, с некоторым даже уважением к непроизвольно виртуозному маневру подумал Бабцев. Но значить это может как то, что он действительно ничего не знает, так и то, что он знает очень много...

Он с удовольствием отхлебнул пива, потом привычно тронул верхнюю губу тыльной стороной ладони, чтобы в корне пресечь вероятность отрастания пенных усов. Журанков чуть улыбнулся, глядя на его ухищрения, потом сообразил, что он-то тоже прихлебывал и тоже, значит, мог украсить себя полосой белой накипи под носом, и торопливо протерся указательным пальцем. Он редко пьет пиво, подумал Бабцев.

— Не понимаю я вас, — пожал плечами Бабцев. — Ну, то есть не вас, а нас... Наше руководство. Космическое. Это же такой мог бы быть воодушевляющий фактор. Куда круче всяких там футболов, хоккеев...

Надо отдать должное большевикам, как к ним ни относиться — они умели выжать из всякого успеха максимум. Как страна тогда переживала за космос, как горела за каждый полет!

Журанков тяжело вздохнул и отвернулся к реке. Садящееся за холмы солнце двумя яркими искрами мерцало в его глазах и красило его щеки в немного клоунский оранжевый цвет. Некоторое время физик, щурясь, смотрел на стоящий в полнеба летний закат, и Бабцев решил уже, что он вообще отмолчится. Но Журанков вдруг сказал:

— Я не согласен.

— С чем? — опешил Бабцев. Высказанная им точка зрения была настолько расхожей среди просвещенных патриотов, что он был уверен: Журанков в ответ просто-таки обязан полыхнуть энтузиазмом от того, что нашел настолько родственную душу.

— Да вот с этим, — досадливо сказал Журанков. Отвернулся от заката и пригубил пиво, а потом, памятуя о только что полученном уроке, опять на всякий пожарный тщательно протер верхнюю губу указательным пальцем. — Понимаете, Валя... Ученым, конечно, важны очень многие конкретные и малопонятные нормальным людям дела. А нормальным людям очень важна победа сама по себе. Но приравнивать победу в науке, победу в космосе и победу, скажем, на хоккейном поле — это... Ну, забили лишнюю шайбу. Ну, народ побушевал ночку на улицах с флагами и бутылками, покричал: «Россия, вперед» и «Всех порвем», и все остается по-прежнему. И все знают, что все осталось по-прежнему.

— Разве этого мало? — не очень натурально возмутился Бабцев; сам-то он восторженные пьяные толпы ненавидел и, похоже, не сумел этого скрыть. Но

Журанков занят был больше собственными мыслями, чем его словами, и ничего не заметил.

— Конечно, — с тихой твердостью ответил он. — Знаете, я в детстве очень много читал фантастики... Не все ее читали, не все любили, да. Но сам воздух тогда был пропитан... Завоевание космоса накрепко связалось тогда с построением коммунизма.

— Эка! — не удержался Бабцев.

— А вы вспомните! Для фанатов фантастики вообще сложилась четкая параллельная хронология: исследование гигантских планет Солнечной системы — это коммунизм в одной, отдельно взятой стране и мировое разоружение. Начало межзвездных перелетов — отмена границ и денег во всем мире. Интенсивное исследование Галактики — развитой всепланетный коммунизм... А те, кто таких изысков ведать не ведал — они же этим все равно дышали. Каждый новый полет ощущался не как победа в спорте, и даже не как наращивание технического и военного могущества, но самое главное — как несомненный признак того, что идет движение в будущее, к общей справедливости и общему счастью. В газетах это состояние называлось коммунизмом, но людям до названий и дела не было, плевать им на названия! Целью были общая справедливость и общее счастье. Идет движение! Шаг за шагом! Если мы луноход послали — значит, скоро здесь, на Земле, жизнь у всех у нас станет добрее и честнее. Поэтому космос так волновал всех. А когда эта сцепка расцепилась, интерес пропал. Стал в лучшем случае именно спортивным, завистливым — мы опередили, нет, нас опередили... А настоящей радости не давали уже никакие результаты. «Буран» полетел — со спутником разве сравнить?

— Интересная мысль, — пробормотал Бабцев.

— Ну... — беспомощно повел рукой Журанков. — Я же помню. А теперь что Марс, что не Марс... Вот прилетим мы на Марс, и что скажет обычный человек, работник? Слесарь, крановщик, продавец, танкист, таксист, водитель троллейбуса? Ага, скажет он, мало им Ямала и Сибири, они уже и до Марса на нашем горбу добрались, чтобы и оттуда газ да нефть качать и набивать валютой карманы... Какой уж тут водущевающий фактор!

Именно в тот вечер Бабцев бесповоротно уяснил, что Журанков — агент чужого будущего. Того, где ходят строем и радуются скромной одинаковости пайков.

Жалкое и жуткое зрелище — когда такой человек еще и талантлив. Его глупость не приносит ему радости, потому что не способна сделать совсем уж тупым и слепым. А талант не может принести плодов, потому что глупость не дает использовать его по назначению.

Впрочем, о талантах Журанкова приходилось пока судить лишь по расплывчатому нимбу из чужих слов. Его житье-бытье в Полудне, по всей видимости, так и не дало пока никаких результатов, которые сторонний наблюдатель мог бы пощупать и оценить.

К середине осени, после четырех поездок, у Бабцева сложилось стойкое убеждение, что дела в Полудне идут совсем не так бравурно, как можно было бы ожидать после подчеркнуто триумфального запуска с Байконура в прошлом году. Что-то, похоже, у них тут не складывалось. По случайным и, к сожалению, весьма редким обмолвкам или, наоборот, умолчаниям Журанкова он, Бабцев, смог заключить, что основные ожидания здешним руководством связывались — во всяком случае, до последнего времени — с разработкой одного или нескольких вариантов орбитального самолета, именно орбитального самолета, а не чего-

либо еще. Этакий шаттл нового поколения, но без громоздких специфических носителей; насколько такая комбинация жизнеспособна, Бабцев судить не мог. А обязанности Журанкова в проекте, судя по всему, оказались относительно скромны — лишь какие-то расчеты.

Однако выводы были туманны и ненадежны, как кочки на предрассветном болоте.

Журанков оказался наивен и разговорчив и страстно жаждал делиться всем, что ему ведомо о вселенной — вроде бы находка для шпиона; но оделили его небеса и еще одним свойством характера, которое почти сводило эти положительные на нет. Фанатичной порядочностью.

Стоило лишь тронуть какую-то конкретику, он, похоже, сам не ведая, отчего должен отмалчиваться и таиться, честно отвечал: а вот этого я не могу говорить никому. А вот об этом я обещал не распространяться. И ничего нельзя было поделаться; не получалось даже увлечь физика разговором настолько, чтобы он, разгорячившись, разболтавшись, с горящими глазами забыл о навязанных обязательствах, казавшихся нелепыми и ему самому. Нет. Глаза у него и впрямь загорались, желание рассказывать буквально клокотало в горле, но обязательств он не забывал ни на миг, они функционировали в фоновом режиме, и отключить или заблокировать их было, похоже, невозможно.

Будь Бабцев серьезным экспертом, возможно, именно по умолчаниям ему удалось бы составить связное представление о трудовых буднях Журанкова. Но чего нет, того нет, и шире штанов не зашагаешь.

В общем, было очень досадно, что Журанкова не заметили вовремя, не заинтересовались и не сманили. Критерии отбора кандидатов на покупку, думал

Бабцев, оставляют, видимо, желать лучшего. На Западе никак не могут сообразить, что на Руси тот, кто не добился успеха, порой более важен и более одарен, чем тот, кто успеха добился.

Черт его знает, отчего так. Наверное, оттого, что здесь многие таланты сторонятся успеха; успех им стыден. И дурь эта до сих воспринимается как добродетель и чуть ли не святость.

То ли народ сразу начинает ощущать того, кто добился успеха, как чужака? То ли тот, кто добился успеха, сразу начинает ощущать этот народ как чужой? Вероятно, думал Бабцев, тихой вечерней улицей возвращаясь в гостиницу после прощального крепкого рукопожатия с Журанковым, дело в том, что у нации, исстари лишенной творческих способностей, не могло сложиться отношения к успеху, как к грабежу. Здесь в головах не укладывается, будто успех может быть следствием того, что ты что-то создал. Если успех — значит, ты что-то отнял; успех — это всегда за чужой счет.

Ждать, что страна, в которой между людьми — вот так, сама, в целом, сможет между странами добиться успеха, столь же недепо, как ждать от тормозной колодки — разгонных усилий, от кастрата — зачатия, от перепончатой летучей мыши — гордого парения в полуденном зените...

А в общем, работа двигалась своим чередом, и все бы ничего, если бы... Если бы в конце лета, в очередной раз собираясь с супругой в поездку, Бабцев вдруг не поймал себя на том, что в душе своей неприлично радуется скорой встрече с пасынком.

Это открытие его буквально ошарашило.

Конечно, в свое время, пока Вовка был еще маленьким, Бабцев старался честно выполнять обязан-

ности отца по отношению к ребенку женщины, которая стала его женой. Насколько мог. Порой это даже доставляло ему удовольствие: этакое необременительное опрощение ненадолго, вот, мол, я какой — самый человечный человек. Живу на острие борьбы с тоталитаризмом, но не забываю купить ребенку конфет. Надо признать, Катерина не перегружала его, была тактична и даже, в общем-то, бережна к мужу — она понимала, что для него на первом месте его работа, понимала, в каком напряжении он живет; она вполне разделяла его взгляды и поначалу просто-таки восхищалась им, Бабцевым, такое не скроешь, не сыграешь. Это делало их родственное взаимодействие и разделение семейных обязанностей легким и естественным.

Да и когда Вовка стал подрастать и меняться, Бабцев тоже вполне честно старался участвовать в его воспитании. Что греха таить — ему хотелось, чтобы и мальчик стал его единомышленником, как стала единомышленницей мать. Мужчине мало просто иметь благополучных, не приносящих особых проблем детей. Для счастья ему надо, чтобы ребенок хоть в малой степени, хоть с натяжкой — рос продолжателем, преемником, товарищем. Женщине достаточно, чтобы чадо было сыто и одето, не попадало в милицию и поздравляло с праздниками. Для мужчины же, если ребенку нельзя передать в наследство для дальнейшей разработки то, чего удалось достичь в жизни кровью и потом, то и ребенка, в сущности, нет. И если это достигнутое заключается не в сундуках с дукатами и не в дымящих фабриках, но в знаниях, в мыслях, то есть в вещах, куда менее соблазнительных, чем дукаты, и требующих куда большей духовной со-

причастности, потребность чувствовать в сыне младшего друга возрастает стократно.

Но все усилия Бабцева выстроить с Вовкой подобные отношения не просто остались тщетными, но завершились, увы, прямым издевательством. Какое-то время, правда, Бабцев тешил себя надеждой, что его постепенное просветительское давление, не принося видимого эффекта, все же оказывает некое внутреннее воздействие на мальчика, откладывается у того в душе и скажется раньше или позже, хотя бы когда тот окончательно повзрослеет. Однако катастрофа с его причастностью к банде и судом положила иллюзиям Бабцева конец, словно ударом топора по куриной шее.

Видимо, гены биологического папы оказались сильнее. Познакомившись с Вовкиным отцом поближе, Бабцев понял, откуда ноги растут. Разговор про Марс окончательно расставил все по местам. Если бы не научная одержимость, накинувшая на Журанкова обманчивый флер интеллигентности, да не переполненность мозга всяким там логарифмированием, фактически отгородившая физика от реальности, тот, Бабцев был теперь уверен, ровно так же, как его отпрыск, погряз бы в красно-коричневом болоте. Подлые инородцы, верните нам наши тюремные решетки, которые вы украли, — без решеток дует!

Поэтому, когда где-то через полгода после переезда пасынка в Полдень Бабцев вдруг ощутил, что ему просто не хватает ребенка в доме, он сначала себе не поверил. Решил, это просто дурное настроение накатило, и утром все пройдет. Потом стал надеяться, что виной всему очередной творческий простой: большая серия статей закончена, другая работа еще не началась и даже не придумалась, а в такие унылые межсезонья всегда накатывает хандра, и какая только дрянь

тогда не заводится под черепом, какой только нелепой дурью не червивеют заблажившие мозги; но стоит начать новую работу и увлечься, дурь всегда уходит — уйдет и эта.

Какое там.

Отнюдь не умного разговора с почтительно внешнеюющим сыном ему не хватало, нет. У них подобных разговоров и прежде не случалось, почитай, с тех пор, как Вовка, совсем еще маленький, слушал вообще все, что ему говорили, в том числе и популярные лекции Бабцева о бестолковой кровавой России. Страшно даже признаться: Бабцеву стало не хватать, например, лежащих на полу в углу ванной забытых нестиранных Вовкиных носков. И чтобы сказать ему: слушай, ребенок, немедленно прекрати газовую атаку. А Вовка бы от души хлопнул себя по лбу и ответил: ух, пап, забыл! Уно моменто! И, может быть, действительно без новых напоминаний в тот же день сподобился постирать.

Да ладно, пусть не «пап»! В конце концов, он редко и только поначалу, в раннем детстве, какое-то время действительно пытался называть его папой; не прижилось. Класса с седьмого перешел на имя, а потом с фамильярностью подрастающего мужчины, ищущего хоть где возможностей для самоутверждения, стал переименовывать «Валентин» почему-то на «Валенсий»; миллион раз Бабцев говорил ему: как меня зовут? напомнить? а если я тебя начну звать не Вовкой, а, например, Вилкой, тебе понравится? В конце концов отучил отчасти — но за глаза он для пасынка продолжал оставаться дурацким Валенсием, и знал об этом; даже в разговорах с матерью, Бабцев слышал не раз, Вовка называл его так...

А вот если бы теперь в творческой тишине без-

людной квартиры вдруг прозвучало по-семейному — «Валенсий», Бабцев оказался бы, наверное, счастлив.

До Бабцева ни с того ни с сего дошло, что других детей у него нет и, скорее всего, черт возьми, уже не будет.

И тогда чисто идейное неприятие Журанкова с его отвратительной имперской ностальгией и рабьей страстью к уравниловке и даже благородное стремление помешать его темным усилиям снова вооружить дремучих русских царей (называются ли они императорами, генсеками или президентами — все равно) чем-то очередным таким, что опять вскружит им головы иллюзией всемогущества и опять поманит попытаться, пролив реки невинной крови, поставить мир на колени — все эти рыцарские чувства разом ступешались перед тупой, как мычание, ревнивой ненавистью и палящим желанием просто наносить вред.

Но паразитическим образом они лишь помогали при общении с Журанковым быть внимательным, дружелюбным, добродушным...

Бабцев поражался сам себе. Оказывается, я прирожденный разведчик, думал он несколько удивленно, но — гордо. Почти самодовольно. Оказывается, чем бы он ни занимался, за что бы ни брался — у него получалось все.

И словно во что-то густое и теплое окунали его сердце всякий раз, когда во время приездов в Полдень он убеждался, что Вовка отнюдь не сторонится его, пожалуй, даже наоборот, общается охотно, болтает, как редко и дома с ним болтал. И Бабцев, махнув рукой на попытки просветить несмышлениша, просто слушал его, просто поддакивал или шутил, острил, дерзил мальчишке в тон, когда тот рассказывал смешные случаи из молодой жизни или о том, как отец во-

дил его посмотреть на недостроенный испытательный стенд (внимание! какой такой стенд?), или о том, какую чушь иногда спрашивают в этих пресловутых экзаменационных тестах... Полвечера они провели однажды, соревнуясь, кто придумает и впрямь наиболее дурацкий тест — подначивая и подзуживая друг друга и хохоча, точно два одноклассника. Тест номер семь: крупнейшим городом Африки является: первое — Лондон, второе — Вашингтон, третье — Жмеринка. Верный с вашей точки зрения ответ пометить крестиком... Тест номер десять: большая часть атмосферных осадков выпадает из облаков в виде: первое — водки, второе — клея «Момент», третье — мочи. Тест номер одиннадцать: главной причиной безлесья степей является недостаток... Первое... Э-э... Вовка, а то же самое! Давай подставляй! Точно, Валенсий! Во колбаса! Главной причиной безлесья степей является недостаток: первое — водки, второе — клея «Момент», третье — мочи! Ох, я прусь! Мама! Мам, послушай!

Мы еще поборемся, возбужденно и мстительно думал Бабцев. Мы еще посмотрим, чья возьмет...

Мерзкая выходка жены в ноябре снова все поставила под угрозу.

Говоря откровенно, Катерина стала для Бабцева к этому времени вроде чемодана без ручки: тащить неудобно, а бросить жалко. Но он старался вести себя достойно, как культурный человек, заботливо и дружелюбно, тем более что необходимость ездить в Поддень становилась все более настоящей и неотменяемой. В театр ее позвал, дурень, добыл билеты...

Даже вспоминать стыдно, как он метался, когда она пропала. Действие шло и шло — ее нет. Действие закончилось — ее нет. Театр опустел — ее нет. Ни в

здании, ни в окрестностях, нигде. Домой она так и не пришла. Позвонить он ей не мог — она категорически не брала мобильник туда, где все равно приличному человеку надо его отключать; на работу — понятно, в путешествие — само собой, но в театр или, скажем, в музей либо филармонию — ни за что. До утра он чуть с ума не сошел. Обзвонил всех, кого только смог, кого только пришло в голову: морги, милицейские пункты, больницы...

А она явилась за полдень, свежа, как майская роза, и полна самодовольства и агрессии.

Он сначала еще не понял. Когда раздался звонок в дверь, метнулся, олух, точно его катапультировали раскаленным шилом.

— Катя! Господи, где ты была! Я же чуть с ума не сошел!

А она холодно, высокомерно, словно это ее предали, а не она предала:

— Я ночевала у другого мужчины.

Только тут он догадался присмотреться к рослому хмырю, скромненько так маячившему за ее спиной. Присмотрелся — и узнал.

И хмырь его узнал.

Наверное, челюсти у обоих отвалились одинаково. Только у хмыря — человека, видимо, попроще — еще и вслух вырвалось:

— Ексель-моксель!

Потом все трое некоторое время молчали, как три тополя на Плющихе.

— У вашей супруги, Валентин, случился прямо на улице сердечный приступ, — поведал затем этот... как же его... Фомичев? Да, Фомичев. Кажется, Леонид. — Так получилось, что я ее вырчил. А поскольку

ку у нее не было ни документов, ни телефона, и рассказать она ничего не могла...

Бабцев с каменным видом выслушал всю ту ахи-нею, которую Фомичев соблаговолил произнести. Катерина растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого.

— Вы что, знакомы? — тихо спросила она, когда ее спутник закончил свою печальную повесть.

— Более чем, — сухо ответил Бабцев. — Это мой, представь себе, коллега. Приятель того подонка, который меня чуть не искалечил прошлым летом перед поездкой на Байконур. Я тебе обо всем этом рассказывал, если помнишь. Что ж, заходите, господа. Будем разбираться.

Они разбирались чуть ли не до вечера. Со слезами, с криком, едва ли не с пощечинами. Оказалось, разумеется, что он же еще и виноват. Эта истеричка не стеснялась чужого человека несколько. Фомичев, надо ему отдать должное, маялся, а вот жена после первого ошеломления закусил удила. Кончилось тем, что она собрала вещи.

— Катя, — примирительно сказал тогда Бабцев, — ну·побойся бога. До ближайшего поезда еще больше суток. Где ты будешь ночевать?

— Найду, — гордо бросила она, трясущимися пальцами прикуривая очередную сигарету от предыдущей. Голос у нее звенел и лучился надменным сиянием, будто она отдавала завершающие распоряжения в победоносной, уже практически выигранной битве. Гвардия, в огонь! — Леня, вы меня приютите?

Фомичев, почти все это время просидевший молча и со втянутой в плечи головой, от полной беспомощности и безвыходности даже заглянул Бабцеву в гла-

за, будто извиняясь: не могу, мол, ответить ничего иного, но ты уж, мужик, не обессудь. И сказал:

— Конечно.

Мексиканский сериал, честное слово.

— Имей в виду, Катя, — негромко и твердо сказал тогда Бабцев, — права видется с Вовкой ты у меня не отнимешь. Даже не думай.

А она вдруг словно погасла. Поникла. Всю ярость, весь гонор с нее как сдуло — так пышный пух облетает с одуванчика, и остается беленький голый отросточек, жалкий и беспомощный. Сейчас она впервые выглядела виноватой.

— Валя, — тихо ответила она, — что ты... Мне бы даже в голову не пришло...

Все к лучшему, лихорадочно думал он, оставшись один. Губы дрожали. Сжимались кулаки. Все к лучшему. Теперь, думал он, подходя к окну, уж никто не спросит, почему это у меня публикаций становится меньше, а денег — больше. Никто этого даже не заметит. Все к лучшему. Отчетливо видно было с высоты, как маленький, коротенький — одна голова, рахит рахитом — головастик по фамилии Фомичев с неожиданной предупредительностью открывает перед таким же потешным головастиком по имени жена Катерина дверцу выдавшей виды «девятки». Ну, вот и покатайтесь на глючной децильной тачке, думал Бабцев. Кажется, так бы это сформулировал Вовка. Или лучше сказать «на голимой»? Зеленая улица, господа. Посмотрим, на сколько тебя хватит, жена Катерина, посмотрим, когда тебе захочется обратно в просторный ароматный «Ауди». Впрочем, точно так же о нас мог бы сказать вчерашний седой болван из «Бугатти» — а я езжу, думал он, и ничего... Ладно. Оставим

имуущественную тему. Но черта с два, поклялся он, вы без меня отправитесь в Полдень. Черта с два!

И по прибытии он первым делом помчался в гости к старому корефану Кармаданову — проверить и смазать исходный контакт, подновить его на всякий пожарный; в свете взбрыка Катерины эта дополнительная присоска к Полудню могла оказаться очень даже кстати.

Здесь, к счастью, все было хорошо. Здесь было по-прежнему — крепко и надежно; школьная дружба не ржавеет. Приветливая Руфь и от души обрадованный Семен тотчас принялись наперебой, в два голоса рассказывать, как замечательно они съездили в Израиль, с какими замечательными людьми познакомились, как приветливо и гостеприимно их встречали, как чудесно они отдохнули — и серии ярких фотографий, точно гадалкины колоды, начали широкими веерами раскидываться перед Бабцевым одна за другой; молодец, Валька, вовремя предупредил, что нагрнешь, мы успели к твоему приходу все распечатать на цветном принтере, не с экрана же смотреть. Эх, жаль, шестикрылая упорхнула к подружкам — а то бы тоже тебе рассказала про землю обетованную со своей точки зрения, она там давала прикурить! Почему шестикрылая? Ха! Валька, ты что? Потому что Серафима!

Уже ближе к уходу Бабцев словно бы невзначай, полушутливо вспомнил: а как там ракетчик-то этот, как его... Удалось его вербануть к вящей славе русского оружия? Ты вроде собирался...

Кармаданов стушевался. И уклончиво ответил: нет, он не захотел. Вымученно отшутился: знаешь, я бы из такой погоды тоже никуда не поехал...

Конечно, думал Бабцев, неторопливо идя к гостинице. Мне никогда не знать наверняка. Я вообще, ду-

мал он, никогда не узнаю, какие результаты приносит моя работа, какие плоды. Сколько от нее пользы, а сколько — так, пшик, пустая порода в отвал. Но ему очень хотелось верить, что не только благословенный климат Леванта помешал израильскому ученому безрассудно сунуть умную голову в промозглую русскую петлю. Ведь он, Бабцев, предупредил вовремя, а братские разведки не могли не поделиться такой информацией одна с другой, просто не могли. И если так — получалось, он, Бабцев, не зря живет.

Огорчало лишь одно.

Никогда он не сможет похвастаться этим успехом перед сыном.

Ну, перед пасынком, ладно. Какая разница. Никогда. Никогда не сможет гордо сказать: знаешь, Вовка, я тут великое дело сделал, сорвал козни...

Впрочем, Журанкову, судя по всему, тоже нечем было пока хвалиться. И уж я, думал Бабцев, сделаю все, что смогу, чтобы так оставалось и впредь.

Немного НФ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



1



громный кабинет глядел на игрушечную землю с ястребиной высоты; в погожие вечера прямо за его прозрачной стеной, как новогодняя метель, кипели звезды. Но сам он обставлен и оформлен был с подчеркнутой увесистой старомодностью. Зеленое сукно на громоздком столе. Граненый графин, пудовая настольная лампа торчком на толстом медном колу. Потертые кресла черной кожи.

И ряды допотопных стеллажей со столь же допотопными книгами — точно бесконечные стойла лошадей-ветеранов, еще в прошлое царствование отскакавших свои последние дерби, отвоевавших последние призы и теперь беззубо, подслеповато берущих каждый прожитый день, как очередной барьер; дремлют себе, сонно покачиваясь и переминаясь с одной распухшей в суставах ноги на другую, ни на что уже не претендуют, ничего не ждут и видят в снах восторженный плеск давно затихших аплодисментов да сверкающий азарт триумфальной скачки, приведшей почему-то не к кусочку сахара из рук обожаемого небесного жокея, а сюда, в тишину и пыльную немощь.

Мерно чавкали в углу напольные часы, пережевывая жизнь.

— Присаживайтесь, Борис Ильич.

Глядя по сторонам с веселым удивлением, Алдошин уселся в кресло напротив хозяина кабинета.

— Благодарю...

— Что вы так озираетесь?

— Поражен в самое сердце. Как вам здесь работается? У вас только исторические фильмы снимать.

— Исторические?

— Ну да. О тяжелом и благородном труде партийных руководителей эпохи развенчания культа личности. Типа «Битва в пути».

— А, интерьер... Вы мне льстите. Это всего лишь попытка вспомнить приемную директора казанского вертолетного завода.

— Так конкретно?

— Ага. Однажды отец взял маленького Наиля с собой на работу. К тому времени я уж знал, что папа делает чертежи машин для летания по небу, а директор — это такой великий человек, который велит папе, как их делать и сколько. В коридоре в открытую дверь я мельком увидел святая святых, и на всю жизнь обомлел от благоговения. Теперь вот чисто по Фрейду делаю себе приятно. И работается, представьте, великолепно. Все эти новомодные офисные мебели а-ля хай-тек я терпеть не могу. То ли этажерки, то ли птичьи клетки...

— Портрета генсека не хватает.

— Не дождетесь.

— Но ведь стиль!

Владелец корпорации «Полдень» усмехнулся.

— Кто в доме хозяин — стиль или я? Лучше стиль для меня, чем я для стилиста.

Вступление иссякло. Пошутили — и все равно не весело.

Давно они не беседовали о главном. Время не-

слось так, что в его легковесном вихляющемся порхании было не ухватить ничего существенного. Твердого и угловатого, такого, чтобы язык повернулся сказать: событие. Годы рассыпались по пустякам, как песок. Поверить было невозможно, что с того судьбоносного разговора, положившего начало Полудню, прошло уже больше десятка лет.

Какое-то время обоим казалось, что под напором их трудов небо, улетевшее было на недосыгаемую высоту, снова становится ближе.

С какого-то времени им стало казаться, что их словно опускают в колодезь; скрипел ворот, погромыхивала, разматываясь, ржавая цепь, а небо, раскачиваясь, опять уходило все выше, и квадратик его сжимался.

— Надо определиться, Борис Ильич.

— Согласен.

Коренастый плотный человек, каких-то полвека назад бывший маленьким Наилем, целеустремленно предложил определиться и надолго замолчал. Наверное, не знал, с чего начать. Встал со своего кресла и, заложив руки за спину, подошел к окну. Прямо за смутным отражением его лица, глаза в глаза, пристально и требовательно горели в стоймя стоящей бездне громадные Кастор, Поллукс и Капелла, а вокруг них, точно мошки вокруг прожекторов, туманными облаками роилась их искрящаяся челядь.

Вон они как смотрят. Ждут...

Сколько миллионов лет Козочка-Капелла не дое-на, мелькнуло в голове, и текущая в жилах Наиля кровь степняков заныла от сострадания. Как вскормила Юпитера, так и носу к ней никто не кажет. Не ровен час — не дождетя пастуха.

А мы, подумал он, такой ерундой тут занимаемся...

— Знаете, Борис Ильич... Начну-ка я. Изложу свое видение ситуации.

— Я весь внимание, — сказал из кресла академик.

— Я давно ведь кручусь едва не на самом верху. Промышленная палата, эрэспэпэ, президентские проникновенные посиделки... Но скажу честно: я так и не понял главного. То ли они действительно стараются, но у них не получается, то ли они только делают вид, что стараются, а под шумок заняты той же хренью, что и в девяностых. Просто тогда шумок создавался словами про демократию, а теперь он создается словами про суверенитет, и почувствуйте, как говорится, разницу.

— Так худо? — тихо спросил Алдошин.

— Ну, у меня в последнее время печенка расхандрилась, поэтому я все вижу в мрачном свете... Но, боюсь, не только в печенке дело. Понимаете... Может, по-своему они и правы. Быстрей коня не поскачешь. Как товарищ Бендер кричал: дэнги давай, давай дэнги! Нам нужен инвестиционный бум! Но создается впечатление, что они так страстно мечтают влиться в мировое это сообщество, что больше им ничего и не надо. И они на корню рубят все проекты, в которых мы уникальны или опережаем на корпус. Под такое нет ни финансов, ни людей, ни будущих задач. Так с экранолетами, так с «Энергией»... Якобы это все и не перспективно, и не прибыльно. Помните, при Советах, чуть что, вышибали мозги фразой «Народу это не нужно»? Теперь вместо нее другая: «Это не будет пользоваться спросом...»

Тут он подумал, что невежливо так долго говорить, стоя затылком к собеседнику. Отвернулся от призывно блеющей из бездны Капеллы и подставил

Галактике располневший загривок и лоснящуюся спину пиджака.

— В разработку идет только то, на чем можно устроить интенсивное партнерство. Со всеми вытекающими для партнерствующих жирными последствиями, вы же понимаете. На Западе что-то требуется — ага, тут как тут мы на подхвате: вот они мы, вы про нас не забыли? Мы вам пригодимся! Штамповать «Союзы», чтобы прогрессивное человечество летало из Техаса на МКС? Конечно, всегда пожалуйста, все ресурсы на штамповку... Титан для «Дрим-лайнера»? Вот, плиз, у нас тут с советских времен горка титана зачем-то завалилась, не угодно ли взять нас в подмастерья? У индусов «МиГи» бьются, пора им менять парк истребителей? Надо же, как удачно — а у нас как раз истребитель пятого поколения поспекает... Все остальное — побоку.

— И значит, наш, пардон за выражение, город Солнца...

— Угу. Официальная отмазка, конечно, кризис, все чинно-благородно. Но я же чувствую, как на меня смотрят. И чиновники, и свой брат олигарх. Мол, чего это ему — больше всех надо, что ли? Купи ты себе уже двадцать километров Лазурного берега, пару футбольных клубов и утомись наконец!

— То-то я смотрю — строительство стенда заморозили... — помолчав, сказал Алдошин.

— Еще бы! — невесело хохотнул постаревший мальчик Наиль. — Скажу вам по секрету: независимая экспертиза показала, что марсианский саксаул не будет пользоваться спросом у мирового потребителя.

Алдошин помедлил мгновение, потом распрямил спину, точно вынужденный капитулировать маршал.

— Так, — сказал он сдержанно. — Ожидал я нын-

че тяжелого разговора, но чтобы настолько... И что теперь?

Его собеседник, видимо, устал стоять. Пожевал губами и неторопливо пошел к своему креслу за необъятным, как космодром, столом. Уселся, бесцельно перебрал какие-то бумаги. Наконец поднял глаза.

— Ну, года два-три меня еще не разорят, — просто ответил он. — Разве что специально постараются. Но тратить я смогу теперь только свои деньги. И только столько, чтобы не поплыть брюхом кверху. Центральной поддержке и подпитке хана.

Некоторое время было тихо.

— Расскажите мне коротенько, Борис Ильич, что мы тут успели. Я в этом бардаке совершенно оторвался от дел.

Академик подобрался.

— Если коротенько, то так. Проработаны и смонтированы три модели челнока.

— Один к одному?

— Нет, конечно. На старом стенде модели в натуральную величину просто не поместились бы. Одна пятая. Проведен предварительный обдув всех трех, выбрана наиболее перспективная.

— И все?

— Нет, конечно. Мы ей еще имя придумали.

— Надо же. Давайте я угадаю. «Аэлита»? «Галактика»?

— Нет. Холодно.

— Не пугайте меня. Неужели вы, окрыленные эпохой советских триумфов, вспомнили первый атомный ледокол и, свят-свят-свят, назвали челнок «Ленин»?

— Ни в коем случае. «Лоза».

— Нетривиально... Закрадывается подозрение, что продукция виноделов вам крупно помогла в работе.

— В честь Лозино-Лозинского.

Наиль качнул головой.

— Благородно... Но, увы, негусто.

— Вторая группа, как мы и уговорились, занималась «Ангарой». Понятно, что Перминов «Ангару» не отдаст, но велась параллельная проработка и, в общем, есть вероятность, что базовый модуль носителя можно без потерь удешевить процентов на семь-восемь. В абсолютном исчислении это, как легко понять, бешеные деньги. Спроектированы и отмоделированы новые форсуночные головки. Судя по всему, они позволят увеличить тягу... Не принципиально увеличить, но существенно. Что делать с такой информацией — решать, конечно, вам.

Олигарх помолчал. Потом проговорил горько:

— Семь-восемь процентов. Господи, при нормальном положении дел — подвиг! Инженеров на руках надо носить! А эти там... пилят...

Он глубоко втянул носом воздух и, на миг зажмурившись, сокрушенно помотал головой.

Академик молчал.

— Знаете... Мне сын тут книжку подсунул... Он, вообще-то, человек вменяемый, но читает много всякой ахинеи, не относящейся непосредственно к его занятиям. Избаловал я его...

Интонация была в разительном контрасте со словами: в голосе владельца Полудня звучали одобрение и отцовская гордость.

— Так вот он прочитал, и мне показал, историческую книжку про каких-то, срам сказать, древних китайских бюрократов. Автор там доказывает, что если в стране по тем или иным причинам неизбежно государственное управление экономикой, в этой стране либо должна господствовать какая-то мощная идео-

логия общественного блага и личного бескорыстия, либо госаппарат превращается в ненасытную саранчу, полностью пожирает экономику и страна погибает. Государственного служащего, управляющего экономикой, в принципе нельзя сделать добросовестным и эффективным за деньги. Чиновник, если его интересуют только материальные блага, может хоть лопаться от денег, которые ему платит общество, и все равно плевать на это общество¹. Похоже на правду, а?

— Я не историк, — вежливо ответил Алдошин. — Но... Подумаешь, открыл Америку.

— То есть? Вам эта мысль кажется знакомой?

— Знаете, я в школе учился, когда только-только Гитлера побили. Поэтому мне Германия как-то ближе новомодного Китая... И вот что я запомнил: уж на что немецкие государства в девятнадцатом веке мало отставали от тогдашних лидеров, Англии и Франции — и то, чтобы их догнать, понадобились сначала немецкий романтизм, а потом и прусский национализм. Который, конечно, не лучшим образом аукнулся в веке двадцатом... Но если бы версальские победители не зарвались с перекройкой мира под себя, любимых — не аукнулся бы. А вот если бы не Гете, Шиллер и Гейне, немцы после того пенделя, который им отвесил Бонапарт, вечно занимались бы одними сосисками. Все остальное выменивали бы на сосиски у лидеров.

— Смешно, — с грустью сказал Наиль.

¹ Для тех, кто интересуется — Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Часть I. Генезис и структура. С-Пб., 2009. Полезно по тому же поводу прочесть также: Рыбаков В. М. Зачем Конфуцию родители // «Нева», 2008, № 5. Зачем русскому Родина? // «Нева», 2010, № 9. В сети «Невские» тексты можно найти по адресу: <http://magazines.russ.ru/authors/r/vyrybakov/>.

Алдошин встал и подошел к одному из книжных стеллажей. Возможно, подумал он, с тех пор об этом написали и получше, и поподробнее, даже наверняка написали — да вот я помню только эту книжку из отцовской библиотеки...

— Вы позволите? Я, едва вошел, заметил с детства знакомую обложку... просто обмер. А зрительная память у меня — дай бог каждому.

— Там про то, как легче летать в космос? — саркастически улыбнулся владелец Полудня.

— Там про то, как легче летать, — невозмутимо ответил ученый. Прищурившись, провел взглядом по ряду одинаковых с виду томов, цепко вынул один и раскрыл, казалось, наугад. Пролистнул несколько страниц.

— Ага! Мы ведь, — обернулся, — не спешим?

— С вами я никогда не спешу.

Алдошин вновь уставился в книгу.

— «Поведение правительства, униженно просившего мира, трусость многих комендантов крепостей, сдававшихся по требованию трубача, прокламации губернаторов, напоминавших жителям, что спокойствие есть первый долг граждан, угодливость чиновников в выполнении приказов завоевателей, язык прессы — все это, казалось, свидетельствовало о том, что народ готов дать себя поработить»¹.

На миг он оторвался от текста и лукаво стрельнул взглядом на олигарха.

— На что похоже?

Тот увлеченно принял игру.

— Что-то типа Руцкой о Ельцине.

— Отлично, — сказал Алдошин. — Далее. «Но в этой скудно одаренной природой стране под суровым

¹ История XIX века. Том 2. М., 1938. С. 103 — 104.

владычеством династии выработалась крепкая, стойкая, выносливая порода людей; все они были в той или иной мере проникнуты сознанием своего долга по отношению к государству, упадок которого ощущался ими как личное горе. Мы имеем здесь один из самых любопытных парадоксов истории: немецкий национализм, такой агрессивный и высокомерный, вырос в школе писателей, считавших патриотизм лишь докучным предрассудком. Стало понятно, что народ, не умеющий отстоять свою независимость, осужден на быстрый духовный упадок. И если подумать о том, как широко романтики раздвинули наш умственный кругозор, и о тех путях, которые они проложили в самых разнообразных направлениях, то их ошибки окажутся очень незначительными в сравнении с их заслугами, и останется лишь чувство почтения и благодарности к этим смелым пионерам будущего»¹.

Алдошин умолк. Про себя прочел еще несколько строк, понял, что главное сказано, и, звучно захлопнув том, задвинул его на место.

— Германия? — негромко спросил Наиль.

— Да. Конец наполеоновского завоевания и сразу после.

— Смешно, — повторил олигарх. — В истории вообще-то бывает что-нибудь новое?

— Бывает, конечно, — ответил Алдошин, возвращаясь в свое кресло. — Атомная бомба вот.

— Я об истории, а не о технике.

— Человек не меняется, так с чего бы истории меняться?

— М-да. Очень жаль. Хотя... Как всегда, если мы думаем о переменах, то — о переменах к лучшему. А ко-

¹ История XIX века. С. 105, 103, 101.

гда перемены наконец происходят, то по большей части — в противоположном направлении...

— Даже не могу себе представить, какие тут возможны радикальные перемены. Что есть мышление? Механизм изыскания средств, которыми будут реализовываться цели. Но цели-то по отношению к мышлению есть внешняя, высшая инстанция. Они диктуются не рациональностью, а страхами, традициями, мечтами, идеалами, предпочтениями, привычками... Раньше думали, если всю эту архаику как-то с мозга состругать — тут-то человек и воспарит. На одном интеллекте и рациональности. Но оказалось, стоит только человека освободить от высших иллюзий, как из-под них выпирают никуда не девшиеся низовые комплексы. И уж они настолько подчиняют себе рациональность, что та способна выдавать одни лишь газовые камеры.

— Даже так?

— Угу. Ну представьте себе самый роскошный внедорожник, залитый под завязку чистейшим бензином и хоть с Шумахером за рулем. Он все равно с места не сдвинется, пока не возникнет мотивация: пора на работу. Или: опаздываю на карнавал. Или: съезжу-ка полюбоваться на закат над заливом. Или: пора кого-нибудь задавить! А почему на работу? Потому что хочется продолжать делать дело. Почему на карнавал? Потому что хочется, чтобы было весело. Почему на залив? Потому что хочется, чтобы было красиво. Почему задавить? Потому что хочется ощутить, какой я могучий. Хочется, хочется, хочется! Где тут мышление?

Они замолчали.

Наверное, оттого, что разговор зашел о Германии, Алдошину вспомнилось, как несколько лет назад он

забрел на уличную встречу ветеранов в день Победы. Вообще-то он уже издавна, если время позволяло, старался делать это каждый год и благоговейно таился в сторонке, ухитряясь и вдохнуть чуток от их надмирной радости, и в то же время — не мешать и не примазываться к тем, кто его, будущего академика, ничего о нем, конечно, не ведая, когда-то спас. Он, войны не помнивший, родившийся до срока оттого, что маму грохотом, так похожим на внезапную бомбежку, перепугал первый в столице салют, сам теперь уже давным-давно не молодой, со всеми положенными по возрасту болячками, недомоганиями и усталостями, изумленно смотрел на дряхлых, сторбленных, трясущихся, с трудом ковыляющих, порой двух слов не способных связать разборчиво, с глазами, слезящимися уже не столько от избытка чувств, сколько от синдрома сдавливания, как если бы прямое попадание фашистской бомбы в землянку жизни, где они отогревались от войны, хоть и не убив еще, обвалило на них тяжеленный потолок в шесть десятилетних накатов, — и поражался, что они еще каким-то чудом живут и ходят сюда, и помнят друг друга, и целуются, и поют дрожащими, срывающимися, но каким-то чудом — звучащими молодо, почти по-детски, голосочками:

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать...
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать...

У Алдошина всегда ком подкатывал к горлу, и он, обмирая, переживал: сумеют допеть? дыхания хватит? не помешает шпана? Но в тот раз песню порвал один из самих стариков — с целым иконостасом на-

град на истрепанном, с заплаткой на локте кителе. В то время как остальные, обнявшись, одышливо, немощно и гордо выпевали: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна...», он, вдруг задрав руку с тяжелой стариковской палкой к ярко-синему майскому небу, крикнул с отчаянием и болью:

— Да что ярость! Что ярость! Все ярость да ярость... Ярость — дело скорое!

Однополчане недоуменно затихли, косясь на бунтаря почти с обидой за нарушение святого единства. А тот уронил руку — только палка стукнула об асфальт. С треском, будто бронхи рвались, как бинты в медсанбате, втянул воздух. И жалобно, почти стесняясь, точно ребенок маме об ушибленном пальчике, шепнул:

— Ума бы побольше... Ум-то — он... Ум-то за один день не вскипятишь...

Это был стон целой страны.

Вполне рациональный ум при ущербности мотиваций — это всегда трагедия. Концлагеря, введенные в мировой обиход кумиром британцев лордом Горацио Гербертом первым графом Китченером для ста с лишним тысяч жен и детей воевавших против британского вторжения буров — где жены с детьми и вымерли себе от дизентерии и тифа. Бесчисленные баржи заживо утопленных с семьями белых офицеров. Холокост. Стремительная ГУЛАГовская индустриализация. Бухенвальд, Дрезден, Хиросима. Выжженные дефолиантами и диоксином леса и речные долины Индокитая, недоуменно хнычущие вьетнамские младенцы, у которых шевелящиеся пальчики рук, как плавники, торчат из подмышек...

Но и самые высокие мотивации, если нет ума, чтобы хоть отчасти претворить их в обыденную жизнь, —

тоже трагедия. Мучительное переваривание желудочным соком истории, бесследное растворение в едкой кислоте сетований и сожалений... И культ пофигизма, превращающий все живое в пепел.

Наиль негромко спросил:

— О чем задумались, товарищ академик?

Алдошин очнулся:

— О делах наших скорбных, господин олигарх.

— А что о делах? Есть что-то еще?

Академик помедлил.

— Да как сказать, Наиль Файзуллаевич... Строго говоря — нет. Но...

— Что — но?

— Но если снова вспомнить о романтизме... Даже не знаю, как начать. Помните, я рассказывал о Журанкове?

— Погодите... Он нам работал математическую модель челнока в полете?

— Ну, примерно так.

— Я что-то перепутал? — по-детски всполошился Наиль.

— Ну, частности, частности... Не челнока, а плазменного облака, которое должно создаваться вокруг челнока... Да частности это, я не о том! Для Журанкова расчеты такого рода были, в общем, малоинтересной и достаточно частной прикладной задачей. Халтуркой, простите за выражение.

— Ничего себе халтурка...

— Сам он уже много лет занимается совершенно иными материями. И вот недавно разродился наконец. Он утверждает... Как бы это выразиться помягче, чтобы вы не сразу вызвали санитаров...

— Ну не тяните!

— В общем, он нам нуль-транспортировку избрал.

Некоторое время олигарх, свесив пухлый жизнерадостный подбородок, молчал, с недоверием глядя на академика искоса — как индюк на неаппетитный корм.

Потом брезгливо произнес:

— Что-о?

— Ну, я предупреждал, — безнадежно ответил Алдошин.

Опять долго было тихо.

— Вы серьезно? — вполголоса спросил бывший мальчик Наиль.

— Я не готов комментировать, — признался Алдошин. — Но Журанков — серьезно.

Наиль почувствовал, как у него что-то задрожало внутри. Мысли побежали, как спугнутые тараканы.

— Погодите... Нуль-тран... Это из фантастики ведь. Только что был тут — и вот уже хрен знает где. Да?

— Да. Именно. Хрен знает где.

— Ну не придирайтесь вы к словам! — нервно выкрикнул Наиль. Провел по щеке ладонью. — Год назад, сколько я помню, вы Журанкова характеризовали как очень талантливого и очень ответственного человека.

— Это я готов повторить.

— А у него, простите, башню не сорвало? От жизни многотрудной?

— Не похоже.

— С медиками вы советовались?

— Нет ни причин, ни поводов.

— Ну, верю вам на слово. А то я слышал, встречаются самородки... Например, Эйнштейна до сих пор поправляют с позиций классической оптики. Мол, у

того все какое-то кривое — кривизна, кривизна... Это не тот случай?

— Решительно не тот.

— Тогда я не понимаю... Разве он не показывал вам какие-то расчеты, обоснования...

— Нет. Разбираться всерьез мне, увы, не по уму. Когда я слышу про одиннадцатимерную супергравитацию или про то, что температура черной дыры определяется напряженностью гравитационного поля на горизонте событий, мне сразу хочется застонать, взять отвертку, плоскогубцы и пойти проверить какой-нибудь клапан или уплотнительное кольцо. Мол, не пересохло ли, как у «Челленджера», а то, не дай бог, рванет. А тут теоретические дебри. И кроме того, признаюсь... Я откладывал попытку разобраться до разговора с вами.

— Понятно... Как вы сказали? Гравитационное поле на горизонте? И там происходят какие-то события? И это — температура? Слушайте, а Журанков ваш воду не заряжает?

— Увольте, Наиль Файзуллаевич. Я даже не уверен, что воспроизвел это заклинание правильно. Нужно привлекать независимых экспертов. Причем у нас таких либо и не было никогда, либо все поразъехались. Я честно скажу, ни одного имени не припомнил, с кем можно было бы неофициально, по-дружески посоветоваться. Игорь Новиков, может быть, но у меня к нему нет подходов. Андрей Линде — так он сто лет как в Штатах... Да и эти, строго говоря, не в точку... просто по масштабу... Не знаю. Не с кем.

Опять долго молчали.

Получается что же, подумал Наиль. Не зря мне нынче припомнилось детство и сладкое чувство засасывания в небо? Будто хоботом стягивало туда... Кто-

то, может, назвал бы это: Всевышний позвал. Но я, думал он, держал за руку отца и видел грохочущий храм, где могучие добрые боги куют на благо людей вертолеты, и молиться готов был именно на этих богов. Благоговение... Да, другого слова не выбрать. Когда, подумал он, я сделал первый свой миллион, не было ничего даже отдаленно похожего на тот восторг. Просто, как нажрался от пуза, и все.

А теперь... Теперь ему казалось, что он стал мальчиком снова и снова пришел туда, где чудо. Такое, например, как вертолет. Тяжелый, неуклюжий, разлапистый, воняющий смазкой и бензином, совершенно не похожий ни на что, очевидно способное летать — и с такой легкостью дающий им, всем летающим, форы.

Вечер вкатывался в ночь. За окном, точно белый налив на невидимых в темноте ветвях дедовского сада, созревали звезды — вот-вот переспеют и треснут от сияния. С детства помнил академик сладкий и гулкий в ночной подмосковной теплыни обвальный шум и земляной стук упавшего яблока. Ищи потом паданцы в траве...

Уж я бы поискал, подумал он, глядя на слепящий разлет созвездий.

— В Штатах, значит... Слушайте, Борис Ильич. А вам космическая стезя глаза не застит? Вы хоть отдаете себе отчет, что нуль-тр-тр — это не только марсианский саксаул? Не только Тау Кита всякая? Это и Кремль, и Белый дом, и бункера стратегического командования, и ракеты в шахтах, и подлодки в океанах, и...

— Не утруждайтесь, Наиль Файзуллаевич. Ряд может оказаться очень длинным. Гохран, например, или Форт-Нокс. Швейцарский банк вот тоже очень показан для гиперпространственных перемещений...

— Вы еще шутите!

— А что остается? Я ученый. Я в фантастику не верю.

— А Журанков ваш — не ученый?

— Тоже ученый.

Стало тихо.

— Надо побеседовать втроем об... этом самом... Об этой тран... тран... нуль... Господи, не выговорить!

— В фантастике это, смолоду помню, называют попросту нуль-Тэ.

— А мы будем называть операцией Ы! — резко наклонившись над столом и опершись на него обеими руками, в сердцах заорал олигарх. — Чтобы никто не догадался!

Алдошин осекся. Чувствовалось, Наиль на грани срыва. Десять лет он пестовал Полдень и тратился на него. И вот результат. Сюрприз был слишком внезапным и слишком обескураживающим. А кровные денежки-то ежесекундно и неудержимо испарялись — и во время еды, и во время сна, и даже во время этого разговора... Занервничаешь тут.

Наиль взял себя в руки. Выпрямился, несколько раз глубоко и медленно вздохнул.

— Извините, — сказал он. — Терпеть не могу повышать голос. Это от удивления.

— Я тоже виноват, — смиренно ответил Алдошин. — Привычка к несерьезному тону в крови интеллигенции. Реакция на перекормленность патетикой. Но это не значит, что мы и на самом деле не можем ни к чему относиться серьезно...

— Вот нам сейчас только интеллигенцию обсуждать, — огрызнулся Наиль. — Чтобы уж совсем крышу снесло. Нет, мы этим заниматься не будем. Лучше давайте-ка через пару дней... да, в четверг... встретимся

опять же попозже вечерком интимненько с вашим гением и все обмозгуем спокойно и неторопливо. Но... Помните, в «Семнадцати мгновениях»? Так, чтобы об этом знали только три человека: вы, я и он. Хорошо?

— Очень хорошо, — ответил академик. — Лучше не бывает.

Когда Алдошин ушел, Наиль некоторое время возвышался над космодромом своего стола совершенно неподвижно и глядел прямо перед собой. Потом, что-то, видимо, решив, тронул кнопку под панелью и сказал очень спокойно и ровно:

— Начальника технической безопасности мне.

— Тут я, Наиль Файзуллаевич, — раздался бодрый голос.

— Вадим, вот какое дело... Надо завтра сделать внеплановую обработочку моего кабинета. По полной программе: непосредственный осмотр, электронное сканирование... В общем, по полной. Чтобы с гарантией. Чтобы я был уверен, что меня не пишут. Насколько в наше время вообще можно быть в чем-то уверенным... И с завтрашнего же дня вплоть до особого распоряжения всех, кто ко мне сюда приходит, сканировать на предмет жучков. В одежде, в обуви, хоть в сережках или нательных крестиках, хоть в волосах... И меня самого на входе непременно проверяйте. Мало ли где могут воткнуть... — Он помолчал и добавил: — И главное — мало ли кто.

2

— Проходите, Константин Михайлович. Присаживайтесь. Где вам будет удобнее? Вам чертежи или диаграммы понадобится показывать?

— Пока обойдемся, наверное. Тут, Борис Ильич,

не в чертежах дело. До чертежей, может, и дойдет, но сначала мне бы хотелось изложить основную идею. Боюсь, она на вас произведет такое жуткое впечатление, что продолжения вы не попросите... А где сидеть... — Журанков смущенно улыбнулся. — Где посадите.

— Вот познакомьтесь, наконец, — тоже улыбнулся Алдошин. — Это и есть наш кормилец и поилец. Вы ведь еще не были представлены?

— Не довелось. — Наиль вышел из-за своего необъятного стола, обогнул его по длинной пологой дуге и ровно посреди кабинета приветствовал Журанкова крепким рукопожатием. — Но давно хотел. Рад. Рад встрече. Рад сотрудничеству. Наиль Файзуллаевич.

— Константин Михайлович, — ответил Журанков. — Спасибо вам. Честно сказать, вы меня очень выручили. А кроме того...

— Что такое?

Журанков решительным движением взлохматил волосы у себя на голове — думая, как всегда, что их пригладил.

— А кроме того, именно здесь я нашел свое счастье, — просто сказал он. Фраза прозвучала бы донельзя претенциозно, если бы не бесхитростный, чистый взгляд журанковских глаз. Он превратил почти пародийную гальванизацию слюнявой, из старого романа реплики в поразительную по искренности элегию в стиле ретро. И академику, и олигарху стало одинаково неловко. Оба ощутили себя кем-то вроде эксплуататоров детского труда. Привели, понимаешь, в свою каменоломню ребенка катать вагонетку со щебнем — неподъемную, быть может, и для атлета в расцвете сил.

— Это замечательно, — пряча глаза, уронил На-

иль и потащился назад, на свой капитанский мостик. Алдошин же неуверенно промямлил:

— Всей душой рады за вас и поздравляем...

Вот уж это точно словно бы вылетело из поместья в Орловской губернии с деревенькой в сорок душ. Разве что сам Журанков не почувствовал разительного несоответствия ситуации и беседы. Академик кашлянул и проговорил:

— Настал момент истины.

— Я догадался, — ответил Журанков. — Плазмоид мой, я так понимаю, в очередной раз никому не понадобился?

Простота этого человека была, конечно, не хуже воровства, но обескураживала. Обезоруживала. Если хочешь с ним наладить хоть какие-то отношения, подумал Наиль, надо быть откровенным, как на исповеди. Потому что сам Журанков ведет себя так, будто вся его жизнь — исповедь. Как он от такой беззащитности по сию пору не спятил...

А может, именно что спятил?

— Да фактически так, Константин Михайлович, — добродушно согласился Наиль. — Зачем нам совершенствовать телегу, когда можно сразу строить автомобиль? Вы садитесь, садитесь.

Журанков стрельнул глазами по сторонам и сел в то кресло, которое оказалось к нему ближе всего. Тогда и академик уселся у окна, спиной к сумеркам.

— Уверенности у меня нет, — с ходу признался Журанков. — Теория теорией... но... только эксперимент может ее подтвердить. Или опровергнуть.

Хорошее начало, саркастически подумал Наиль и проговорил:

— Вам бы, Константин Михайлович, агентом по рекламе работать.

— Почему? — искренне удивился Журанков. Он явно не понял юмора.

— Потому что вам сейчас следовало бы настаивать на своей правоте и стараться убедить нас, — едва сдерживая раздражение, подсказал Алдошин. Журанков недоуменно обернулся к нему:

— Борис Ильич, как я могу настаивать на своей правоте, если я в ней не уверен? Я же могу вас подвести.

Он совсем не боялся, что ему не поверят.

Скорее он боялся, что — поверят. Ему было так привычно и сладостно шлифовать свои построения в одинокой несуетной тишине, разворачивать в безлюдную и потому безропотную бесконечность хрупкие следствия второго, третьего и более высоких порядков, что он давно уже, собственно, и не жаждал ничего иного. Подвергать жизнь духа превратностям воплощения в реальность могло бы, не исключено, оказаться невыносимо. Он твердо знал: если этими людьми, позвавшими его для бесповоротного разговора, будет принято положительное решение — он честно все силы положит и пуп надорвет, чтобы выполнить обещанное; но именно поэтому сам к такому решению отнюдь не стремился. Лучше всего ему было просто думать.

— Рассказывайте, — с ноткой безнадежности в голосе произнес Алдошин.

— Только подробно и популярно, — добавил Ниль. — Я ведь не специалист.

Журанков помедлил.

Он знал два рода популяризаторов. Одни, сами того, возможно, не сознавая, главным образом стараются показать, как много они знают и как поразительно разбираются в своем предмете — гораздо лучше лю-

бого из тех, к кому обращаются. Такие говорят и пишут цветисто, вычурно, причудливым зигзагом, к делу и не к делу цитируя то Заратустру, то Ахматову, хотя речь идет всего-то, скажем, о теореме Геделя. Неспециалист, попав, как под бомбежку, под такую попытку вогнать ему ума, очень быстро перестает понимать, где тут очередное звено логической цепочки, а где всего лишь демонстрация поразительной образованности автора. Где живой стебель растущего смысла, а где — навязанные на него тряпичные банты самолюбования. Увлечь дилетанта и, тем более, добавить ему знаний такие деятели не способны.

Другие взаправду стараются что-то втолковать, и поэтому зачастую сами могут показаться дилетантами; им приходится говорить попроще, мучительно и не всегда успешно избегать специальной терминологии, находя ей хоть какие-то соответствия в обыденном языке, а главное — отсекают все мало-мальски лишнее до лучших дней, до момента, когда слушатель или читатель, уже увлеченный, уже заинтригованный, вернется, быть может, к проблеме и постарается разобраться в ней всерьез.

Не исключено, что для напускания тумана и выбивания миллионов первый метод эффективней. Однако отчего-то именно второй возобладал на Западе; видимо, там, если уж какой-нибудь нобелевский лауреат решает поделиться с народом своими уникальными познаниями, он отдает себе отчет: люди будут платить деньги именно за то, что он им что-то ОБЪЯСНИТ, а не за сомнительное удовольствие глянуть снизу вверх на его могучий интеллект и редкую начитанность.

И потом, Журанков слишком любил быть понятым. Древнее киношное заклинание «счастье — это когда тебя понимают» — идеал не только личной жизни.

Для ученого это порой еще нужней. Если выполз из своей ракушки и открыл рот — пусть уж сей подвиг случится не впустую.

Сейчас он испытывал странную двойственность. Какой-то змей-искуситель подзуживал его изложить дело как можно более сложно и как можно менее убедительно. Чисто по-ученому. В результате ряда преобразований получаем, что... Тогда, он был в этом уверен, его сочтут просто психом и выставят вон. И все останется спокойно, без перемен. Можно будет до конца дней ехать на давно уже ставших рутинной, исполняемых хоть пяткой расчетах переменной аэродинамики плазменного облака, никому, судя по всему, не нужных, наслаждаться общением с сыном и безумствовать с молодой подругой так, как в первой жизни ему и не снилось. А по вечерам вылизывать никем, кроме него самого, не виданные и уже хотя бы поэтому безупречные тензоры и тешить воображение почти осязаемой близостью чудес.

Но ужас в том, что это было бы нечестно.

Смелее, сказал я ему.

Он глубоко вздохнул. Выбора у него, собственно, не оставалось. Бывают в жизни моменты, когда, если не шагнуть вперед, на месте не останешься, и вместо вожаденного покоя получишь напряженное, изматывающее откатывание далеко назад. Поступить нечестно Журанков не мог. Но, чтобы быть честным, нужно, оказывается, не просто решиться, но и нескончаемо стараться.

— Оговорюсь сразу: с телепортацией реально экспериментируют уже почти пятнадцать лет. Мало кто об этом знает, потому что нас уверили: наука уже все главное открыла и теперь занимается только совершенствованием технологий. Даешь, мол, наноконтра-

цептивы, а все остальное — заумь. На самом деле именно сейчас открываются совершенно новые пространства. Наверняка еще более завораживающие, чем после открытия деления урана. Еще в две тысячи третьем швейцарцами был телепортирован на два километра целый фотон. Годом позже удалось телепортировать целый атом бериллия. Люди работают всю, хотите верьте, хотите нет. Но там совсем иная методика. На мой взгляд — тупиковая. Или, во всяком случае, переусложненная, чересчур обходная. Однако на данный момент именно и только она реальна, а то, о чем буду говорить я... ну...

— Поведайте нам еще о журавле в небе, — ободряюще сказал Алдошин. — А то мы ни разу о нем не слышали.

Журанков смущенно улыбнулся.

— Понимаете, в теоретической физике некоторые открытия, даже самые фундаментальные, иногда начинаются просто с того, что для прежней картины мира перестает срабатывать математический аппарат, — без разгона бабахнул он. — Вот самые грандиозные концепции двадцатого века — общая теория относительности и квантовая механика. Внутри самих себя они объясняли мир с поразительной точностью. Теория относительности прекрасно годилась для всего очень большого — звезд, галактик, космоса, а квантовая механика для всего очень маленького — атомов, элементарных частиц. Но любая попытка обе концепции совместить и описать с помощью какого-то их синтеза одновременно и очень большое, и очень маленькое, постоянно приводила к математическим бессмыслицам. А это же непорядок. Это как чесотка — зудит, зудит... Когда одни фундаментальные законы мироздания противоречат дру-

гим столь же фундаментальным законам, невозможно спокойно жить.

Свежая мысль, подумал Наиль, стараясь не улыбнуться. Мне бы ваши проблемы, господин учитель...

Жаль, прошло то яркое время, когда и я так полагал, горько подумал Алдошин. Но если один лучший сотрудник уезжает, а двух других сокращают, если сверху вдруг сообщают, что финансирование будет урезано, если на носу выборы в Президиум, если то и дело прокатываются грозные слухи о реформе и чуть ли не о разгоне, потому что стало наконец понятно, кто именно разорил стану — конечно, Академия со своей пустопопорожной наукой; если старый дачный поселок, единственное место, где в последние два десятка лет ты только и мог хоть как-то вздохнуть, вдруг оказывается построенным незаконно, а по закону там должен быть бизнес-центр — все остальное мироздание отчего-то очень быстро становится непротиворечивым. Как это у Чехова в пародии на Жюль Верна? Кислород — химиками выдуманный газ. Утверждают, будто без него жить невозможно. Вранье. Без денег только жить невозможно...

— Было сделано, — продолжал Журанков, как привык с учениками: неторопливо, но без малейшей усыпляющей монотонности, — несколько попыток примирить эти противоречия. На данный момент наиболее успешной такой попыткой является теория струн. Про нее можно много рассказать интересного, однако нас должно интересовать только вот что. В-первых, этой теорией постулируется, что все элементарные частицы являются не самостоятельными разнородными объектами точечной величины, но различными видами колебаний одних и тех же объектов, чрезвычайно малых, но все же имеющих физиче-

скую протяженность. Принято в пояснение приводить такой пример: на одной и той же струне можно сыграть разные ноты, увеличивая или уменьшая частоту колебаний. В этом примере разные ноты являются аналогами разных элементарных частиц. И второе: чтобы получить из струн все уже реально известные элементарные частицы, оказалось необходимым предположить, что струны колеблются не только в трехмерном нашем обычном пространстве, а плюс еще в особых, чрезвычайно малых многомерных пространствах, называемых многообразиями, или пространствами, Калаби — Яу. Это по именам двух математиков, открывших их чисто, что называется, на кончике пера. Такие пространства, поскольку они очень малы и очень плотно упакованы, существуют в каждой точке трехмерного мира. И вот струны и компактифицированные пространства Калаби — Яу оказались чем-то вроде вспененного полиэтилена, идеальной амортизирующей прокладкой, которая позволила посадить общую теорию относительности на квантовую механику с ненулевым зазором и тем снять математические противоречия между ними. Я понимаю, что сейчас все это не очень понятно, но это и не важно: я гоню галопом по Европам, чтобы как можно скорее рассказать об уже известном и перейти к тому, о чем никто, кроме меня, еще не подумал.

— Ах, вот оно что, — проговорил Наиль. — Я-то было решил...

Он не стал продолжать. Он и сам не знал, что мог бы сказать в продолжение. Иронизировать было бессмысленно, прерывать было глупо, требовать разъяснить то, что звучало непонятно, было еще глупей. Поначалу ему казалось, будто он, человек грамотный, отнюдь не лишенный здравого смысла, вполне натас-

канный думать, сможет угнаться за этой шалой абракадаброй. Первые фразы и впрямь оказались внятные; но потом накатила мгла. Надо быть полными психопатами, чтобы заниматься вот такой наукой, думал он. С рождения иметь мозги набекрень. Скажем, после родовой травмы. Башка лезла боком, с сильным креном на ухо... Он глянул на Алдошина — тот оставался совершенно спокоен и подчеркнуто внимателен. Так учитель слушает правильный ответ ученика. Ну, хоть для академика, подумал Наиль, это все, вроде бы, не бред... Но что с того толку? Еще не хватало, чтобы они сейчас затеяли научный диспут и принялись увлеченно спорить по частностям. Надо полагать, тогда вообще не дождешься ни одного человеческого слова. Наиль уже понял: решать придется чисто интуитивно. Этот странный субъект может говорить еще хоть полчаса, хоть час, и академик может потом в ответ плести хоть до утра свое академическое «с одной стороны, с другой стороны» — но ему, Наилью, решение придется принимать на уровне «верю или не верю». Сегодня. Уже почти сейчас. Вот Журанков еще поговорит, и придется, Наиль опять ощутил, как внутри него все дрожит.

— Но струнная теория начала развиваться очень бурно, и уже в ней самой возникло несколько школ. И многие их построения опять-таки противоречат друг другу. При этом ученые уверены, что каждая из школ выхватывает какую-то часть одной и той же реальности, не видя остального. И все ждут не дождутся, когда можно будет найти или понять нечто такое, что объединит школы, снимет противоречия и позволит из нескольких частных теорий создать наконец одну, исчерпывающую и всеобъемлющую. И посте-

пенно, короткими перебежками, каждый по кирпичику, такую теорию, судя по всему, физики создают.

— Да, я того же мнения, — подал голос Алдошин. Наиль коротко посмотрел на академика: иронизирует, нет? Похоже, нет. Похоже, так он дает знак, что все, до сих пор сказанное Журанковым, соответствует действительности.

— Я очень рад, — улыбнулся Журанков. — Сейчас я расскажу про свой кирпичик, и должен еще раз оговориться: я полагаю, что это все так и есть, но доказать не могу ни логикой, ни экспериментом, ни ссылкой на авторитеты или хотя бы единомышленников. Постараюсь говорить как можно короче.

— Какая скромность, — проговорил Наиль.

Журанков помолчал, а потом смущенно ответил:

— Просто ответственность...

— Хорошо, — сказал Алдошин. — Пусть так. Давайте, Константин Михайлович, не томите.

Журанков опять улыбнулся.

— Не томлю. Но прежде чем рассказать про кирпичик, надо дать вводную еще к одной теории. Вы уж простите, но с точки зрения здравого смысла она окончательно нелепа. До сих пор со струнной теорией ее всерьез никто не увязывал, но, по-моему, подсознательно какую-то связь многие чувствуют, потому что вечно к делу и не к делу поминают Эверетта.

Наиль мельком глянул на Алдошина. Он вообще теперь чаще посматривал на академика, чем на Журанкова, уже пытаясь ловить не столько объяснения мечтателя, сколько мимику эксперта. Алдошин смолчал, но, судя по тому, как скривилось его лицо, можно было понять: академик понял, о какой теории пойдет речь, и перспективу иметь с ней дело ощутил примерно как перспективу взять лимон и, кусая большими

кусками, сжевать его с кожурой. Трачу время, подумал Наиль с досадой. Трачу время... Но что-то мешало ему прервать Журанкова и после нескольких формально благодарных слов вежливо распрощаться. До терплю, решил он.

— Эверетт еще полвека назад предложил гипотезу, прямо вытекающую из нескольких ключевых положений квантовой механики, но звучащую вполне безумно. Согласно ей, не имеет смысла говорить о большей или меньшей вероятности тех или иных событий, например, в связи с принципом неопределенности, потому что в каждый момент времени реализуются все возможные варианты развития событий. Наш мир не уникален, более того, он даже не один из стационарных параллельных миров. Он постоянно порождает, ответвляет свои варианты, отличающиеся в одной мелочи, в двух мелочах, в трех — в зависимости от того, какой выбор, выбор между чем и чем в данный момент происходит. Каждый из миров равен самому себе лишь в течение бесконечно малого промежутка времени от одного ветвления до другого. Но наше сознание, как правило, неспособно ветвиться. Поэтому для обычного человека жизнь — это линейная череда событий, перетекающих одно в другое. Если какое-то сознание пытается после ветвления наблюдать и осознавать хотя бы два варианта на равноправной основе, это чревато шизофренией.

— Ах, вот откуда психи берутся, — не сдержавшись, пробормотал Наиль.

— В том числе и отсюда, — серьезно ответил Журанков. Наилью снова стало неловко. В конце концов, мы его сами попросили рассказать обо всем этом, подумал Наиль.

— Молчу, молчу, — сказал он. — Простите.

— Да я понимаю, что я сейчас для вас сам, как шизофреник, — просто ответил Журанков. — Я стараюсь короче. Я скоро закончу. Я предположил, что во всех пространствах Калаби — Яу постоянно происходят осцилляции так называемых склеек Эверетта — Лебедева. Самое вероятное тому объяснение — то, что постоянное декогерирование миров при ветвлениях вызывает напоследок столь же постоянные интерференционные всплески. Можно в качестве очень далекой, очень грубой аналогии представить, скажем, как раскалывается скала. Именно когда уже побежала трещина, обе части, которые вот-вот уже станут двумя самостоятельными каменными глыбами, в последний раз вздрагивают в унисон. Как нечто целое. Но дело в том, что тут это происходит постоянно. Более того, речь идет об очень коротких промежутках времени и очень малых размерах. По имени физика Планка они называются планковскими — планковское время, планковская длина... Попробуйте только представить: в секунду, в каждую одну секунду колебания происходят... нет такого слова. Количество осцилляций в одну секунду измеряется числом с сорока тремя нулями. Миллиард, чтоб вы помнили — это девять нулей.

— Мы помним, — проворчал Алдошин.

Журанков смутился.

— Да, конечно, — покаянно кивнул он. — Я увлекся, простите. Хочется попонятнее...

— У вас это на редкость хорошо получается, — вежливо произнес Наиль.

Журанков на миг задумался, потом сказал:

— По-моему, вы пошутили. Значит, что-то я сказал не так...

— Уж договаривайте.

— Собственно, этим все сказано. Не спрашивайте, откуда мне пришла эта мысль. Сам не знаю. Хотя, может быть, мне просто эмоционально очень близка идея нерушимого единства, постоянного перемешивания, синтетического богатства всего на свете. Может, эта идея — просто мой личный выход из одиночества... Но получается, что в каждую планковскую секунду каждый кусочек пространства с размерностью одной планковской длины, а следовательно, все, что с этим кусочком связано, например, та или иная струна, как бы перелетает из мира в мир. Ну, не совсем перелетает, скорее — поворачивается другим, более заметным и жирным, так сказать, боком... Ладно, это уже частности, это не сейчас... А планковская длина — это десять в минус тридцать пятой. То есть число этих кусочков в каждом миллиметре измеряется числом с тридцатью двумя нулями. А если брать по кубу...

— А миллиард, чтоб мы помнили — это девять нулей, — сказал Алдошин с добродушной улыбкой. Он сидел, как дома перед телевизором — нога на ногу, руки вальяжно сцеплены за головой.

— Именно, — быстро обернулся к нему Журанков и снова уставился на владыку. Тот давно одеревенел в вежливо-внимательной позе: локти на столе, подбородок на сплетенных пальцах, неподвижный взгляд — сквозь Журанкова. Оглушительно лязгали часы в углу.

— Продолжайте, Константин Михайлович, — сказал Наиль. — И не бойтесь нас утомить.

— Вы забыли добавить: потому что уже это сделали, — улыбнулся Журанков.

В чувстве самоиронии ему не откажешь, подумал Наиль. Психам оно не свойственно. Может, он все-таки нормальный?

Но тогда, стало быть, во всем, что он говорит, есть какой-то смысл?

Знать бы только — какой.

Был старый анекдот про остановившиеся часы: дважды в сутки они показывают абсолютно точное время, только вот никто не знает, когда...

— Каждый путь нужно пройти до конца, — сказал Наиль. — Продолжайте.

— Воля ваша, — ответил Журанков. — Должен еще раз оговорить: мне неизвестно, так оно все или не так. Мне неизвестно, и никому в мире не известно, лежат струны на самом деле в основе сущего, или нет. Никому не известно, есть ли на самом деле в каждой точке трехмерного пространства многообразие Калаби — Яу, или нет. Единственно, почему имеет смысл говорить об этих моих упражнениях — так только потому, что сделанное мною допущение каким-то волшебным образом в чисто математическом аспекте сняло очень многие противоречия между разными струнными концепциями. Стало быть, возможно, оно является неким значимым шагом к построению вождеденной теории, которая должна эти концепции объединить и продвинуть нас на новый уровень понимания структуры мироздания. И в этом смысле — и только в этом — мое предположение оказывается подтвержденным. Кроме того, оно позволяет вполне по-новому и довольно плодотворно посмотреть на проблему темной материи и темной энергии... Вокруг каждого крупного объекта возникает ореол из тонкодисперсного вещества, постоянно выщербляемого осцилляциями из одних миров в другие, — он состоит из частиц, каждая из которых пребывает в нашем мире одну планковскую секунду, поэтому не успевает ни на что воздействовать, ни с чем прореа-

гировать, и лишь всей своей суммарной массой сказывается на гравитации, а поэтому... Ладно, об этом не сейчас.

Он вздохнул. Ему очень хотелось рассказать еще и о темной энергии, потому что с учетом его предположения ее расталкивающее галактики воздействие можно было интерпретировать как косвенное подтверждение наличия среди ветвей мира многочисленных вариантов из антивещества. Это было страшно интересно. Но не для тех, кто его сейчас слушал, — он это прекрасно понимал.

— Теперь посмотрим, — сказал он, — что из данного допущения следует важного для нас. Из него следует, что между всеми ветвящимися мирами постоянно происходит перекачка. Конечно, перепрыгивание из мира в мир одной струны или двух ничего не меняет ни в том мире, из которого был осуществлен прыжок, ни в том, куда он осуществился. Для того, чтобы был проявлен в новом мире какой-то существенный объект, размером, скажем, с молекулу, должны одинаково вздрогнуть в резонанс очень многие пространства Калаби — Яу, находящиеся с точки зрения трехмерного наблюдателя рядом. Вероятность этого очень мала. Гораздо меньше, чем... ну... чем если бы все на свете китайцы, не стовариваясь, одновременно почесали левой рукой правое ухо. Но при том, что осцилляции происходят чрезвычайно часто, в секунду — число с сорока тремя нулями, даже очень малые вероятности время от времени реализуются. И не только объекты размером с молекулу могут словно бы ни с того ни с сего перелетать с одного отростка мира на другой, но и предметы куда более крупные. Ваш мобильный телефон, например, или серьги вашей жены. Тогда вы какое-то время будете

их безуспешно искать в том месте, куда их вчера положили, и чесать в затылке, недоумевая, кой черт их унес. Просто чем больше объект — тем меньше вероятность того, что осцилляция случится с захватом именно всего составляющего его вещества.

— Погодите, — насторожился Наиль; перспектива бесследного исчезновения сережек жены неожиданно оказалась тем осязаемым примером, который смог вернуть ему нить рассказа. — То есть вы хотите сказать, что, например, и вся Земля может вдруг в один прекрасный день ухнуть куда-то в прорву?

Журанков улыбнулся, довольный, что хоть что-то сумел втолковать.

— Именно, — сказал он. — Но вероятность такого события во столько раз меньше вероятности переноса мобильного или серег, во сколько раз пространств Калаби — Яу в объем мобильного или серег укладывается меньше, чем в объем планеты. Я даже боюсь называть число нулей... — лукаво добавил он, покосившись на Алдошина.

Наиль снял со сплетенных пальцев немного затекший подбородок и уложил руки на стол. Покачал головой.

— Те же явления, кстати, могут происходить и с людьми, — как бы невзначай добавил Журанков. — И во всяком случае с химическими веществами, которые обеспечивают процесс мышления и запоминания в мозгу. Некоторые ученые даже постулируют существование таких интегральных индивидуумов — личностей, в какие-то моменты обладающих суммарной полнотой знаний, которыми располагают их разветвившиеся близнецы во всех ветвях мира. Я так далеко не иду, я просто не думал об этом всерьез, тут можно заиграться. Например, относительно легко

предположить периодическое возникновение таких сознаний, которые объединяются склейками между дублирующими друг друга индивидуумами с разных ветвей. Скажем, между мной теперешним и мной, который живет в мире, который возник из-за того, что я струсил и отказался пойти к вам сегодня на это собеседование. Но тогда логически можно вывести и периодическое склеивание всех вообще сознаний всех разумных существ во вселенной, на всех ее ветвях. Это прекрасная абстракция, но уж слишком... Слишком мелодраматичная. Получим пульсирующего Бога, который воистину всеведущ, но никак не всемогущ. Способен только время от времени подсказывать с высот своей информированности... И все. Что нам с ним с таким делать? В эти дебри лучше не соваться... Однако вот по мелочи. Например, свидетели, дающие совершенно разные описания одного и того же простенького события... Историки, с пеной у рта спорящие о, казалось бы, очевидных фактах... Они вполне могут не отдавать себе отчета, откуда их предубежденность — а она от того, что когда-то какие-то молекулы памяти залетели к ним с иных ветвей мира, из мозга тех их близнецов, которые живут не здесь, а там. Ну я же знаю, что Александр Невский разбил шведов на Неве! Ну я же знаю, что никакой битвы на Неве вообще не было! Я точно знаю, что коммунизм — это светлое царство справедливости, доброты и безграничного познания. А я точно знаю, что коммунизм — это террор, лагеря и повальная нищета...

— И что все это нам дает? — деловито и уже несколько нетерпеливо спросил Наиль.

— Сейчас. Может, кто-то из вас в детстве увлекался фантастикой, как я... — Он обвел обоих собеседников вопросительным и немного застенчивым взгля-

дом. Алдошин кривовато усмехнулся. А Наиль вдруг добродушно посмотрел на академика и спросил:

— Помните, Борис Ильич, как мечтательно вы одиннадцать лет назад напомнили мне про звездолет фаэтонцев, притаившийся у горного озера на Венере? Я тогда чуть не всплакнул...

— Да будет вам, Наиль Файзуллаевич, — смутился академик.

— А что? Мы именно так и нашли общий язык. «Ту-ут, ту-ут, ту-ут», — пели далекие маяки... Помните?

Алдошин глубоко вздохнул.

— Эх... — сказал он. Помедлил и добавил: — А ведь действительно пели...

Журанков не прерывал их, но видно было, как он обрадован этим коротким и словно бы зашифрованным диалогом; он явно знал к этому шифру все ключи. Он немного выждал, но, поняв, что обмен шифровками окончен, тихо сказал:

— Тогда вы меня поймете. В свое время Стругацкие в «Попытке к бегству» описали сверхсветовое перемещение так: с точки зрения земного наблюдателя корабль был размазан в пространстве от Земли до цели.

Он помолчал, задумавшись. Потом признался олигарху и академику, точно родным:

— Знаете, эта фраза решила мою судьбу, наверное. Сказано так красиво, так образно и так понятно, что мне позарез захотелось узнать, неужели нельзя и взаправду этак вот вырастать от звезды к звезде. С тех пор, собственно, и стараюсь выяснить... Конечно, тогдашняя простота теперь уж немыслима. Полвека назад даже стандартная модель еще не устоялась, о ее противоречиях с теорией относительности даже не думали, и надежды были связаны всего-то с изменениями кривизны пространства... Но на самом деле

положение хоть и сложнее, но лучше. Благодаря осцилляциям склеек мы все, каждый из нас, размазаны по всем мирам мультиверса и по всем местам в этих мирах. Вот что важно понять. С той или иной степенью вероятности каждый из нас присутствует в любом месте во вселенной. Другими словами: мы все уже везде побывали. И продолжаем бывать. И не только как волновая функция, но и вполне во плоти.

Он многозначительно умолк. Надо что-то ответить, подумал Наиль; но что на такое может ответить нормальный человек?

— Ничего подобного не помню, — после некоторой паузы с сожалением сказал он.

— Естественно, — ответил Журанков. — Вот второй постулат. Такая массивная склейка оказывается неизбежно связана с материальным перекосом. Вы в основном оказываетесь уже не в этом мире, а в том. Но количество материи в каждой из вселенных есть ее фундаментальное свойство. Это даже не информация, то есть только для нас это информация, а для самой вселенной это ее атрибут. Вселенной не надо ощупывать и взвешивать себя всю, чтобы выяснить: добавилось семь кило. Поэтому она вся реагирует мгновенно, и запрет на превышение скорости света тут не нарушается. Если количество материи в одном из миров оказывается из-за склейки превышенным, а в другом — урезанным, то происходит немедленный возврат. Выброс. Это два непрерывных и уравновешивающих друг друга процесса: перелетание в мир иной из-за осцилляций и вышвыривание обратно из-за перекоса массы. Поэтому после склейки объект любого размера живет в чужом мире, как правило, только одну планковскую секунду. Ясно, что никакое сознание не успевает этого заметить. Но. Но. В момент обратно-

го перехода возникает вилка возможностей... В этой вилке, строго говоря, три зуба. Во-первых, возможен прямой обмен: перепорхнувший в иной мир объект оказывается мгновенно заменен родственным ему объектом, соседним отростком того же объекта. В этом случае вы, например, можете обнаружить у себя на полке тот же самый томик Пушкина, что знаком вам с детства, но, скажем, другого года издания. Такое сколько угодно бывает в быту: вы точно помните, что пятьдесят шестого, а взяли перечесть любимое на сон грядущий, и там черным по белому: шестьдесят второй. Вы некоторое время будете в недоумении, но в конце концов решите, что память вас подвела, и там всегда был шестьдесят второй... Но бывают более сложные варианты. Я не стану сейчас даже пытаться объяснить, что их обуславливает, хотя математически у меня все это проанализировано, но... суть вот в чем. Если не происходит прямой обмен, то...

Как убежденно он говорит, думал Алдошин. Странно. Я, честно говоря, ждал, что он будет горячиться, волноваться... Особенно памятуя то, с чего он начал. У него же нет никакой уверенности, он сам об этом прямо заявил, едва войдя. Но теперь рассказывает так, будто элементарные уравнения решает. Если а возвести в степень бэ, получим цэ. А вот все же начал плутать: явно говорит об одном и том же явлении, но называет то его сцепленным состоянием, то спутанным. Впрочем, будем справедливы: возможно, эта наука еще слишком молода и не устоялись термины. Атомную бомбу поначалу называли урановой, и оба названия некоторое время сосуществовали. Космодром в первые годы называли ракетодромом...

Алдошин испытывал какое-то странное тоскливое восхищение. Если бы все, что этот пожилой ребенок

говорит, оказалась правдой... Если бы.... Тогда, подумал он, и сердце кольнула зависть; тогда...

Тогда я, горько подумал он, я, при всех моих достижениях, при всех регалиях, при всем, что вопреки обвалившейся лавине ухитрился, надрывая жилы, сделать для сохранения хоть каких-то остатков своей науки в развалившейся и разворованной стране — я все-таки вошел бы в историю; и только потому, что помог реализоваться вот этому седому малютке.

И в следующее мгновение Алдошин понял, что пошел бы на это. Пошел бы хоть на полное личное забвение — лишь бы то, о чем рассказывает Журанков, оказалось правдой. Такой переворот... Такой... Нет слов...

И зависть отпустила. Осталось лишь восхищение изяществом предлагаемых головоломных построений — и глухая тоска от того, что он не мог в них поверить.

— Ту вселенную, куда вас забросило на одну планковскую секунду, летчик называл бы аэродромом подскока, — говорил тем временем Журанков. — Уже в следующее мгновение вы снова оказываетесь в исходном мире, в том, откуда вас вынесло. Но вот что важно: не обязательно там, где были до склейки. Потом вы все равно вернетесь, но — побывав где-то в другом месте нашей вселенной.

— Что-что? — отвлекшись от своих мыслей, подал голос академик.

А Наиль подумал: то ли он наконец понял, к чему Журанков клонил во время всей этой несусветной лекции, то ли именно на этом месте он потерял нить. Журанков проворно обернулся к Алдошину.

— Сильно подозреваю, — сказал он, — что люди, которых время от времени находят после долгого необъяснимого отсутствия, шокированные, травмиро-

ванные, потерявшие память, испытали нечто в этом роде. Для нашей задачи тут важно вот что. Расхождение вселенных ведь могут быть самыми разными. Не только в том, была или не была Невская битва. Но и в движении звезд, галактик, конфигурации туманностей и созвездий... Где-то Зодиак не совсем таков, где-то между Солнцем и иными звездами расстояния несколько иные. И может получиться, — он снова повернулся к Наилу, — что точка склейки во вселенной подскока в трехмерной проекции обратно на исходную, на нашу вселенную окажется на Луне. И соответственно вас выбросит не за ваш письменный стол, а на Луну. А вернуть сюда, за стол, вас или то, что от вас осталось, сможет только обратный переход через секунду, месяц, год, сто лет. Вот так устроен мир. Все точки нашей вселенной лежат от нас ровно в двух переходах, и, соответственно, на перемещение в любую точку нужно две планковских секунды. Одна — на переход в мир подскока, другая — на переход обратно в исходный мир, в наш, в ту его точку, куда мы хотим попасть. Ну и, соответственно, таков же будет обратный путь. Главное — высчитать ту вселенную, в которой точка склейки окажется проекцией на цель.

Он умолк.

В нем будто кончилось горючее; слишком много было сказано, он еще никогда и никому не говорил и сотой доли того, что сказал сейчас этим двум. Собственно, он вообще ничего никому об этом не говорил. И он видел — они либо не верят, либо не понимают, либо, скорее всего, и то, и другое разом.

— Хорошо, — тяжело сказал Алдошин. Сгорбившись, он глядел на Журанкова тяжелым взглядом исподлобья. — Давайте тогда уж действительно прой-

дем наш сегодняшний путь до конца. Как вы все это представляете себе технически?

— Примерно так, — негромко ответил Журанков. — Осцилляции стохастичны, но не только. Они подчиняются неким законам. Еще не вполне познанным... да Господи, совсем не познанным! Но такие законы наверняка есть. Например, знаменитый двухщелевой эксперимент Юнга. Если бы усредненная хаотичность осцилляций не дополнялась при каких-то конкретных условиях какими-то конкретными регулирующими закономерностями, даже этот элементарный эксперимент давал бы совершенно иной результат. Фейнмановское понятие интегрирования по траекториям тогда вообще утратило бы физический смысл.

Наиль не понял ни слова из этой абракадабры и лишь в очередной раз покосился на академика. Тот хмурился, но не так, как хмурятся от недовольства или раздражения, а так, как от тяжелого раздумья. Ладно, подумал Наиль, это их разборка. Но как, однако, затянулся вечер...

— Вот примерно это нам и надлежит сделать самим, — совсем уже тихо закончил Журанков. — Интегрированием путей до нужной нам точки нашей вселенной вычислить вселенную подскока, а затем спровоцировать синхронную осцилляцию, которая переклеит в нее нужный объект. О выбросе переклеенного объекта из вселенной подскока в нужную нам точку нашей вселенной мир, благодаря возникшему перекосу масс, позаботится сам. Если уж говорить о технике, я попробовал бы подобрать такое лазерное облучение, что могло бы вызывать надлежащий резонанс в пространствах Калаби — Яу. Вычисления дают очень приближенные результаты — тут придется помучаться, подбирая частоты и... прочие параметры.

— Надеюсь, коллаидер для этого строить не понадобится? — громко спросил Наиль.

Оба ученых вздрогнули от неожиданности. Похоже, о том, от кого все тут зависело, они начисто позабыли, уйдя в свой странный мир. Потом Журанков улыбнулся.

— Нет, конечно, — сказал он с необъяснимой нежностью. — Мы ведь не собираемся ничего ломать, крушить, расщеплять. Мы просто попробуем уговорить природу делать для нас то, что она и так все время делает сама. Никаких сумасшедших энергий и никаких сумасшедших денег. Только блок суперкомпьютеров в десятки терафлопс как минимум, лучше, конечно, в сотни. Ах, если бы уже квантовые всерьез были... И пакет лазеров. Так, чтобы можно было варьировать когерентности. И все.

Наиль, глядя прямо перед собой, некоторое время жевал губами сустав указательного пальца, а потом, вскинув глаза на Журанкова, сказал, постаравшись, чтобы тон остался предельно дружелюбным:

— Не считите за неуважение, дорогой Константин Михайлович... Не могли бы вы несколько минут подождать в приемной. Я хочу парой фраз перекинуться с товарищем академиком.

Журанков с готовностью встал.

— Да, разумеется, — сказал он и быстро вышел из кабинета.

— Что скажете, Борис Ильич? — спросил Наиль, когда дверь закрылась.

Академик долго молчал, а потом ответил:

— Ничего.

— Так-таки и ничего?

— Могу сказать цитату: складно звонит мусорок.

На эту реплику моих познаний в квантовой механике еще как-то хватает, на большее — увы.

— А привлекать сторонних людей...

— Нежелательно, я понимаю.

— Более чем нежелательно. В случае огласки, если неудача — общий смех навеки, полное отторжение от бизнеса и, не исключено, психушка. А в случае удачи — у нас все отбирают как супероружие, а от нас более или менее корректно избавляются. Когда такие ставки — слюни распускать никто не будет.

— Даже вы, я полагаю.

— Да, — просто согласился Наиль, — даже я. Скажите мне вот что, Борис Ильич. Вы в это верите?

— Нет, — мгновенно ответил академик. Но, прежде чем Наиль успел что-то произнести, продолжил: — Такие открытия так не делаются. Слишком уж просто и невзначай человек преворачивает все наши представления. Но и логических противоречий у него я не вижу. А в то, что Солнце крутится вокруг Земли, тоже долго никто не верил. И если меня моя старая мозга не ошибает, Эйнштейн так и не поверил в квантовую теорию вообще.

— То есть вы, ученый, как бы эксперт, ни хрена не верите в эту галиматью, но меня, который в физике не смыслит, ненавязчиво и тактично провоцируете поверить и к тому же рискнуть последними деньгами? Хитер бобер!

Алдошин только молча развел руками.

Понятно, подумал Наиль. Нам, татарам, все равно...

Но это, подумал он, последний мой шанс. Меня так на так съедят, уже видно. К трубе я не присосался, высокотехнологичные иностранные партнеры в гробу меня видали, их уже всех расхватали более ух-

ватистые ребята. Которые не читали про ту-ут, ту-ут далеких маяков. А если и читали, то давно плюнули.

Вдруг ни с того ни с сего припомнилась из раннего детства бессмысленная то ли частушка, то ли считалка, этакая вариация сказки про белого бычка. Дед с юмором называл ее гимном пролетарскому интернационализму. Я сидел на пню, я хлебал грибню, подошел ко мне татарин, меня по уху ударил, я схватил его за грудь, притащил его на суд. Уж ты, батюшка судья, рассуди наши дела. А каки ваши дела? Я сидел на пню, я хлебал грибню, подошел ко мне татарин, меня по уху ударил, я схватил его за грудь, притащил его на суд. Уж ты, батюшка судья, рассуди наши дела. А каки ваши дела? Я сидел на пню... И так далее, пока не осточертеет.

В наше пореформенное время, подумал Наиль, это скорее можно было бы назвать гимном правовому обществу.

А если вдруг победа...

Тут он понял, почему ему вспомнилась эта считалка. Сколько можно сидеть на нефтяном пню?

Подошел татарин, ударил по уху всех сырьевиков и сделал свою страну галактической державой.

А себя, отметим на полях — монополистом производства средств сверхсветовой коммуникации.

Это звучало, как токката.

Снова его затрясла внутренняя дрожь, и дыхание перехватило.

Да разве только в Галактике дело? Даже здесь, на своей Земле, кто, если станет так, согласится по старинке юродствовать, связываясь с падучими самолетами и гремучими поездами? С теснотой и сутолокой дорог, с гололедом и заносами, с вонью бензина?

Кому сейчас, когда море пропахано круизными

лайнерами и выглажено ховеркрафтами, нужны галереи с рабым приводом?

А подумать только, каким чистым станет море.

Когда в переплавку пойдут все ховеркрафты, ревущие так, что чайки глохнут, все сочащиеся мутным жиром танкеры-шманкеры, вся эта давящая ржавь, а по синим волнам, с хохотом упиваясь пролетарским интернационализмом с улыбочивыми дельфинами, помчатся лишь загорелые и счастливые живые на серфингах...

Скажи мне, о чем ты мечтаешь, и я скажу тебе, кто ты.

Наверное, подумал Наиль, я сумасшедший.

Он встал. Медленно, чуть вперевалку пересек кабинет и открыл дверь в приемную. Усмехнулся: Журанков сидел, как примерный школьник в ожидании результатов экзамена: коленки вместе, руки на коленках, взгляд прямо перед собой.

Обаятельный человек, подумал Наиль. Это важно? Нет. Не знаю. Пожалуй, важно. Жаль будет, если это все бред. Кажется, я поверил. Кажется, я просто хочу сам, чтобы у него получилось.

Марсианский саксаул появится в каждом цветочном ларьке и упадет в цене?

— Константин Михайлович, вернитесь, пожалуйста, из вселенной подскока обратно в исходный мир, — мягко позвал Наиль. Журанков, просияв благодарной улыбкой, встал.

Несмело озираясь, он подошел к своему креслу и остановился, не зная, садиться или нет, и все-таки сел на краешек. Тогда Наиль, зачем-то сделав петлю мимо сидящего Алдошина и обменявшись с ним взглядами, которых, собственно, не поняли ни тот, ни дру-

гой, подошел к Журанкову почти вплотную. Тот сразу опять поднялся.

— Константин Михайлович, я вот что еще хотел уточнить, — сказал Наиль.

— Да? — с готовностью ответил Журанков.

— Вы же умный человек. Вы понимаете, что готовы вот сейчас начать делать сверхоружие, от которого нет защиты? Вам не страшно? Или вы просто сами не верите в успех?

У Журанкова дрогнуло лицо. Явно он ожидал какого угодно вопроса — но не этого. Но он не опустил глаз; наоборот, в их глубине загорелся какой-то новый огонь.

— Я очень рад, что вы своим вопросом дали мне возможность сказать еще и об этом, — проговорил он после паузы. Коротко обернулся на Алдошина; тот был непроницаем. — Вот Борис Ильич не даст соврать...

— Не дам, — подтвердил академик без улыбки. — Весь вечер не давал и теперь не дам.

— Эйнштейн сказал как-то: мне неинтересно то или иное явление, я хочу знать замысел Бога, — Журанков запнулся. — Я с Эйнштейном тут не согласен: если веришь, так должен понимать, что даже выяснив, насколько точно Бог все рассчитал, его замысла не поймешь, ведь замысел — это не «как», а «для чего». А если не веришь, так не надо бравировать словами. Но у меня что-то похожее... — он опять запнулся. — Понимаете, вот простая грубая механика... Скажем, паровозы. Они ничего не изменили, с паровозами человек делал то же, что и до них, только в чем-то быстрее. Лезем глубже в мир. Атомные бомбы — они нас уже меняют. Они сделали невысказанной большую войну. Интернет сделал невозможным тоталитаризм. Реальное клонирование убило мерзкую мечту о дубли-

ровании совершенных солдат и великих вождей. Чем глубже мы забираемся, тем больше серьезных моральных ограничений, вроде бы нами просто выдуманных, оказываются подтверждены самой природой. Фундаментальными законами мироздания. Я очень хочу знать... Если залезть в мир вот так глубоко, глубже вроде уже и некуда... Что он оттуда, из этой глубины, скажет нам о добре и зле?

У Наиля перехватило горло. Он судорожно глотнул, продолжая глядеть Журанкову прямо в глаза. Сказал:

— Ах, вот оно что...

Потом неловко, нерешительно тронул ученого за локоть. Журанков сконфуженно улыбнулся.

— Аркадий, друг, не говори красиво, — проговорил он. — Но вы сами спросили...

Тогда Наиль отвернулся и медленно пошел к своему столу. Обогнул его, сел на место. Помолчал еще мгновение. И сказал:

— Готовьте смету. И... и вот еще что. Проблемы секретности. Прикиньте, пожалуйста, как нам замаскировать новую работу над нуль-Т под старую работу над «Аяксом». Я посмотрю все это и еще раз подумаю. Двух дней вам хватит?

Выдался погожий, кристальный сентябрь. Было за полночь, когда Журанков, срезая путь через маленький сквер, подходил к дому. Здесь свет окон и уличных фонарей ушел на края и лишь вкрадчиво сочился сквозь крупноячеистую сеть неподвижной листвы. А вверху распаживался бездонный простор.

Небо засасывало, как поцелуй.

Небо цвело звездами, словно июльский луг.

Они переливались и мерцали. Трепетная вселенная неумоимо дрожала каждой своей исчезающе ма-

лой пядью. Так, сохраняя настороженную неподвижность, мелко дрожит каждой мышцей потерявший свободу, попавший в неволю зверек. Хотелось прижать вселенную к себе, погладить, успокаивая, и сказать: не бойся, солнышко, все будет хорошо.

3

— Ну, привет. Чмоки-чмоки.

— Привет.

— Рад тебя видеть.

— Знаешь, я тоже.

— Надолго в столицу?

— Нет. Переговорю завтра с редактором, утрясу неувязки... Рутину. Послезавтра обратно.

— А гульнуть не по-детски?

— Ну, любимые смолоду места я днем обошла, погрустила надлежаще — и хватит. Москва не очень приятное место.

— Это почему?

— Ну, как... Ни днем, ни ночью не стихает гром жерновов и жующих челюстей. На каждом углу кто-то что-то сносит и за каждым углом кто-то кого-то ест. И самое противное, что не от голода, но для вящего экономического роста. Кому он такой нужен...

— Ну, знаешь, мать! — обиделся Корховой. — А где не так? Ты хоть на Питер посмотри...

Она помолчала, потом пожала одним плечом.

— А вообще я обабилась, наверное. Не поверишь, но все, что не семья и не работа, для меня теперь — просто дурная трата времени.

— Боишься Журанкова оставлять надолго?

— Да я сама без него не могу.

— А чего ж не расписались до сих пор?

— А шут его знает. Наверное, лишней мороки неохота... Какая разница? Помнишь анекдот — бьют не по паспорту, а по морде. А уж любят — и подавно.

— Ох ты ж боже ж мой, какая преданность! Ладно, поверю. Тогда тем более спасибо, что согласилась встретиться.

— Я правда рада тебя видеть. Ты хоро-оший! Друзей, по правде сказать, в жизни мало.

— Друзей... Мы, вообще-то...

— Не напоминай. Прости, но не напоминай, пожалуйста. Я сволочь, да.

— Ладно, чего там... Давай по первой — с прошедшим вчера Восьмым марта! Как говорится — с днем международной солидарности трудящихся с женщинами! Опа! Кхэ... А глоточки-то какие махоньки... Слушай, я не требую пить до дна, ты все ж таки дама... Но уважай ритуал!

— А ты что-то опять, по-моему, слишком этим делом увлекся.

— Здоровым можешь ты не быть — но за здоровье пить обязан!

— Смотри...

— Смотрю. А ты?

— Что я?

— Смотришь?

— Что?

— Мои программы смотришь?

— Честно?

— А ты умеешь нечестно?

— Ну, если очень постараться — наверное, получится... С грехом пополам.

— Монашка несла свой крест с грехом пополам... Давай уж лучше честно.

— Попробовала одну. Кажется, в январе... или де-

кабре? В общем, про то, что наши все геномы расшифровали еще в семидесятых, на Аральской бактериологической станции... на острове Возрождения, я правильно запомнила?

— Точно. Молодец.

— Ты сам в это веришь?

— Ох, мать... Сложный вопрос. Так могло быть. Я не знаю точно, было или нет, теперь уж не докапаться, но — могло.

— По-моему, не могло. Где бактериологическое оружие — а где генетика...

— То есть тебе не понравилось.

— Не понравилось. Ты стал каким-то...

— Ну? Договаривай!

— Менее добросовестным. Я теперь даже рада, что не смогла тебе осенью рассказать ничего интересного про журанковский проект... Ты бы такого написал...

— Откуда ты знаешь, что бы я написал? Может, я написал бы гениальную статью и сделал великую передачу с миллионным рейтингом, которая вам бы очень помогла. Кстати, как у вас сейчас?

— О чем ты?

— О ракете вашей.

— По-прежнему. Кризис...

— А вот я слышал, возобновились работы на новом стенде. Лазеры завозите зачем-то...

— Кто тебе сказал?

— Слухом земля полнится, Наташка... Думаешь, про вас все забыли?

— Я об этом вообще не думаю. Полнится так полнится. Секрета никто особо не делает, просто не хочется болтать раньше времени. Это все с плазменным облаком возня. Железо-то не проблема, в конце кон-

цов. Журанков говорит — будут пробовать лазерный поджиг и лучевое оконтуривание плазмоида. Изменяемая аэродинамика, управляемая.

— На это можно сослаться?

— Да пожалуйста. На передачу все равно не потянет. Ничего еще не включалось ни разу, а то я бы знала. Пока — монтаж...

— На передачу не тянет, а вообще интересно, может, и пригодится. Давай по второй — за журанковский успех. Честно.

— Грех не поддержать.

— Если бы ты не поддержала — я бы заподозрил, что ты его не любишь.

— Провокатор.

— Кто так пьет за успех любимого? Большими глотками!

— На!

— То-то... По мне не скучаешь?

— Степушка, ну не надо, а?

— Хорошо. Так и быть. Добрей меня и смирней — не найти. Ладно. Начнем священный русский месяц драбадан.

— Ох... Смотреть страшно. Степка, это ж виски, а не вино!

— Ты знаешь, я заметил. Во-первых, вкусно, а во-вторых, проясняет мозг. Нет, правда — работается лучше. Ну, если не перебарщивать, конечно. А как иначе начать драбадан? У мусликов — рамадан, а у нас — драбадан, и посмотрим, чья возьмет.

— А зачем, чтобы чья-то брала?

— Ты что, мать? С дуба рухнула? Нам на одной планете с ними не жить.

— Что-о?

— Они же все фанатики. С виду вроде нормаль-

ные, две руки, две ноги — а на самом деле за своего Аллаха, чуть что, просто глотки рвут. Люди для них пыль, главное — Аллах.

— Господи, Степка, какой «КамАЗ» тебя переехал?

— Помяни мое слово...

— Нет, давай лучше вернемся к нашим баранам.

— Лучше к нашим козлам.

— Степ, ты можешь хоть несколько минут не стараться острить?

— Да я и не стараюсь. Оно само получается. Я от рождения очень остроумный. Правда, в знаменитости все равно не попал. Не то что этот ваш теперешний приятель Бабцев. Но я-то в клеветниках России не состоял, приводов в Европу не имел — никудышная анкета. С такой в люди не выбьешься. Приходится менять мир под себя, иначе никак...

— Да ладно тебе, Степка. Это уже сто лет как спето: однажды он прогнется под нас. А что касается Бабцева, я и сама не понимаю. Он, правда, как-то зачастил. Неприятно. Но что тут сделаешь — сын. Ну, почти сын, больше десяти лет он был Вовке отцом. Коллизия правда сложная, не приведи бог, особенно когда все хотят быть порядочными и добрыми.

— Во-во. С подонками мы всегда добрые. Наверное, потому, что это лестно для нас самих. Вот быть добрыми по отношению к тем, кто нам ничего худого не сделал — это как-то мелко, правда? Русь проклятая моя... Все навыворот.

— Понимаешь, он с Журанковым даже сдружился. Сейчас, правда, не появляется — Вовка в армии, предлога нет... Но с Журанковым они переписываются. Представляешь? Я и вообразить не могу — о чем.

— Мало я ему тогда засветил. Надо было вовсе глаз выбить. Смотри, Наташка, а вдруг он шпион?

Обхаживает твоего благоверного, а по ночам демократам своим в Лэнгли — тук-тук, тук-тук...

— Тьфу на тебя.

— Шучу. Давай за Вовку вашего.

— Давай.

— Чтоб ему легко служилось... До дна давай, Наташка! За ребенка — до дна! Вот молодец... Эй! Эй, командир! Организуй еще графинчик! Как говорил Шарاپов — я тут у вас долго буду сидеть... А что, Наталья, извини за нескромный вопрос — ты своему Журанкову-то рожать еще не надумала?

— Отстань, дурак.

— Ну почему сразу дурак?

— По кочану, по капусте. Лучше ты мне сперва ответь все же: тебе лажу эту про бывшее величие гнать не совестно?

— Это не лажа!!

— Тише, Степушка, тише... Не волнуйся так, не стучи кулаком... Сок вот пролил... Ну прости, я грубо ляпнула...

— Это не лажа!!!

— Ты уже пьянеешь. Вот горе-то...

— Это красивые сказки!

— Степушка, красивые сказки — это про то, что может быть, будет. А про то, что якобы было — это вранье.

— Кончай свою академию. Теоретики хреновы. Языком масла не собьешь, поняла? Людей нужно чем-то увлечь.

— Враньем?

— Только вранье может быть красивым, Наталья. Только вранье... Только враньем можно увлечь. Командир! Я же просил — графинчик! Я просил? Я просил!! А ты где бродишь, халдейская морда?

— Степа, тише...

— Наташка... Наташка, давай потанцуем. Вот, слышишь, медляк пошел...

— Степа, нет. Нет. Ты обниматься полезешь, я же чувствую. Ты вон уже какой... И что мне тогда делать?

— Что захочется, то и сделаешь.

— Мне захочется быть верной Журанкову. И мне захочется не обижать тебя.

— Легко решаемое уравнение. Тело — мне, душу — мужу... Сидеть, я шучу! Между прочим, вы сами виноваты. Я так хотел, чтобы первая моя передача была про этот ваш самолет орбитальный. Так хотел! Кто мне замысел поломал? Твой Журанков. Не могу, нельзя, нечего показать... Кто отказался меня провести в цех? Ты. Ах, как же я подведу Костеньку, нельзя без его ведома... С этим ублюдком переписываетесь, с американской подстилкой этой, а я — алкаш у вас бездарный, да? А я внедорожник купил! Там сиденье шире твоего дивана! Я помню твой диван — так вот шире! А ты со мной даже потанцевать брезгуешь! Шмара! Вы все предатели! Предатели!!

4

Иногда ему думалось, что вечная глухая тоска его, замешанная на смутной, сродни нетерпению, тревоге, значит вот что: ну когда же мне снова стукнет двадцать? Уже не вмоготу! Я теперь знаю, как надо, я все понял; самое время стать молодым и начать наконец действительно жить! Ну, пора! Не то поздно будет!

А еще, едва начинал кружить снег, милосердно прикрывая пышным мерцающим пухом раскисшую тьму, или вдруг срывался с летнего неба молодой смеющийся дождь, ему начинало чудиться: все еще будет

правильно, безмятежно и легко, как в детстве... Стоит только напрячься из последних сил, сделать настоящее дело, получить у жизни пятерку — и все вернется.

Молодые работающие родители, беззаботные и заботливые, не измученные ни немощами возраста, ни лихорадкой невесть кому понадобится нескладных перемен... Нет, конечно, они не воскреснут; мы сами станем такими, какими они нам казались.

Новый год! От медленно оттаивающей елки — таинственное дыхание ночной заснеженной тайги, рядом терпкое африканское сияние идущих некапиталистическим путем мандаринов; и ручными фонтанами — сухой звездчатый блеск Бенгалии, и скачущее по колючим веткам разноцветье бесхитростных крашенных лампочек. Светлое будущее пришло! Нет, конечно, не вернутся ни семидесятый, ни семьдесят первый, да и зачем — ведь мы в две тысячи двенадцатом вновь сможем чувствовать от Нового года то, что карапузами и первоклашками чувствовали в семидесятом...

Полупустые, свойские электрички, трудолюбивые, как шмели, то и дело снующие без опозданий и отмен по своим барабанным путям; на них так просто, не заботясь о парковках, заправках и пробках, уматывать, чуть выдался свободный день или просто вечер, на чистый неоглядный залив, на сыпучий песок золотой без окурков, объедков, без рваных пластиковых мешков, расплющенных пивных жестянок, пустых — или, шутки ради, с мочой — бутылок, слегка присыпанных липких гондонов и бурых засохших тампаксов... А что в рюкзак помещается меньше водки, чем в багажник — не беда, а удача...

Вернутся!

Сверкающий под мартовским солнцем снежный разлет Кавголова, где трамплины и трассы, полные

разноцветных заборных, румяных, а не бетонные коробки загромоздивших приволье особняков за крепостными заборами...

Вернется!

Безопасные ночные улицы, битлы и патлы, гитары и стихи; всегда готовые помочь телефоны-автоматы с неоторванными трубками, две копейки разговор, и щедро фырчащие шкафы газировки с неукраденными стаканами, с сиропом — три копейки, без сиропа — одна... Вернутся, встанут на свои места! И сгинут во тьме внешней поганые дрянки!

Способность радоваться немногому, быть счастливыми скромно, потому что счастье не в размере, а в сути...

Вернется!

Мальчишеское предвкушение любви, которая сделалась окончательным раем...

Вернется! Конечно, вернется, ведь Наташа уже здесь, осталось только победить и вернуть себе молодую, не отвыкшую от побед и радостей душу...

Все будет, конечно, будет, никуда не денется — будет снова и вскоре, надо лишь сделать последнее усилие: смочь, суметь и завершить.

А еще Журанков часто видел один и тот же сладенький, слюнявый сон. Про сына; но — про маленького, всегда про маленького, из тех времен, когда жизнь еще цвела изначальным первоцветом на непереломленном стебле. Про теплого, увесистого, молочного, ароматного. Смеется и лезет, брыкаясь, с дивана прямо по отцовским коленкам, чтобы целоваться. Журанков, заходясь от счастья, тоже смеется, заслоняется притворно и притворно корит: Вовка лизун! Вовка лизун! А сын, тычась ему в щеку лакированной

кнопкой носа, отвечает нежно: потому что я папоцку очень люблю...

Было такое на самом деле или нет, Журанков не мог вспомнить. И некого спросить. Может, было. Может, это нанесло ему в память с иных берегов, чтобы заполнить пустоту. Но, просыпаясь, он изо дня в день вместо оставшегося во сне ребенка встречал в доме дружелюбного немногословного мужчину сильнее, спокойнее и решительнее себя, выше себя на полголовы. И ему снова приходилось застенчиво и неумело стараться быть отцом.

Ребенок брился.

Прислонившись плечом к косяку двери в ванную, Журанков некоторое время с восхищением и завистью следил, как голый по пояс юный бог проворно скоблит себе щеку, точно грабельками освобождая карликовый садик от прошлогодних листьев; даже от этих ничтожных движений под молодой загорелой кожей слаженно перекачивались бугры мышц.

— Ну, как вчера выступил?

Журанков задал простой отцовский вопрос, а сам, смущенно и завистливо глядя на эти бугры, думал: и я бы мог быть таким. Если бы... Если бы что? Страшно было даже пытаться ответить на этот вопрос. Если бы родители его меньше любили? Если бы он меньше читал? Если бы не колдовское очарование комплексных чисел, которые, когда нормальных пятиклассников начинают мягко мерцающими в ночи руками исподволь манить ведьмы, русалки, рабыни и гейши, сразили Журанкова изумительной истиной: можно суммировать действительное и мнимое и получать вполне функциональные и крайне важные единства?

Вовкины мышцы в ответ прервали на миг свое подкожное блуждание, потом заходили снова.

— А чего? Нормально.

— Слушали старшекласники-то?

— Весьма.

— Про что рассказывал?

— Как мы Светицховели спасали.

— А-а... Хорошая история. Когда ты нам излагал, мы с Наташей, честно скажу, тоже уши развесили. По телику так подробно не было. Ветчину будешь себе резать? Не убирать в холодильник?

Вовка обернулся с бритвой в руке; одна щека обнаженно розовела, а по другой точно первой ходкой снегоочиститель прошел. И подбородок оставался как у Деда Мороза, в белой бороде.

— Опять, папка, ты раньше меня позавтракать успел... Не понимаю, когда надо вставать, чтобы не ты мне бутеры резал, а я тебе...

— А ты с вечера.

— Заскорузнут, — улыбнулся сын.

— Так убирать?

— Не. Погодь. Дай поразмыслить. Буду.

— Тогда я оставляю.

— Оставляй. Ты побежал?

— Нет еще. Хочу, вообще-то, с тобой мужской разговор поговорить.

— Звучит жутко. Может, не надо?

— Надо, Федя, надо.

Вовка тяжело вздохнул.

— Сейчас заканчиваю.

— Не торопись. Счет не идет на минуты. У меня на первую половину дня этот разговор запланирован как главное дело.

— Кошмар, — сказал сын и, вновь поворачиваясь к зеркалу, цапнул вспененную скулу бритвой. — Хочется спрятаться под ванную.

— Не поможет, — сказал Журанков и пошел в кухню. Вслед ему донеслось унылое и чуть невнятное от необходимости подставлять лезвию распяленную щеку:

— Да я понимаю...

Четверть часа спустя Журанков уже допивал свой повторный кофе, а сын, присев напротив, принялся строгать себе ветчину и тогда уж разрешил:

— Ну, говори.

— Сначала ты поговори. Хочу знать твои жизненные планы.

Вовка фыркнул.

— Ну, как... — поведал он потом. Сразу, видимо, понял, что отцу такого ответа маловато, и в качестве жеста доброй воли решил конкретизировать: — Вот еще повкушаю радостей дембеля... Знаешь, па, я вообще-то законтрактоваться хочу.

— Опаньки! А мама знает?

— Нет, конечно. Что я — псих? Сначала сделай — потом скажи женщине.

— Интересная мысль. А вот объясни мне... Ты чего к службе-то так прикипел?

— Да не то что прикипел. Не, па, я не фанат милитаризма. Если ты об этом. Я ж не шагистикой беспонтовой занимаюсь. Я оператор высокотехнологичных систем связи... Математика твоя очень пригождается, кстати, большое тебе сыновнее спасибо.

— Большое отцовское пожалста.

— Слышал, какое внимание сейчас техническому уровню управления?

Журанков усмехнулся.

— Не слышал, но догадываюсь.

— Ну, вот. А потом, знаешь...

Вовка умолк и принялся, глядя только на кончик ножа, сосредоточенно намазывать на бутерброд масло.

Здесь, в глубине страны, даже самый худший враг — это всего-то должностная мразь, обезумевшая от потуг стать миллионером уже к концу недели. Или разожравшийся и обнаглевший до полного садизма ментяра...

А есть настоящие враги.

Им надо просто противостоять. От них надо просто защищаться.

И все время быть наготове, что тебя или взорвут, или пристрелят. И иметь железные нервы. Это адская работа. Работа не для всех. Кто-то должен ее делать.

Но скажи такое вслух — получится только треск высокопарный. Лучше даже не заводиться.

Тем более есть и другая причина.

Вот об этом можно. Это и правда надо как-то разрулить.

Продолжая глядеть на нож, Вовка сказал:

— Мне иногда кажется, что я вам с тетей Наташей мешаю.

Журанков ошалело вытаращился, всем телом откинувшись на спинку стула так, будто у него перед лицом махнули горячей головней.

— Ты что, с ума спятил, ребенок?

— Только не кипятись, батька, я серьезно. Помужски. Я даже не знаю, как ее называть теперь. Когда она начала тут жить, вроде привык говорить тетя Наташа, и ничего. А сейчас... Старше стал, что ли... Или не знаю. Не поворачивается язык. Какая она мне тетя? А называть ее Наталья Арсеньевна — тоже как-то глупо. В одном доме живем, под одной крышей... Она близкий человек. Она тебе... это...

Вовка покраснел и не договорил.

— Да-а, — потрясенно протянул Журанков. — Какие у тебя духовные метания, оказывается, происходят. А я и не знаю. Недоглядел...

— Ну, я старался не засветиться. Но честно тебе говорю: я ее стесняюсь.

— Понимаю. Но тогда уж будь честен до конца, сынище, — это не ты нам мешаешь, а она тебе. Так?

Вовка резко распрямился и глянул Журанкову в глаза.

— Нет, па, — твердо сказал он. — Я сказал именно то, что сказал. То, что есть.

— Ну, тогда можешь быть спокоен. Я тебе рад, и Наташа относится к тебе с уважением и симпатией. А что в один нужник ходим — да, так жизнь устроена. Но вот насчет как вас теперь называть... Получается, это проблема? Не знаю, что посоветовать. Но вообще говоря, сын, она по возрасту к тебе ближе, чем ко мне. Может, ты ее просто Наташей будешь звать?

— Ну, нет, — ответил Вовка и принялся наконец за еду. Сказал с набитым ртом: — Прости, па, это дурацкая идея.

— Может быть, может быть... Тогда остается только гражданка Постригань.

— Смешно, — согласился Вовка, сглотив и вежливо улыбнувшись. — Еще можно как в старом кино: товарищ Наташа. Хочешь?

— Могучая идея, — согласился Журанков. — Но почему-то она меня не греет. Ох, черт, времени-то уже сколько... Все утро выправляем имена!

— Беги, ладно. Я посуду помою.

— Да не в том дело... Я к своему-то разговору еще и не приступил.

— Так приступай...

Журанков помолчал. Вовка, выжидательно глядя, жевал и прихлебывал.

— Но это тоже важная тема, — проговорил Жу-

ранков. — Важней всего погода в доме... Скажи честно, сын: тебе-то Наташа не в тягость?

Некоторое время Вовка продолжал жевать и прихлебывать, будто не слышал вопроса. Потом вдумчиво проглотил и сказал:

— Ну что ты хочешь от меня, па? Она хорошая. Это раз. Я правда так считаю, не подлаживаюсь. Второе: мне действительно нравится, как она на тебя смотрит. Я бы хотел, чтобы на меня девушка так смотрела. Третье: мама мне все равно ближе и всегда будет ближе.

— Ну, это вообще не обсуждается! — почти вспылил Журанков. — Это и ежику понятно!

— Если бы ты с тетей Наташей встречался где-нибудь типа в охотничьем домике, а здесь мы жили втроем с мамой — конечно, мне было бы нормальной. Но я же знаю, что это невозможно. А вздыхать о невозможном — знаешь, я уже вырос.

Тем более, подумал Вовка, что у мамы все равно тоже этот новый. Вроде неплохой, кажется, но он-то мне совсем параллельно. Вовка иногда невольно задумывался о родаках и только руками мысленно разводил: ну и накуролесили. А еще взрослые называются. Всех бы выпорол. Но нельзя, и потому лучше всего — опять от них в казарму. Пусть уж радуются второй молодости.

Хотя после вчерашней встречи...

Нет уж. После вчерашней встречи — тем более подальше отсюда. Язычок там острый, а интеллект, похоже, такой, что хлебом не корми — одними приколами сыты будем. Перед такой позориться — это уже вообще.

— Отец у тебя, наверное, так и не вырос, — грустно сказал Журанков. — Я где-то по полдня о невозможном вздыхаю...

— Шутить изволите, ваше превосходительство. Ну, в общем, все. Говори, чего хотел. А то опоздаешь к своему чуду техники.

— Не опоздаю, — задумчиво сказал Журанков. — Без меня не начнут, без меня — просто некому. Но поговорить я с тобой хотел как раз о нем. О чуде...

Вовка перестал жевать. Потом проглотил, что было во рту. И после отчетливой заминки отложил недоеденный бутерброд.

— Знаешь, па... — тихо сказал он. — Ты мне тогда про свой ракетносец так задвинул... Я его потом сто раз во сне видел. Я никогда ни одну игрушку в детстве для себя так не хотел, как твой орбитальный самолет для страны. Сколько с тех пор прошло? Я теперь к глюкам хуже стал относиться. Слишком много реальных бед, чтобы еще и за фантазии переживать. Двигаешь свою науку — ну и двигай, если нравится. Но мне не впаривай.

— Слова не мальчика, но мужа, — немного помолчав, ответил Журанков. — А как ты думаешь, сын, твоя эта... как ты выразился... высокотехнологичная система связи — она сразу, как железный гриб, под деревом выросла, а твой полковник ее нашел и в лукошко положил? Или все-таки сначала она появилась у какого-то суслика в башке в качестве фантазии?

Вовка поджал губы. Ответ подразумевался однозначно. Мягко же отец дал понять, кто тут дурак и чурбан окопный. Слова не мальчика, но мужа... Подсластил и уважил, ага. Спасибо на добром слове.

— Я понимаю, что чуда хочется, — проговорил Журанков, поняв, что Вовка не собирается отвечать. — У нас это, похоже, в крови. Долго запрягаем, мол, да быстро ездим. Месяц спорим, день работаем.

★

Либо тупеть год за годом, либо, раз уж, мол, взялись, то чтобы все было готово к завтраму. А так не бывает.

— Да ладно тебе, — сказал Вовка. — Ты же не на ученом симпозиуме. Завязывай с политесами, па. Я тебя так понимаю: ты хочешь сказать, что я сморозил полную хрень, да еще и обидел тебя, а на самом деле...

— Не надо меня переводить с русского на русский, — попросил Журанков. — Как ты сам недавно выразился, я сказал именно то, что сказал. Ты меня не обидел. Ты ничего не сморозил. Орбитальный самолет реален, я полагаю. Да вон американцы уже Икс тридцать семь Бэ испытывают... Это где-то близко. Но чтобы построить подобную систему, нужна долгая скоординированная работа многих институтов и заводов всей страны. А этим журунам не до нас. Они так привыкли гнать каждый сам по себе, и чтобы миллион в карман ежедневно... Может, кто-нибудь когда-нибудь и сможет их снова организовать для серьезной слаженной работы, но пока — ни фига. И наше счастье. Потому что необходимость — мать изобретения, и есть, Вовка, вариант получше.

Сын пытливо поглядел ему в лицо.

— Еще лучше?

— Гораздо.

— Только не говори, что придумал звездолет, — чуть хрипло проговорил сын. Журанков расхохотался.

— Звездолет! — передразнил он. — Вчерашний день. Звездолет, копьё и набедренная повязка — малый пещерный набор.

— Так, — сказал Вовка. — Туману, па, ты напускать мастак. Хорошо, я не буду спрашивать. Когда захочешь — скажешь сам. Но от меня-то чего надо?

— Помощь, — просто ответил Журанков. — Уровень секретности у меня теперь такой, что все, кто

работал по прежнему проекту, должны думать, будто по нему и работают. И как бы даже продолжать по нему работать. И просто у нас вроде пауза, тормоз, задержка финансирования и всякая прочая лабуда, поэтому работа вяло идет. С другой стороны, нищета такая, что полноценную новую команду просто невозможно создать. Некогда и не на что. Остатки денег уходят на поддержание программы прикрытия. Ну, обычные наши выкрутасы, в общем. Так вот мне нужен, смех сказать, дармовой оператор, которому я мог бы полностью доверять и который был бы вне старой игры. Оператор, между прочим, самой что ни на есть высокотехнологичной системы связи — так что тебе прямо по службе. А заодно учиться будешь, кстати... Экспериментатор я, как ты понимаешь, никакой. Мне бы, бродя в полях и ковыряя в носу, придумать чего да просчитать... А ты как раз по железу спец, руки растут, откуда надо. Легенда у нас будет уж-жасно сентиментальная: папаша сынулю младшим лаборантом на самую невразумительную должностишку пристроил у себя под крылышком, чтобы дома сидел и не подвергался опасностям самостоятельной взрослой жизни. Никто не подкопается — убедительно, как булыжник в темя. Пока ты геройствовал посереде соплеменных гор, мы тут строили новую машинку. И она такая скромная, что с ней, в сущности, один человек при необходимости управляется. Но работает она или нет, и если работает, то как — этого пока никто не знает. Надо начинать испытания.

— Понимаю, — дрогнувшим голосом уронил Вовка.

Глаза у него уже горели. Сейчас он все-таки стал похож на себя маленького: а что там, под елкой? Папа, уже можно посмотреть? Ну ведь часы еще не били, Вовка, Дед Мороз еще не приходил... Па, ну я же

вижу: что-то лежит под елкой! Па, ну я посмотрю, да? Ну вон же, там коробка!

Некоторое время будем вместе, подумал Журанков, видя, что победил. Хотя бы некоторое время. Ну, а дальше... что бог даст.

— Я вчера разговаривал с хозяином, и он мою мысль одобрил. Назови как хочешь: семейный подряд, рабочая династия... Ты воин, ты патриот. А тут все это в таком густом замесе, что меня и самого-то трясет.

— Ты наконец скажешь, чего сварганил?

— Не скажу. Вне защищенных помещений даже говорить не хочу. Но если ты пойдешь сейчас со мной в лабо...

— Конечно, пойду!

Вовка выкрикнул это раньше, чем Журанков успел договорить. Журанков улыбнулся.

— Но пути назад не будет, — проговорил он. — Решайся сейчас. И, чтобы ты не обольщался и не ждал опять мгновенных чудес, скажу сразу: три пробных эксперимента дали нулевой результат. Работа, Вовка, предстоит долгая и кропотливая. И без гарантий. Потому что только у Золотой Рыбки чудеса гарантированы, а я... без плавников.

Некоторое время напряженный Вовка сидел неподвижно и молча. Потом обмяк, даже чуть ссутулился — и засмеялся негромко.

— Ты, батька, хитрый, — проговорил он. — Такой простой-простой, а хитрый. Считаю, я заглотив наживку.

— Тогда доедай наконец свои булки и одевайся, — ответил Журанков.

Процесс познания похож на младенца. Вот совсем недавно будто ничего и не было, только страстная надежда, только спрятанный в нежном тайнике зародыш, о котором неведомо посторонним. Но вот уже кричит; а вот — уже сам грудь находит... головку держит... пополз... встал на ноги... Побежал, побежал — теперь не удержишь! Теперь глаз да глаз! Теперь попробуй догони!

Попробуй пойми, почему он то ест свою кашку так, что только давай, а то отворачивается с паническим воплем, точно мама поднесла ему осклизлую вываренную луковицу; почему то слушается, то капризничает, то хнычет, а то довольнешенек и рот до ушей, то он шелковый и золотой ребенок, а то шкода и вредина, каких поискать. Может, на одну десятую ты его учишь и руководишь им — на девять десятых ты сам стараешься его понять и у него выучиться.

И, как всякий ребенок, при всем своем упрямстве, неужеримости и полной неспособности сочувствовать тем, кто его растит, он абсолютно незащищен.

Более пяти недель двухграммовые образцы — металл, дерево, пластик, стекло, мел — по два, а то и по три раза в день оказывались в фокусе синхронизированных лазерных вспышек, то слепящих, то почти невидимых, то хлестких, точно кнуты, то ласковых, будто крымское море на закате. Разнесение частот и энергий было пока максимально широким; Журанков старался для начала нащупать хотя бы основные параметры и шел методом последовательных приближений, потому что даже суперкомпьютеры, работавшие на него целыми сутками, не давали точных рецептов — что толку было в их сказочном быстродей-

ствии, если сами математические модели оставались расплывчатыми, как размокшие акварельки? Моделировать процессы, саму природу которых способны прояснить только серии удачных экспериментов — это даже не телега впереди лошади; это — пламя дюэ впереди ракеты, это рождение впереди зачатия.

Мало-помалу кольцо параметров сжималось, но на результатах это не сказывалось никак; образцы покоились в держателях, как им и надлежало покоиться согласно всем расхожим представлениям о том, что может и чего не может происходить с веществом и пространством; с тем же успехом на них можно было вовсе не лазерить, а светить карманным фонариком, пускать солнечные зайчики или, если уж совсем с горя — плевать, стараясь попасть с высоты. Тщетно ожидавший переноса образцов приемный стенд, расположенный в семнадцати метрах от исходной точки, у дальней стены лабораторного зала, оставался пустым; лишь пыль запустения копилась на нем, наглядно являя ответ неумолимой реальности на романтические бредни о рукотворных чудесах.

Журанков сохранял хладнокровие и лишь камел; горячее и неизбежно неровное поведение увлеченного и переживающего человека постепенно сменялось поведением мороженой куклы — так он старался держать себя в руках. Ни одного лишнего слова, ни одного эмоционального жеста, только те реплики и движения, что необходимо требовались по делу; нажатие стартера в лаборатории или домашнее поднесение ко рту ложки супа осуществлялись одинаково бесстрастно. Команду на запуск или предложение выпить чаю с печеньем он произносил одинаково ровным тоном, в котором уже не оставалось ничего живого. Вовка не мог похвастаться подобным самооб-

ладанием и порой скрипел зубами или даже черты-хался вполголоса, когда стартовый компьютер в качестве венца многочасовых размышлений оптимистично объявлял некоторые математические характеристики вселенной подсока, наиболее подходящей для перехода в намеченную финишную точку, согласно им выдавал рекомендуемую конфигурацию параметров на данный опыт, и очередная волна тщательно подготовленного под эту конфигурацию излучения окатывала образец; и тот в очередной раз не обращал ни малейшего внимания на все это высокотехнологичное шаманство.

Аналогичные манипуляции проводились время от времени и с подопытными существами. Имелась некая интуитивно угадываемая вероятность, что есть разница между передачей мертвой и живой материи — при всей условности этих понятий, которая проступает тем явственней, чем глубже мы забираемся; ее, эту разницу, если она и впрямь обнаружится, будет чрезвычайно интересно осмыслить и объяснить, но покамест было не до жиру. Конечно, здесь возможности варьирования параметров сильно ограничивались необходимостью никоим образом не повредить ни одной из четы белых мышек, попеременно служивших объектами бережной вивисекции; следовало стараться даже, чтобы этой вивисекции мышки попросту не замечали.

Вот это последнее было единственным, что удавалось раз за разом с неизменным успехом. Что муж, что жена, помещаемые в фиксирующую клетку, действительно настолько не замечали, когда на них в течение доли секунды изливалось несколько трансформированных в неощутимые фотоны очередных десятков тысяч Наилевых рублей, что постепенно привыкли

к периодическому разлучению и кратковременному водворению одного из них в тесное индивидуальное жилище. Супруги, поначалу панически пищавшие и пытавшиеся царапаться своими игрушечными коготками, когда одного из них несли под лазерное извержение, уже к четвертой неделе лишь подергивали голыми хвостиками, суетливо нюхали воздух («Ты недалеко? И я недалеко! Скоро снова свидимся!») и, в общем, привычно ждали, когда эти громадные неотепы, столь упорно занимавшиеся какой-то ерундой и столь беспардонно навязавшие им, души друг в друге на чающим благородным мышам, в своей ерунде заглавную роль, натешатся и снова соединят чету в ее комфортабельном и обильном на еду персональном жилище для очень младших научных сотрудников.

В конце февраля Вовка понял, что отец, при всех своих благих намерениях и всей мужской горделивости, проговорился подруге. Что, в каком объеме и при каких обстоятельствах он рассекретил, в горькую ли минуту отчаяния или, наоборот, в триумфальный миг близости, гадать было бессмысленно, да и как-то не по-сыновьи. Но только однажды поздним вечером из-за неплотно прикрытой двери их спальни донесся женский голос, и Вовка, как раз тихонько кравшийся из туалета обратно в койку, его услышал.

— А сам-то ты веришь? — отчетливо спросила тетя Наташа.

Голос отца ответил на два тона ниже: бу-бу-бу... бу-бу... Долго, монотонно, ни слова не понять. Потом опять тетя Наташа — сочувственно и в то же время как-то умиротворяюще; от такого голоса, подумал Вовка, у мужика даже при смерти должна просыпаться надежда.

— А теперь, когда ты сказал все правильные слова

про науку и веру, про их отличия, ответ просто: ты уверен в своей правоте?

Бу. Коротко так: бу. Судя по всему, лишних слов на сей счет отец говорить не захотел.

— А тогда... Ты же сам говорил: если новая, с иголки машина почему-то не едет, значит, в нее просто не залили бензин. Чего-то не хватает, какой-то последней малости. Думай. Просто спокойно думай, как будто никто не ждет твоих открытий, а ты сидишь себе на высоком холме и смотришь на звезды. Ты никому ничего не должен за эти миллионы. Ты совестью мучаешься, что Наиль их на тебя потратил. Да он, может, в казино бы больше потратил! И мне ты ничего не должен. Я в тебя верю, но если у тебя это не получится, моя вера ни вот на столечко не пострадает. Потому что я верю в тебя как в замечательного родного человека, а не просто как в какого-то там дурацкого гения. Когда мучаешься совестью, придумать уже ничего нельзя. Забудь про все и про всех и поднимись на холм. Посмотри на звезды и послушай, что они тебе скажут.

Вот это класс работы с личным составом, восхищенно подумал Вовка. Высший пилотаж. Ай да тетя Наташа... С такой подругой действительно можно на край света. Этот бы уровень нашим офицерам по связям с местным населением...

Подумал и двинулся дальше, не желая подслушивать нарочно.

Он сильно предполагал, что этот страстный монолог тетя Наташа подкрепит еще чем-нибудь не менее психотерапевтическим. Такая мысль просто напрашивалась. Но надо было отдать взрослокам должное: разговоры их он иногда слышал, но ничего иного, стонов там или характерного ритмичного скрипа — ни-ни.

Они вели себя в высшей степени тактично. Иногда он пытался прикинуть, как им из-за него надо держать все под контролем, и даже жалко их становилось.

Надо бы отцу при случае заявить, что мне он тоже ничего не обязан, подумал Вовка, засыпая. Не ровен час, он и за это примется себя казнить: мол, опять наобещал сыну с три короба, а все и на сей раз фуфлом обернулось. Конечно, поражение не победа, и к тому, кто победил, отношение всегда другое, чем к тому, кто облажался. Но, как говорится, братишка, мы любим тебя не за это...

Он не успел сделать ничего подобного. На следующий день события понеслись вскачь. То ли тетя-Наташина психотерапия оказала свое влияние, то ли мозги у отца варили-варили и доварили наконец, то ли просто так совпало. Поутру, когда Вовка встал, отца дома уже не случилось, а на столе в кухне маялась забытая им чашка с кофейной гущей на дне; и полный гущей, отжатый досуха кофейник торчал на плите. Вовка слегка растерялся: надо ему идти, как обычно, в лабораторию, или нынешний день можно было счесть выходным — непонятно. Когда на кухне появилась тетя Наташа — озабоченная, встревоженная, оттого порывистая больше обычного, оттого еще красивее, чем всегда, Вовку так и подмывало показать ей большой палец или хоть как-то выразить гвардейское одобрение. Но, даже не дав ей понять, что многое слышал ночью (не ровен час, бедняги станут еще жестче соблюдать режим тишины в темное время суток), он просто постарался быть как можно заботливее: чайник вскипятил, к завтраку все приготовил, спросил за едой о ее последней статье... А она вдруг попросила его следить своей молодой, не обремененной склерозом головой, чтобы у них с отцом во время

работы всегда был под рукой валидол. Он, не удивляясь, с готовностью пообещал. И тут загундосил Вовкин мобильник. Тетя Наташа встрепенулась; она тоже, как и сам Вовка, сразу решила, что звонит отец.

По голосу его никак было понять, где он и в каком состоянии. Так Вовка и объяснил тете Наташе, когда дал отбой.

— Но что он сказал? — нервно допытывалась она.

— Велел через час быть у станка, — ответил Вовка, невольно начиная прихлебывать кофе торопливей.

— Володенька, валидол не забудь!

— Яволь, тетя Наташа!

Процедуры прикладывания ладони к сканеру перед первой дверью, массивной, как дверца старинного сейфа, и подставления растарашенного глаза с его уникальной сетчаткой считывающему элементу у двери второй, еще более бронированной, уже стали автоматическими. Первые дни Вовка как-то побаивался этих манипуляций, робел, не понаслышке зная, какова надежность родной техники — а ну как эта дура своих не узнает? С нее станется... Теперь привык и проделывал все необходимое, думая о своем. Сейчас, разумеется, ни о чем ином думать было невозможно, кроме как: что случилось? Что отец намыслил? Сердце молотило и подсказывало, будто перед первым парашютным прыжком.

Вовка явился на десять минут раньше срока, но отец все равно уже был здесь. Не сказал ни «здрасьте», ни «доброе утро»; весь подтянутый, напряженный и подчеркнута спокойный, так что для него тоже можно было легко придумать сугубо армейские ассоциации — командир перед атакой, начальник расчета перед решающим выстрелом... Мура, в общем; напыщенные банальности. В лаборатории все было по-

прежнему, и только в углу торчал, взявшись невесть откуда и зачем, здоровенный глухо закрытый баул.

— Готовь мыша, — сказал отец вместо приветствия.

— А вводные?

— Полный повтор вчерашнего. Никаких новых расчетов.

— Так а что толку... — начал было Вовка, но отцу даже не понадобилось его прерывать; сам осекся. Сообразил: уж наверное, отец знает, что делает. Если бы не знал, нипочем бы не развел такую тоталитарную диктатуру. Наверное, если он придумал что-то правильно, все станет ясно само, по ходу. А если не станет — значит, будет время поговорить, объяснить; время-то будет, ага, да только толку в объяснениях не будет, потому что уже и так окажется ясно: придумано снова неправильно.

Оставалось лишь стараться выглядеть так же спокойно, как отец. Подумаешь, очередной эксперимент, двести какой-то... Но руки все равно слегка дрожали.

Подготовка заняла не больше получаса. Какая там подготовка: запуск стартового, повторная загрузка вчерашних параметров... Мыша в фокус. Тот, бычара, настолько привык, что чуть ли не дремал, пока его за шкйрку выволакивали из апартаментов в фиксатор. Да и подруга его лишь мельком обернулась через плечо на просунувшуюся в клетку Вовкину руку, и буквально слышно было, как она, прежде чем вернуться к своим хлопотам по хозяйству, проворчала: ну вот, опять мужа сперли...

Сам же мыш, стоило его поместить в фиксатор, презрительно развалился едва не на весь объем узилица, точно пенсионер перед телевизором. Делайте, мол, дылды, что хотите, реформируйте, приватизируйте, играйте в важные саммиты — помешать я не в

силах, но и соучастия от меня не дождетесь. Даже эмоционального. По фигу мне ваши приколы.

— Давай к пульту, Вовка, — сказал отец. — Когда я скажу: старт...

— Я дам старт, — закончил Вовка, уже шагая к главному пульту, посреди которого, почти теряясь в кружеве шкал и мелких дисплеев, красовалась заветная кнопка стартера.

— Догадливый, — проговорил отец, почти торжественно идя к мышью с загадочным баулом в руках. Искоса Вовка глядел на отца. Кнопка из-под руки не вывернется, а вот пропустить, что там сейчас произойдет, он просто не мог. Зачем тогда и жить...

Отец подошел к стартовому стенду вплотную, открыл баул, за шкирку вытащил оттуда кошку и размашисто посадил ее рядом с фиксирующей клеткой.

У Вовки челюсть отвалилась.

А у мыша, похоже, отвалилось все.

Сказать, например, что он побледнел и переменялся в лице, — значит ничего не сказать. Куда только делось его вальяжное безразличие. С отчаянным писком он засучил ножонками, что есть сил пытается вжаться в дальнюю от кошки стену клетки и, желательно, выдавиться сквозь нее наружу; а как еще сбежишь. На какой-то миг Вовке показалось, что отчаянные усилия несчастного подопытного могут увенчаться успехом и тогда он полезет наружу, как из мясорубки фарш.

Откуда отец кошку взял? Та была явно не помоечная. Но, что куда существенней — и не слишком-то закормленная, как бывает порой с домашними любимицами. Во всяком случае, сытой до полного презрения к живой добыче она не была. После первого изумления («Ах, где это я?») она мигом срисовала

бьющегося в истерике мыша, заинтересованно моргнула, а потом, выставив лопатки, с характерной улыбкой нагнулась.

— Старт! — звонко сказал Журанков. Нервы все же играли и у него: он дал команду чуть-чуть громче, чем когда-либо прежде. Вовка нажал стартер.

Синхронизированное излучение сорока двух смонтированных на сферической раме чудовищно дорогих лазеров сфокусированно, со всех осей разом, облизнуло мыша сложнейшей по комбинации частот мимолетной вспышкой бледно-розового света.

Кошка растерянно обнюхала пустую клетку и с явным разочарованием оглянулась на Журанкова: что за неумные шутки, дядя, тут же была еда!

Торжественность момента была испорчена мелкой и непоправимо комичной суматохой. Очутившийся на приемном стенде мышь явно не в силах был так сразу уразуметь, что он уже в безопасности; продолжая истошно вопить, он галопом метнулся на край стенда, мелким белым кубарем свалился на пол и, не сбавляя темпа, покатил по полу в поисках надежной пещеры.

— Лови! — не на шутку встревожившись, крикнул Журанков, стремительным движением закинув кошку обратно в баул и сам бросаясь подопытному наперерез; он-то наперед знал, что упустить мыша недопустимо, ибо его драгоценное здоровье теперь придется исследовать уж всяко не менее досконально, чем послеполетное здоровье всех Белок и Стрелок, вместе взятых. Ловля впавшей в панику мышки в зале, заставленном аппаратурой, заплетенном толстыми кабелями и тонкими проводами, да еще в виду угрозы одним неловким движением испортить или вовсе разбить что-нибудь стоимостью в пару миллио-

нов, оказалась делом нешуточным и увенчалась успехом не вдруг. К тому моменту, когда мышь в предынфарктном состоянии был возвращен в домашний уют и, кое-как переведа дух, принялся взахлеб рассказывать взвинченной шумом супруге о поразительном случае, приключившемся с ним вот только что и совершенно, казалось бы, на ровном месте, ни Журанков, ни Вовка уже не могли толком прочувствовать своего величия. Никаким «Поехали!» тут и не пахло. Некоторое время, тяжело дыша, отец и сын обалдело смотрели друг на друга, просто не зная, что им теперь надо делать; а потом Журанков сказал:

— Сын, запомни этот великий день. Мы с тобой поймали мышь.

И еще через мгновение оба начали дико, до слез хохотать и очень долго не могли остановиться.

Коньяк они начали пить полтора часа спустя, уже дома. Разговаривать они не могли, просто слов не находилось; даже идя к дому от лаборатории мимо магазина, они только переглянулись. Если и случился бы поблизости враг, шпион и диверсант с записывающим устройством, он остался бы с носом — не прозвучало ни слова.

Многострадальный мышь в это время уже снова пребывал вдали от домашнего очага и нервно тосковал у скрупулезных биологов, те обещали закончить полное обследование через пару дней; но, судя по поведению подопытного в момент очередного выдиранья из-под теплого бочка супруги, по его отчаянным стараниям ни под каким видом не даваться в руки здоровенных дуралеев, от которых, оказывается, можно ожидать самых нелепых сюрпризов, он был вполне здоров и бодр и полон своих мышинных сил.

Тетя Наташа оказалась дома, и это получилось

очень удачно: ей тоже налили рюмку, и благодаря присутствию молодой красивой заботливой женщины шальная пьянка сразу обернулась триумфальным празднеством на высоком идейно-художественном уровне. Женщина, правда, как ей и положено, сначала попыталась ввести ситуацию в правовое поле: в честь чего, мол? Вовка не знал, что и как ответить, и только выжидательно покосился на отца, стоявшего, точно застигнутый врасплох забуддыга, с прижатой к груди бутылью наперевес; отец помолчал, видимо, ища такой ответ, чтобы и ложью не замараться, и правды не раскрыть, и выдал просто, по-мужски: «Наташечка, надо. А что мы отмечаем — я тебе потом скажу. Когда сам пойму». Верная подруга облегченно вздохнула. «Да уж я понимаю, что раз взяли, значит, надо, — ответила она. — Мне важно знать, что вы что-то отмечаете, а не горе заливаете. Теперь я это знаю, и у меня гора с плеч». И больше она ни слова неуместного не сказала; взмахнула крылом, как царевна-лягушка, и на столе сразу, будто из широких рукавов, образовалась подходящая и, главное, умеренная закуска: чтобы и не натошак пить, и не обожраться до полного подавления искомых эффектов. И принялась щебетать о своем, о девичьем, о бытовом, о журналистском, чтобы и разговор за столом журчал, и молчать о своих загадочных достижениях мужики могли невозбранно. Цены тете Наташе не было, что факт, то факт.

Где-то на третьей рюмке Вовка не выдержал. Спросил: «Па, но все-таки — что это было?» Чуть захмелевший Журанков приложил палец к губам, но его, верно, тоже распирало и через мгновение он сам же губы свои и отверз: «Не знаю, сын. Надо статистику набирать. Квантовая память — это, конечно, чу-

десно и ветвлению весьма способствует, коли уж в этом смысле памятью обладает каждая частица. Но когда вторгаемся мы, наша активность для постоянно идущих природных процессов — избыточная, лишняя. Искажающая. Тогда на первый план выступает, похоже, то, что мы бы назвали целеполаганием. Мотивацией. Душевным состоянием. Наверняка это связано с более или менее вероятными состояниями будущего. И все, ни слова больше. Для осмысления понадобятся, может, сотни таких проб. У меня у самого мозги егозят, немедленно хочется все непротиворечиво разложить по полочкам, а хуже нет — анализировать нерепрезентативный материал. Давай со страшной силой веселиться». — «Слушаю я вас и порадоваться не могу, — сказала раскрасневшаяся, очевидно счастливая тетя Наташа; в ней уже тоже грамм сто усвоилось. — Мужчины у меня — клад. Все о хозяйстве, о хозяйстве... Все в дом, все для семьи... Я как раз на днях прикидывала: пора диван с креслами перетягивать, повитерлись уже. Нерепрезентативный материал — это типа обивочная ткань подешевле?»

Остаток вечера они уж и не упомнить, о чем говорили — похоже, просто пробалагурили и прохохотали до сумерек. И еще танцевали: азартно тряслись втроем и извивались под музон, и Вовка даже падал на колени и кричал: «Ха!» и «Асса, кам тугезер!»

А когда биологи вернули истомившегося в одиночестве мыша, клятвенно заявив, что более энергичного, здорового и полноценного хвостатого они в жизни не выдывали, и если, мол, таково и впрямь будет воздействие аэродинамического плазменного облака на случайно оказавшийся неподалеку живой организм, они бы согласны в этом облаке купаться по профсоюзным путевкам, — начался тот самый набор стати-

стики, который позволил бы наконец счесть сумасшедшую, доселе на всей Земле не виданную удачу закономерным этапом систематической работы, открывающим путь к этапам следующим, еще более головокружительным.

Голохвостой чете пришлось теперь вкалывать не за страх, а за совесть. Бесмысленное, ни к чему путному не приводящее и даже самим мышам надоевшее лежание в фиксаторе кончилось.

Ребенок познания встал на ноги и побежал.

Четыре часа мышь маялся, безжалостно стиснутый буквально в метре от горки мелко нарезанных благоуханных ломтиков своего любимого сыра; точка переключки была сориентирована как раз на верхний ломтик. Поначалу мышь лежал довольно спокойно, потом начал принюхиваться все более возбужденно, и ушишки его то и дело высывались наружу сквозь прутья клетки; в конце концов он весь извертелся и изошел на требовательный, негодующий писк: вы, мол, что, демоны, последнее разумение потеряли? меня же надо кормить, я есть хочу! Зато когда Журанков уронил свое сакраментальное «Старт», казалось, еще и лазеры не успели погаснуть, а мышь уже всем пузом шлепнулся на кучку вождеденных ломтиков. Не сразу он сообразил, какое счастье ему привалило; зато уж когда сообразил... Оттаскивать его пришлось, точно бульдога.

Девять часов подруга первопроходца томилась в той же фиксирующей клетке, регулярно кормимая и поимая Вовкой; она не испытывала никаких физических неудобств, кроме, разумеется, практически полной неподвижности — но еще и скуки, и отлучения от дома, где муж, для разнообразия оставленный экспериментаторами на сей раз в покое, без бдительного женского

ока, конечно же, невесть чем занимался и мог натворить страшно сказать каких глупостей. На протяжении почти всего этого времени сам Журанков, как это бывало достаточно часто, пропадал там, где, по общему мнению, шла основная, по-настоящему важная работа — там чертили чертежники, там монтировали монтажники, там рассчитывали и моделировали конструкторы; там готовили многострадальный проект орбитального самолета — пусть уже и без надежды реализовать его самим, но с постоянно подпитываемой руководством надеждой по сходной цене передать его, когда придет пора, Космическому агентству. В лабораторном зале Вовка в очередной раз остался один — впервые так надолго. Поначалу он вообще напоминал себе здесь дрессированного шимпанзе — кнопки нажимать, загружать программы... Постепенно он осваивался, обучался, учился понимать и соображать (отец, конечно, срывался объяснять и помогать по первой же просьбе), и вот теперь, время от времени поднося яства и напитки уныло млеющей в фиксаторе миниатюрной пушистой даме, он занимался тем, что пытался опыта ради просчитать параметры вспышки перехода в пункт командования воздушно-космической обороны Америки — штаб-квартиру НОРАД в глубине горы Шайенн. В принципе, это было не более сложно, чем сделать расчеты на перенос мыша поближе к сыру.

Когда Журанков вернулся, Вовка был уже близок к победе и в душе своей даже слегка обиделся на отца за то, что тот не задержался еще хотя бы на полчаса. Тогда Вовка смог бы показать ему результат и спросить, много ли напортачил и если да, то в чем именно. Но виду он не подал, а молча сохранил итоги до лучших дней; ясно было, что они не за горами. Эксперименты шли один за другим.

— Ну, что наша бедняжка? — первым делом спросил отец.

— Скучает, — ответил Вовка голосом артиста Дмитриева из «Приключений принца Флоризеля».

— Отлично, — плотоядно, как матерый садист, отозвался Журанков и вплотную подошел к заключенной в недра нуль-кабины мышке. Мышь, завидев человека поблизости, принялась всячески демонстрировать, что ей тут вконец осточертело и пора бы рослым самодурам и совесть знать.

— Кормил-поил нормально?

— А что, по лужице и кучке не видно? — спросил Вовка.

Журанков засмеялся.

— Пожалуй, видно. Тогда будем считать, что на данный момент ее потребности — чисто духовного порядка.

Писк из фиксатора недвусмысленно дал ему понять, что мышь, в отличие от людей, не дура и резкой границы между материальным и духовным не проводит. Несколько мгновений Журанков нежно смотрел, как она бьется, а потом отступил на два шага и произнес обыденно:

— Ну, чего? Ты готов? Старт...

Лазеры едва уловимо плеснули тусклым светом. Супруги воссоединились.

Журанков и Вовка торопливо сбежались у их обители. Надо было видеть, как после первого потрясения два маленьких симпатичных зверька бросились один к другому — что называется, друг другу на шею. Их нежности можно было позавидовать. Вырвавшаяся из заключения мышка просто цвела. Конечно, для нее оставалось непонятным, каким именно образом ей удалось вырваться, но она и не собиралась ломать

над этим голову: от верзил можно ожидать любого фокуса и разбираться с их выходками — только зря время терять. Гораздо больше ее занимало и радовало то, что даже при столь внезапном возвращении из командировки ни в чем предосудительном мужа уличить ей не довелось. И, стало быть, помимо того, что она и сама соскучилась, он явно заслуживал награды.

Журанков и Вовка стояли рядом, наблюдали, как их мышки обнюхиваются и милуются, улыбались и думали об одном и том же. О том, что не сегодня-завтра кому-то из них двоих предстоит встать под луч. И Вовка сильно подозревал, что первой пробы отец ему не уступит.

6

Только полный оборот, думала она, мог сморозить такую глупость: все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот несчастные несчастны по-разному. Да нет, оборот — мягко сказано; тут бы выразиться крепче. Ведь какую мерзость, получается, человек носил в себе. На самом-то деле наоборот, все несчастные несчастны одинаково: пьянка, бабы, мания величия или комплекс неполноценности. Вот и все разнообразие. Причем что мания, что комплекс вымещаются на самых близких совершенно одинаковыми безудержными требованиями, бесконечными обвинениями и бесцеремонными скандалами. Ах, ты на коленях стоять не хочешь передо мной? Значит, никакого ко мне уважения у тебя нет, никакого сострадания к моей тяжелой многотрудной судьбе? Гнусная эгоистичная тварь!

А вот счастье... Чтобы его сработать, нужно столько обоюдного понимания, доброты и мудрости, столько тончайшего и точнейшего двойного маневрирова-

ния, столько каждодневных компромиссов, равно приемлемых для обоих, обоих лелеющих и взращивающих — причем только этих конкретных обоих, для любой другой пары они показались бы, конечно, либо капитуляцией мужа, либо унижением жены...

Знаю, думала она, знаю, откуда это высокомерное презрение к счастью. Именно так нетрадиционно ориентированные презирают нормальных. Тут всего лишь самозащитная спесь: счастье скучно, уныло, однообразно, тривиально, оно — удел серых и бездарных, оно, видите ли, отупляет и унижает, делает людей равнодушными к бедам других... А вот всевозможные ненормальности, от которых, конечно же, естественным образом происходят несчастья, — это круто, это сильная индивидуальность, это творчество, это настоящая, полная ярких переживаний жизнь...

Недавно в новостях прошло: где-то в Европах боевая организация лесбиянок обнаружилась. Караулили на улицах беременных и били, стараясь вызвать выкидыш. Идеологию придумали: беременность, являющаяся результатом гетеросексуальных контактов, есть вопиющее проявление гомофобии и шовинистической дискриминации сексуальных меньшинств. И суд их чуть не оправдал, что ли; во всяком случае, адвокаты закрутили уж так убедительно, что дальше некуда: беременным, дескать, не следовало выставлять напоказ свое состояние, это было провоцирующее поведение, сами виноваты... Коротко так прошло и тут же провалилось среди более новых новостей, видно, наши решили не муссировать — не ровен час, россияне и в этом за цивилизованным миром потянутся.

Вот так же нападают на счастье те, кто его не знает.

Да чтобы сотворить одну-единственную счастли-

вую семью — надо столько творчества, сколько и не снилось никакому колоброду и никакой потаскухе, даже если они хоть десять, хоть пятьдесят семей сумели развалить и устроить тысячу якобы непременно свойственных творческой личности дебошей, после каждого начеркав поэму или симфонию.

Несчастливые семьи отштампованы, как поллитровки, а вот каждая счастливая — неповторима, словно королевский бриллиант.

Эти мысли стали посещать ее не так давно. Прежде она не очень-то задумывалась над подобными вещами и, во всяком случае, столь кухонный взгляд на человеческие отношения не был ей свойствен; скажи все это при ней кто-то пару лет назад — она сама подняла бы его на смех и назвала худыми словами. Но что-то менялось. Возраст брал свое, быть может. Стыдно сказать — стала превращаться во что-то вроде простой деревенской бабы: все бы ей коровку доить, все бы у печи стоять да мужу пышки печь... Это накатило постепенно, она сама не заметила, когда. Даже первые месяцы с Журанковым горели в сердце еще по старинке: не как долгожданное и хоть не каждому выпадающее, но нужное каждому теплое надежное гнездо, якорь в бурях, твердыня на болоте, а как острая, острее некуда, приправа к ее обычной яркой и — отчасти поневоле — сумбурной жизни. Я, такая молодая, красивая, блестящая, чувственная, с таким богатым внутренним миром — рабыня и подстилка измочаленному одинокому неумехе; ух, я какая! Это подхлестывало. Когда она после нескольких дней или даже целой недели, проведенных у Журанкова в Полудне, вновь влетала в конвульсивно творческую, перенапряженную до монотонности столичную круговерть, то исступленное саморастворение, с каким она

нежила и опекала своего младенца-владыку, оборачивалось столь хлесткой, бессердечной к окружающим уверенностью в себе и своем праве во всем быть первой, что ей и самой казалось: короткая тамошняя жертвенность точно свежим энерджайзером перезаряжает ее для здешней потасовки. «А он все работает, работает, работает!» Главным достоинством состояния единственной опоры человека, который свалился с луны и теперь, весь в немеркнущих синяках, мается жизнью на чужбине, было для нее то, что состояние это не длится долго.

Она удивилась, когда однажды — месяца через четыре, наверное, к середине их первого лета — поняла, что, скучая по дому, ощущает этот дом уже не в своей квартирке на Куусинена, но — у Журанкова. С Журанковым. Возле Журанкова.

Делать счастье оказалось самой интересной, и самой важной, и самой творческой работой, какую только можно себе представить. Эта работа ее засосала и поглотила. Остальное сделалось неважным; так, не лишенный приятности способ не сидеть у мужчины на шее, не более. Ремесло. В котором она, что уж скромничать, знала толк.

И ей совершенно не в тягость оказался отслуживший и поселившийся с ними Вовка, его сын; наоборот, он придал миру какую-то законченность. Перспективность. Она сама поразила себе, когда поняла: ей совсем не претит знать, что он от той женщины и что из-за него та женщина вечно будет маячить в их с Журанковым мире. Удивительно, но она, при всем ее темпераменте, ни на миг не ощутила в Вовке просто молодого мужчину — молодого, но, между прочим, не столь уж намного моложе себя, возрастом она была посреди между старшим Журанковым и младшим; она с самого начала ощутила его как сына, хоть смейся.

Но вот когда она ощутила, что у Журанкова — прорыв, то едва не приревновала. В этом чувстве не было ничего от эгоистического стремления видеть спутника жизни постоянным неудачником, чтобы вечно нуждался в поддержке, опеке и уж никуда не делся; ничего не было от трусливого безумия, искушающего перешибить кобелю ноги, чтоб не сбежал. Но если Вовка придал миру завершенность, не нарушая его единства, то успех оказался бы чужеродным. Лишним. Счастье сделалось настолько полным, что не нуждалось во внешнем успехе. Внешний успех был настолько суетнее и никчемней счастья, что словно бы пачкал его и мутил. Как если бы кто-то вlepил ком грязи в тихо сияющую хрустальную люстру. Звон бы, конечно, пошел — на мгновение, а вот бурая жижа текла бы и сохла слепой коркой вечно.

Но то была, конечно, бабья блажь. Мужчинам нужны свершения, хоть кол им на голове теши; и после мимолетного замешательства она вполне смогла радоваться вместе с Журанковым и ребенком. То есть его ребенком.

А когда она обнаружила, что кончилась ее лафа, ее незаслуженный фарт наслаждаться ролью матери взрослого сына, не испытав ни малой доли тех прелестей, которые суждены лично производящим потомство настоящим матерям; что скоро и ей доведется испытать этих прелестей сполна...

Было страшно и сладко. И не было сомнений в том, что это надо делать. И было немножко совестно перед Журанковым, потому что явно не вовремя: у него там какие-то великие дела, четырехмерный континуум гнется — а у нее задержка, и струйный тест, вкусив той простенькой струи, для вкушения кото-

рой он создан, положительно подмигивает бескомпромиссным глазком.

Да, с самокритичной иронией подумала она. Учена баба грамоте или не учена — в конечном счете она все равно одна сплошная физиология. Говорливый струйный тест на семейное счастье.

За окном медленно плыла ночь, и небо цвета пепла смотрело им в глаза.

— Наташ, я хотел с тобой поговорить...

— А смешно — я тоже хотела с тобой поговорить.

— Ну, давай ты первая.

— Нет, ты.

— Женщины и дети вперед.

— Мы же не на тонущем корабле, Костенька.

— А я тебя не только в шлюпку, но и в любую дверь первой пропускаю.

— Ага, вдруг в пещере медведь? Женщину вперед!

— Да ну тебя!

— Ладно. Давай говори.

— Нет, ты говори.

Оба замолчали в ожидании. Оба подождали несколько секунд в уверенности, что собеседник сдастся первым. Оба поняли, что не дождутся и надо все же начинать самому. И оба начали одновременно:

— Мы с Вовкой не справляемся, нужны третьи руки...

— Ты знаешь, так получилось, что беременна.

Оба ошеломленно осеклись. Рывком отвернулись от неба, уставились друг другу в глаза. Потом он осторожно положил ей ладонь на голое, гладкое плечо. А она уткнулась ему в щеку лбом. И снова оба заговорили одновременно.

— Костя, я — конечно, все, что надо...

— Вот хорошо. Может, мы теперь наконец поженемся.

— Спасибо вам, что приехали. Всем, друзья, огромное спасибо. — Журанков, счастливый и размлевший от пережитого в загсе нервного напряжения, улыбаясь до ушей, взял со стола бокал шампанского и с детским тщеславием постарался так его поднять, чтобы обручальное кольцо на пальце было видно всем. — Конечно, для меня неожиданность, что мы вот так все собрались, но — очень приятная неожиданность. Честное слово, хотите верьте, хотите нет, а я страшно рад вас видеть.

Узкий круг семейного пограничья за двумя сдвинутыми столиками в кафе был все тот же — словно нескольких совсем не похожих людей заколдовали, навеки обязав время от времени прерывать разрозненное кружение по независимым жизненным орбитам и схлопываться в плотное компактифицированное многообразие, чтобы с напряженно дружелюбными лицами в очередной раз пытливо всмотреться друг в друга.

Маме о предстоящем торжестве в одном из писем сообщил Вовка. Было совершенно нелепо этого не сделать. Катерина долго не могла решить, надлежит ли ей повидать по такому случаю сына и бывшего мужа, гадала и прикидывала и так, и этак. Она была благодарна Журанкову за то, что тот выбил у Вовки из головы дурацкую блажь продолжить армейскую службу и взял его к себе в штат — судя по всему, на какую-то скромную синекуру, да и то слава богу, все не казарма. И в то же время она простить Журанкову не могла, что именно из-за этого сын окончательно укоренился теперь в Полудне, а не с нею; она до сих пор чувствовала незарастающую пустоту там, где

должен был проказничать, лениться, не знать, что надесть, и от избытка молодой энергии делать обаятельные глупости ее единственный уже не подросток, но еще не мужик. Однако в глубине души она понимала, хотя признаться себе в том было неловко, даже стыдно, что лишь теперь, когда волею судеб висевшая на ней столь долго ответственность за ребенка с нее свалилась, она наконец-то стала самостоятельной, свободной и молодой. Не глупой несмышленной девчонкой, нет, но молодой и при этом вполне искушенной женщиной; жизнь выписала странную петлю, так что очумевшая от материнских забот, бестолково тыкавшаяся туда-сюда ради лучшей доли сына тетка, выглядевшая достаточно прилично, но возраста, в сущности, не имевшая, расположилась сразу за глупой несмышленной девчонкой, а вот молодая, но искушенная женщина настала уже после тетки. Оказывается, так бывает. Сейчас она впервые была собой и жила для себя и своей радости. Ей казалось, что, побывав за двумя мужьями, вырастив сына, она только сейчас, в свои сорок (ну, с малым хвостиком — тс-с), которых ей никто не давал, наконец впервые любила. Широкий человек, как говорил кто-то из братьев Карамазовых, слишком широк... Если бы она принимала решение одна, то не поехала бы, наверное. Но Фомичев не дал ей сделать эту эгоистичную глупость. Не она, а он, ее Леня, доказал, как дважды два, что именно сейчас она не может и не имеет права оставить Вовку без материнской поддержки. Что бы там ни случилось между родителями, сын должен знать и чувствовать: связи между ним и теми, кто его произвел на свет, нерасторжимы и ничто им не грозит. Мама рядом, и всегда будет рядом. Конечно, Фомичев был прав; странно, что он, мужчина, так тонко все это почувствовал и по-

нял. Ну а на том, чтобы сам Фомичев поехал с нею, настояла уже она — немислимо было бы ехать одной. Они там женятся, а я буду сидеть за праздничным столом брошенкой? Впрочем, она подозревала, что Леня именно этого от нее и ждал; он тоже не мыслил отпускать ее одну и, наверное, хотел как-то наладить контакт с Вовкой, хотел стать для него если уж не своим — это вряд ли было возможно, — но по крайней мере не совсем посторонним и чужим. Леню можно было понять. И она, решив, что он ждет от нее предложения поехать вместе, с легкостью пошла у него на поводу. Ей было сладко идти у него на поводу.

Фомичев сидел слева от нее. Справа от нее расположился, конечно, сын, а сразу дальше — нынешние молодые: Журанков и Наташа. Фомичев слегка тушевался. Нынешняя его позиция совершенно никчемушно акцентировала тот факт, что его место среди этих людей разительно переменялось, и со вполне его устраивавшей периферии, где так удобно помалкивать и наблюдать, он вдруг переместился к центру. И все благодаря нечаянной встрече с отравленной Катериной. В глубине души он был уверен: таких случайностей не бывает, не случайность это, а промысел. Поразительно, каким страшным образом у человека может завестись семья, думал он иногда, лежа в постели с открытыми глазами и бережно вслушиваясь в почти беззвучный сон жены; эта женщина так изменилась с момента их встречи, что, будь ему свойственно тщеславие, он ходил бы, постоянно спотыкаясь из-за того, что задран нос. Когда они встретились, она выглядела ухоженной; теперь она стала юной. Она стала смеяться взახлеб, беззаботно, как школьница. Она стала вести себя так размашисто, необдуманно, бестолково, будто вся ее огромная счастливая жизнь

еще впереди. Он любил ее, как живое неопровержимое доказательство того, что способен улучшать мир, пусть и не для всех; он дня без нее не мог. Конечно, нельзя было упускать случай на столь законном основании побывать здесь, в Полудне, и свидеться со всеми, с кем месяцами не подворачивалось предлога встретиться. Уж хотя бы проснувшийся относительно недавно интерес ее бывшего мужа к делам космическим не находил рационального объяснения; во внезапную страсть матерого демократа к героическому покорению околоземного пространства Фомичев не мог поверить. А снимать надолго руку с пульса журанковских дел было просто недопустимо. Фомичев провернул эту поездку с легкостью. Но теперь сидел, как каменный, и с ужасом понимал, что не сможет ни единого вопроса задать ни Журанкову, ни Бабцеву, ни прямо, ни косвенно. Ни на миг не в силах заставить себя забыть, что ему обязательно надо что-то у них выяснять, выявлять, уяснять, он понимал, что, стоит ему начать делать это, он почувствует себя полным подонком и будет чувствовать себя подонком всю оставшуюся жизнь. Он приехал сюда как ее муж, приехал потому, что они любили друг друга, и оказалось — он не может применить это по работе. Как бы важна работа ни была. Не утратить уважения к себе и не потерять чувства единства, сродства, не поставить между собой и любимой женщиной непреодолимый барьер угрызений совести от того, что использовал ее, как отмычку, было, оказывается, важнее.

Бабцеву в ответе на одно из его писем невзначай обмолвился о близкой женитьбе сам Журанков. Бабцев сорвался с места, не размышляя. Перспектива окончательно остаться за бортом ужасала. Новая жена могла даже Катерину мало-помалу оттереть от сы-

на; что уж говорить о нем, отчине! Да и Журанков становился все более самостоятельным в окружении пустившей в его доме крепкие корни новой подруги и сына, которого он хитрым маневром бесповоротно сманил к себе, пообещав, как понимал Бабцев, непыльную и бесхлопотную ученую карьеру при богатом частном хозяине. Нельзя было их упускать. Нельзя. По всем статьям — и житейским, и деловым. И потом... Чертова Катерина. Ему хотелось увидеть, как она живет. Ему хотелось увидеть, как она. Ему хотелось ее увидеть. А получилось, что сейчас он смотрел больше на Вовку; тот был поразителен. Он повзрослел словно лет на пять. А поумнел на все десять. Странно было даже вспомнить, что это тот самый недоросль, шалопай, который каких-то три-четыре года назад так раздражающе громыхал стрелялками на компьютере. Куда что делось, откуда что взялось? Неужто и взаправду... Нет, неужто НАСТОЛЬКО взаправду русскому серьезности и ума может вогнать только казарма? Неужели Вовка там кого-то по-настоящему убил — о, конечно, отцы-командиры ему объяснили, что это враг! — и теперь из-за этого почувствовал себя таким полноценным? Чудовищный народ... Даже Вовкина приветливость не радовала, она казалась теперь совсем иной, чем прежде; тогда мальчишка был наивный, любому капустному листу радующийся домашний кролик, а нынче — снисходительно позволяющий себя погладить сытый снежный барс. Бабцев оказался не готов к такой перемене и не знал, как с пасынком себя вести. Парень стал совсем взрослым. Взрослые могут дружить, только если они единомышленники — а о каком единомыслии могла тут идти речь? Бабцев же, в конце концов, не был машиной для реального убийства выдуманых врагов!

Корховому о том, что выходит замуж, написала Наташа. И даже мягко заверила, что, если ему вдруг захочется приехать к ней на свадьбу, она будет страшно рада его видеть, потому что все равно, хоть они давно не виделись, продолжает числить его в друзьях. Наташе было совестно перед Корховым. При всей ее темпераментной взбалмошности, энергическом ее биении в человеческой гуще, в жизни ее водилось совсем не много близких мужчин, и Корховой был отнюдь не самым нелюбимым; если бы она не встретила Журанкова, она это знала твердо, она была бы с Корховым долго, может быть, даже до сих пор. Его беззащитность, ранимость и нескончаемые старания сделать себя лучше, чем он есть, кинули ее к нему так ненадолго лишь потому, что все эти качества присутствовали в Журанкове вдесятеро; а ей в ту пору именно такого самоутверждения не хватало, чтобы очнуться от изжитой себя к новой себе. Поэтому она до сих пор чувствовала себя перед Корховым виноватой. Это письмо и это неявное приглашение были, в сущности, очередной беспомощной попыткой попросить прощения. Корховой приехал, как царь в заштатную провинцию. Он, конечно, далек был от мысли, что этим приглашением она намекает на возможность возобновления близких отношений по тому, скажем, принципу, который он спьяну озвучил на их последней, уже такой давней, встрече: «душу мужу, тело мне»; но то, что она спустя столько времени явно к нему все же не равнодушна и в глубине души тоскует, для него стало ясно. А его к этому времени уже клюнул жареный успех. Ему уже ни к чему были золотоискательские труды, добыча по крохе, по крупице сведений о единственном полузабытом проекте, который то ли был, то ли нет — в самом деле, не со-

шелся же на орбитальном самолете свет клином. При минимальном усердии и максимальном воображении таких сюжетов можно было играючи накопать горы. И он копал. На одной климатической войне с аляскинским ХААРПом он ехал два месяца, пять серий, а ведь не показал ни единого документа. Он победил, и эпоха растерянности безвозвратно осталась в прошлом. Рейтинг его передачи не мог догнать, конечно, каких-нибудь реалити-шоу с матюгами, порнухой и мордобоем, но ведь от образовательной тематики никто в здравом уме и не станет этого требовать; среди научно-популярных мыльных опер работы Корхового котировались очень высоко. Сейчас он прибыл только, чтобы показать: он ни в ком здесь не нуждается, он, наконец, перестал зависеть от чужой дружбы, чужого расположения, чужого сочувствия. Вовку он панибратски хлопнул по плечу: мол, кто старое помянет... С Фомичевым, с которым он поразительным образом ни разу не встретился после того, как тогда в кафе впервые покривил перед другом душой, он обменялся рукопожатием так снисходительно, с такой рассеянной приветливостью, что тот всерьез заподозрил, будто старый приятель уже где-то принял, не дожидаясь начала торжеств.

— Горь-рь-ка! — громогласно и почти издевательски скомандовал Корховой. На него обернулись все. А Наташа глянула встревоженно, почти опасливо: искренен ли он, по-доброму ли он это, или переживает и за веселым буйством прячет ревность, негодование и боль. Он видел ее насквозь; ему стало смешно. Только бы не перебрать нынче, подумал он, а то снова будут смотреть сверху вниз. Но вот черта с два. — Не тушуйтесь, молодые!

Она, видно, решила, что — по-доброму, и, поста-

равшись заглянуть ему в глаза, благодарно улыбнулась. Только этот ее Журанков был чист, как слеза, и все видел в один слой. Он, стоя, продолжая правой рукой держать бокал, левой легонько потянул жену к себе вверх, она послушно встала, подставила губы и, точно святая, даже порозовела лицом — можно подумать, не целовалась никогда, подумал Корховой. Потом они, на радость честной компании, слились, так сказать, в поцелуе. И по тому, как осторожно Журанков прижимал жену к себе, и если учесть, что одета она была в какое-то слишком уж свободное платье, совершенно необъяснимо отмахнувшись от возможности в победный день продемонстрировать городу и миру свою весьма памятную Корховому, вызывающе хлесткой красоты и призывности фигуру, вполне недвусмысленно можно было заподозрить, почему вдруг столь внезапно после долгого сожителства понадобилась ей эта свадьба.

Бабцев, как бы на правах старого товарища мужа, одобрительно крякнул; ему очень важно было обновить, а по возможности и укрепить дружеские отношения с Журанковым, и потому он всей душой был готов праздновать его свадьбу весело и по полной, чтобы, насколько от него зависит, обеспечить Журанкову настоящий праздник. Катерина отвернулась, перекинулась взглядами с чем-то озабоченным, но старательно улыбающимся Фомичевым. Вовка несколько неловко улыбался, глядя то на маму, то на целующегося с тетей Наташей отца.

Потом Наташа снова уселась, а Журанков, оставшись на ногах, перевел дух и продолжил свою речь; Корховой откинулся на спинку стула, приготовившись слушать долго. Но Журанков обманул его ожидания.

— Еще раз спасибо! — сказал он. — А теперь я все

же закончу то, что начал... Я хочу, чтобы первый тост был у нас нетрадиционной ориентации. Не за нас — а за вас! За гостей, потому что вы не поленились сделать такой путь ради нас с женой. Пьем, господа!

И он крупными ровными глотками, будто воду, разом махнул бокал шампанского, а потом по-гусарски бросил руку вниз и назад, будто решил от души звездануть опустошенным бокалом об пол. У Катерины даже дрогнуло что-то внутри в преддверии звонкого стеклянного взрыва — она не любила ни резких звуков, ни чрезмерного гусарства, а уж видеть в роли гусара Журанкова было просто нелепо. И, конечно, Журанков в последний миг тормознул руку, так что вместо бокала в пол полетели только брызги.

— Я сейчас закончу, и мы начнем есть и пить спокойно, — не унимался новоиспеченный муж. — Только вот еще что хочу добавить. Я предлагаю вам сейчас, если вы, конечно, согласитесь, не слишком набираться жидкого веселья — хотя все у нас тут припасено в достаточном количестве. Потому что у меня сюрприз. А после сюрприза, опять-таки по желанию, мы сюда вернемся и продолжим.

— Что за сюрприз? — деловито спросил Бабцев.

— А вот что, — улыбнулся Журанков. Катерина чуть вопросительно посмотрела на сына («Что это еще наш папа затеял, ты ведь знаешь? Ничего, я надеюсь, дурацкого?») и с некоторым удивлением увидела, как Вовка опустил глаза. Что-то тут не так, подумала она.

— Ни для кого не секрет, конечно, чем мы тут собирались заниматься, — продолжал Журанков. — Но человек предполагает, а глобальная экономика располагает. Многие проработки на новые носители у нас уже сделаны, а я по некоторым чисто теоретическим плазменным делам расчеты закончил...

Ого, подумал Бабцев. С чего бы такая открытость?

— Сейчас у нас с сыном, который оказал мне честь, став в нашем заведении лаборантом...

Это была шутка, так все и поняли. Кто хотел выразить ей одобрение, тот засмеялся. Бабцев — жизнерадостнее всех.

— Вот. Я рад, что встретил понимание... У нас с сыном возник некоторый простой. И, пока суд да дело, по совместительству мы, знаете, ассистентами психологов заделались. Среди прочих штучек, могущих понадобится российской, да и мировой, космической отрасли, когда до нее у глобальной экономики снова дойдут руки, наши ученые головы разработали совершенно замечательный тест. Он примерно так формулируется: мечтательный ли вы человек? Обладают ли для вас фантазии притягательной силой, способны ли вы в своих мечтаниях хоть на краткий миг, да перенестись в грезах своих туда, куда вас зовет и манит ваша фантазия?

— Эк завернул! — громко сказал Корховой.

— Они там, кажется, полагают, что такое знание помогает понять, сможет ли человек работать долго и упорно в столь скупой на отдачу области, как космос, — сказал, обернувшись к нему, Журанков. — Мне это тоже показалось поначалу игрой ума. Чисто вытягиванием денег на фу-фу. Я до сих пор толком не знаю, для чего этот тест. Но то, что он дает реальные результаты, мы уже успели убедиться. Если вам интересно узнать про самих себя точно, насколько вы мечтательны, я мог бы это устроить и провести всех в лабораторию. Мы можем отнестись к тестированию как к забавному и в то же время познавательному аттракциону. Наш скромный Диснейленд, так сказать. Развлекуха. А потом, усталые и довольные, полные

новых впечатлений, вдоволь насмеявшись, мы могли бы снова перейти к... э-э... водным процедурам.

Бабцев пристально смотрел на расшалившегося, разговорившегося, раскрасневшегося от возбуждения Журанкова. Да, это все было похоже на правду и как нельзя лучше показывало, что дела и в самой корпорации не ахти, и у Журанкова в ней — подавно. Физика-теоретика, которому стало нечем заняться, поставили, чтобы не вводить и не оплачивать специальной штатной единицы, на подхват к психологам... Это о многом говорило. И, самое забавное, вчерашний разговор со старым другом Кармадановым, который Бабцев успел провести, все это подтверждал и дополнял. А то, что рассказал сейчас Журанков в порыве свадебной откровенности, вполне вписывалось в рассказ Кармаданова и дополняло уже его.

У Бабцева было прекрасное настроение сегодня. А Журанкова он почти любил и готов был поддерживать хоть в чем — так тепло легли Бабцеву на душу сведения о поражении Вовкиного отца и его фактическом деловом крахе. Финансирование проекта, горестно рассказал Кармаданов, осуществлялось в последние два года через пень-колоду, о былой господдержке и думать не приходилось, а у частного хозяина корпорации тоже, по всей видимости, для денег нашлось куда лучшее вложение, чем космические бредни. Чего и следовало ожидать. Корпорация превратилась в некий придаток официального космического агентства, всячески старающийся показать ему, агентству, что еще может для него поработать на подхвате хоть по второстепенным делам. Журанков, ходили слухи (и вот он сам их сейчас, по сути, подтвердил), даже обсчетами своих плазменных облаков уже перестал заниматься, прикрыли его с плазменными

облаками, хотя в свое время для разработки этой проблематики Полдень раскошелился на какую-то прорву компьютеров последнего поколения и лазерных установок; вроде бы у Журанкова была мысль с помощью лазеров добиться высокой аэродинамической управляемости этого самого облака. Часть информации не была для Бабцева новой; он еще прошлой осенью и из писем Журанкова, и из разговоров с Кармадановым, когда тот однажды навел на первопрестольную по каким-то своим счетным делам, насчет лазеров и компьютеров знал, но теперь это окончательно подтвердилось и разъяснилось. А вот что вчера рассказал Кармаданов нового: Журанков, за отсутствием иной работы, пробует на какой-то новой, здешней разработки, аппаратуре статистическое тестирование добровольцев (в том смысле, что всех, кто согласится потратить на ерунду свои драгоценные полчаса) на предмет выявления каких-то свойств характера, потребных для особо плодотворной работы в космической отрасли или, паче чаяния, в космическом полете. Говорят, уже чуть ли не тыщу человек отработал. Правда, результаты не афишируются, и касательно них Кармаданов ничего сказать не мог. На шуточный вопрос Бабцева, отчего сам Кармаданов не согласился пройти такой тест, тот ответил, что ему и не предлагали, а если бы и предложили, он бы послал куда подальше — он про свой характер и так все знает, а чего не знает, про то можно спросить Руфь.

Кармаданов был по-детски раздосадован тем, что вот он, Бабцев, живущий бог весть где, то есть по-прежнему в первопрестольной, зван, как приятель, как близкий знакомый, на журанковскую свадьбу, а сам Кармаданов, живущий и вкалывающий здесь уже несколько лет, до сих пор не имел случая с Журанко-

вым и его семьей даже просто познакомиться. Конечно, не больно-то и хотелось — но несправедливо! И так разговорился, что было просто не остановить — а Бабцев, понятное дело, и не пытался. «Он же совершеннейшим бирюком живет!» — жаловался Кармаданов. И в этот момент на кухню вошла, чтобы украсть горсточку конфет для себя и мамы, Серафима. Бабцев ее не видел уже довольно давно и в первый момент даже не узнал, только внутренне дрогнул от неожиданности — что это за юные дивы тут разгуливают, как у себя дома? Серафима, поймав, видимо, кончик разговора, остановилась с розеткой трюфелей в тонких пальцах: «У него и сын такой же. Яблочко от яблоньки...» Кармаданов удивился: «Первый раз слышу, что вы знакомы». — «А мы не знакомы, — ответила Сима. — Просто он у нас зимой выступал в классе. Я тебе рассказывала, нам преподавы на последний год измыслили новый способ воспитания, «Выбирай себе жизнь», или типа так... Зазывали для старшеклассников тех, кто шибко себя на каком-нибудь поприще проявил, и они как бы пиарили свой жизненный выбор... Журанков-младший пришел, отбарабанил свой острый сюжет и сбежал, даже на чай не остался. И вообще...» Это детское финальное «и вообще» в устах восемнадцатилетней нимфы, гибкой и яркой до того, что у Бабцева при каждом взгляде на нее что-то напряженно вздрагивало в животе, прозвучало особенно умирительно. «Да, но то, что к вам и сынуля нашего неудавшегося гения заходил, ты мне ничего не рассказывала... — покачал головой Кармаданов. — И на каком же поприще он себя проявил?» Сима уже на выходе из кухни снисходительно полуобернулась через плечо. «Да на русском таком, — с чуть пренебрежительным сочувствием ответила она. —

Спас одних врагов России от других ее врагов и рад-
радешенек: я врагов спас...» И покинула кухню. Баб-
цев перевел дух и сказал, пряча удивление в шутку:
«Как Софья Павловна у вас похорошела...» «Да
уж», — без восторга согласился Кармаданов. «Ей толь-
ко на израильском телевидении диктором работать,
на каком-нибудь заглавном канале», — бросил Баб-
цев пробный шар. «Ага, сейчас! — огрызнулся Карма-
данов. — Бредит физматом да физтехом». «С ума со-
шла!» — от души возмутился Бабцев. «Она уже сей-
час слова такие знает, каких я отродясь не слыживал.
Знаешь, что такое топологическая мода?» «Ну, мода
какая-то... — без уверенности ответил Бабцев. —
Фэшн...» «Я, когда первый раз услышал, тоже так по-
думал, — удрученно сказал Кармаданов. — А она мне
мозги вправила». — «И что?» — «Ха! Думаешь, я могу
это запомнить и воспроизвести? Какая-то намотка на
какое-то циклическое измерение...» «Офигеть!» — от
души сказал Бабцев. «Хоть бы один парень у нас в
гостях был замечен, — пожаловался Кармаданов. —
Хоть бы пивом от нее один раз пахнуло... Знаешь, я
раньше радоваться не мог, какая девочка правиль-
ная растет. А теперь уже беспокоиться начинаю.
Помнишь, может быть, когда ты первый раз к нам
приехал, я тебе рассказывал, что она на лыжах ногу
повредила и какой-то доброхот ее до травмы донес?
И она так восхищенно о нем отзывалась?» — «Ну,
припоминаю что-то...» «Так вот это был последний
раз, когда она говорила о мужчинах. И Руфь ничего
понять не может, с ней — тоже на эти темы ни гу-
гу...» — «Никуда не денется», — наскоро успокоил
друга Бабцев; сейчас ему хотелось говорить совер-
шенно о другом.

Все же тот, кто ведает деньгами, пусть даже не

единолично, но, что называется, держит руку на пульсе вливаний — всегда несравненно информирован; ценнее такого друга нет. Вот что Бабцев еще дополнительно от Кармаданова узнал. Пусть это уже была не достоверная информация, а слухи, сплетни, то, рассказ о чем всегда предваряют размытым словом «поговаривают...». Работы по попыткам смоделировать плазменное облако прекратились, возможно, не просто из-за недостатка средств, не просто оттого, что их отложили до лучших дней и готовы возобновить, как только конъюнктура изменится. В середине весны сам Журанков, а через несколько дней — и его сын проходили самый тщательный медицинский осмотр. Их даже госпитализировали. «Разве что первых космонавтов так вызванивали, высвечивали и изводили на анализы, — уточнил Кармаданов. — Мол, не слишком ли повредились на орбите...» А если учесть, что, как поговаривали, недели за три до этого в биологическую лабораторию сам же Журанков с совершенно горящими глазами притащил белую мышку и потребовал выяснить все доподлинно про ее мышинное здоровье, поскольку та случайно подверглась периферийному воздействию ионизированного облака... «Соображаешь? — спросил Кармаданов. — Похоже, у них там какая-то тихая авария произошла. Или даже несколько, одна за одной. Как запуск — так неудача. И, будто в советские времена, про то — ни звука». Так вот хотя, по всем разговорам судя, и биологические исследования, и медосмотры дали совершенно положительные результаты, то есть ни малейших вредных изменений не было замечено ни в мышке, ни в людях, именно с этого момента, сказал Кармаданов, былая надежда отечественной космонавтики Журанков ни с того ни с сего оказался на подхвате у

какой-то команды психологов и принялся ведать набором статистики по малопонятным новомодным тестам на воображение... Кто эти тесты выдумал и в чем их суть — Кармаданов ведать не ведал. Бабцев понял так, что Кармаданову это самому обидно — если бы он что-то знал, то сказал бы непременно; полная неосведомленность по этому вопросу Кармаданова самого раздражала. Неприятно ведь, когда работа, за успех которой вполне переживал, вдруг невесть куда рассасывается, и на ее место выплывает юродивая трагикомедия. Но на психологов, предложивших это тестирование, у Кармаданова никаких выходов не было, о них он пока не знал ничего, и даже слухов никаких до него не доходило. Понятное дело — психологи не плазма, не стендовая продувка моделей, не монтаж разгонных блоков; денег они едят немного, а потому от бухгалтерии вполне могут скрываться в тени.

Словом, папа Журанков не только утратил, судя по всему, всякую возможность оказаться в глазах сына триумфатором — чего очень опасался и очень не хотел Бабцев, — но и вообще подверг здоровье сына какой-то опасности. Да, и свое тоже — но это его проблемы, а вот Вовка... Тут было за что зацепиться.

И потому Бабцеву вдвойне интересно было глянуть, что там за хилая психология возникла на месте былых надежд на рыбок к принципиально новым носителям. Журанков поразительным образом готов был сам поднести ему на блюдечке все, или почти все, что до сих пор еще оставалось во тьме.

Банкетное предложение Журанкова было куда как заманчиво.

— Я с удовольствием, — громко сказал Бабцев, видя некоторое удивление и явную нерешительность остальной публики. Все обернулись к нему. И Вовка

тоже. В его взгляде Бабцеву почудилось уважение. И он понял, что на правильном пути; даже если тесты эти и чушь собачья, такой взгляд пасынка дорогого стоил. И Бабцев твердо сказал еще раз: — Готов хоть на центрифугу, Костя, — он старательно вдавил во фразу обращение к Журанкову по имени, напоминая и ему, и Вовке, и себе, и тем более — всем остальным, что они с Журанковым на короткой ноге. И подмигнул Вовке. И добавил громко: — Готов отложить ближайший тост и идти хоть сейчас, — улыбнулся, учуяв чуть было не сложившийся сам собой каламбур, и дождал его: — Меняю тост на тест.

— А я отказываюсь, — улыбнувшись, сказала Катерина, и Бабцев сразу подумал, что это она ему в пику.

— Нет, ну почему же, — вежливо, но совершенно без энтузиазма проговорил ее спутник Фомичев. — Интересно...

— А мне неинтересно, — повернулась она к нему. Еще наплачешься, злорадно подумал Бабцев о Фомичеве. Она тебя еще поманежит... — Я не хочу знать о себе ничего, чего я сама не знаю.

— Ну, напрасно, Катя, — с сожалением сказал Журанков. В его фамильярной интонации проскользнуло что-то отеческое: исходный муж, как-никак.

— Я хочу! — решительно заявил Корховой и отставил пустой бокал. Никто за ним не следил специально, но Бабцеву показалось, что под шумок он успел налить себе еще раз, и стало быть, этот бокал у него был пустым не по первому разу, как у остальных, а уже по второму. — Я живу с открытыми глазами! Константин Михайлович, меня запишите в добровольцы!

— Отлично! — обрадовался Журанков. Он был похож на профсоюзного деятеля, записывающего под-

ведомственных работников на какую-то редкую экскурсию. — Два!

Фомичев после заметной внутренней борьбы нерешительно, с усилием, точно даже в последний момент все еще преодолевая себя, сказал:

— Я бы все-таки тоже попробовал...

Катерина пожала плечами:

— Пробуй, кто тебе мешает. Я ведь сказала только, что я не хочу.

— Три! — победно возвестил Журанков. При этой напористости было даже странно, что ни Наташа, ни Вовка не принимали в игре на соблазнение народа ни малейшего участия и сидели как бы ни при чем. Просто переживали. Вовка отрешенно глядел себе в тарелку. Это, наверное, что-то значило, но Бабцев никак не мог сообразить, что.

— Тогда не будем откладывать! — загорелся Корховой. — Пошли?

Они пошли.

Оказалось, от кафе до здания лаборатории, где должно было проводиться тестирование, рукой подать; наверняка Журанков все это заранее просчитал и заказал столики именно в ближайшей к своему логову точке общепита. Шли вдоль высокого и крупного здания, входившего, похоже, в один институтский комплекс с видневшейся впереди относительно небольшой и приземистой коробкой, куда их вел Журанков. Был разгар рабочего дня, пустынно и малолюдно, и только вдоль заполненной парковки молодая мама тянула за руку сына лет четырех или чуть старше и что-то ему втолковывала. Про машины, похоже. Забавно, что дорогих машин тут не было ни единой, и значит, подумал Бабцев, платили тут, не смотря на всю помпу, негусто. Оживленные гости

миновали маму с сыном как раз в тот момент, когда те проходили мимо допотопного «Москвича», каким-то чудом затесавшегося в ряды современных чудес отечественного автопрома и расхожих иномарок. Бабцев с умилением услышал: «Нет, это не иностранная». — «Не иностранная? А почему она такая странная?» «Потому, — терпеливо разъясняла молодница карапузу, — что это очень старинная машина, она еще при Советском Союзе сделана...» Бабцев с удовольствием послушал бы продолжение, но они шли гораздо быстрее мамы с сыном; не останавливаться же было и не возвращаться же специально. Про машину еще можно как-то объяснить, думал Бабцев. Но как эта молодая женщина объяснит своему отпрыску где-то так две тысячи восьмого года рождения, что такое Советский Союз?

Или, подумал Бабцев, столь дурацких вопросов смысленные нынешние детки уже и не задают?

Хорошо бы. Хорошо бы, чтоб и название это забылось навсегда, выветрилось, как вонь из нужника... Да, нужник все равно останется нужником — но хоть вонять перестанет.

У охранника на входе просто челюсть вывалилась, когда к турникету подвалила небольшая, но характерно оживленная толпа. Журанков, наклонившись к окошечку прозрачной кабины, что-то вполголоса поведал охраннику, тот замотал головой. Журанков повысил голос:

— Под мою ответственность, Пал Никодимыч!

Гусарит, подумал Бабцев. Как гусарит... Не от хорошей жизни такое. Ну, ладно... Пропустили. Да, уровень охраны аховый. Правда, заставили всех написать свои фамилии в каком-то журнале. Наверное, туда заносят всех подопытных, иронично подумал Бабцев.

Впрочем, оценив, как уже за постом охраны Журанков ведет их по коридору сквозь одну систему, потом сквозь другую, то ладонью заставляя срабатывать электронные замки, то, похоже, сканированием сетчатки, Бабцев несколько изменил первоначальное мнение. Плечистый вахтер в камуфляже, сидевший при входе, был, надо полагать, таким же рудиментом Совдепа, как «Москвич» на стоянке. Ностальжи...

— Только не спрашивайте меня, как это работает, — сказал Журанков, открывая перед гостями последнюю дверь. — Какое-то лазерное возбуждение нервных окончаний, что ли... Я тут, честно сказать, просто кнопки нажимаю и рапортую о результатах.

Прекрасный финал карьеры, едва сдерживая улыбку, подумал Бабцев. Ему хотелось расцеловать Журанкова.

Просторный зал. Ну, понятное дело, пульта всякие. Какая-то здоровенная решетчатая дуля висит, типа скелет богатырского шелома, занимая все пространство от высоченного потолка и ниже, почти касаясь голов. Вдоль стен, на высоте метров шести — опоясывающая весь зал галерея, наверное, для облегчения доступа к верхним сегментам этой дули. Шут его знает, что тут делалось раньше, могли ли здесь испытывать нечто серьезное или сюда, например, просто свезли все ненужное. Бабцев был в этих железных делах плохим специалистом; странно нерешительный Фомичев («А не Катерина ли его уже успела затрахать? Очень возможно! На себя не похож!») и подозрительно розовощекий и громовый Корховой, в силу своей научно-популярной ориентированности, вероятно, видели тут и соображали об увиденном больше. Впрочем, украдкой покосившись на лица, с позволения сказать, коллег, Бабцев с удовлетворени-

ем увидел на них полную тупизну. Ну, значит, мы в одной лодке, подумал он. И слава богу.

Журанков усмехнулся, немного нервно облизнул губы, даже потер ладони по-лекторски и сказал громко:

— По-моему, мы, постоянно живя в наших северных широтах, испытываем особое тяготение и особую слабость к южным морям. Нет, мне кажется, ни одного русского, который не мечтал бы побывать на Таити. Хоть одним глазком глянуть. Конечно, мы, поразмыслив, раньше или позже вспомним, что там, наверное, до сих проказа и нищета, стоит только покинуть зону курортов, но скажи слово «Таити» — и первое, что мерещится, это такая лучезарность, лазурь и нега, каких, может, на самом деле и в природе-то нигде не бывает. Вы согласны?

Все неуверенно молчали, поглядывая друг на друга, и не знали, как реагировать. Бабцев почувствовал, что Журанков опять нуждается в его поддержке, и заявил:

— В общем-то, да. — И не удержался. — Конечно, Карибское море — тоже ничего себе. Я помню, когда нас привезли на...

— Согласен, Валя, согласен, — торопливо прервал его Журанков, и только тут Бабцев спохватился, что его воспоминания были бы сейчас не просто неуместны — они ему самому могли помешать выяснить, чего Журанков добивается. — Но тем не менее у Таити есть особая магия. Все мы читали «Луну и грош», все мы видели картины Гогена, все помним историю «Баунти» и капитана Блая...

— Даже я, — неожиданно подал голос Вовка и улыбнулся: мол, наше поколение, конечно, не столь блещет эрудицией, но такие элементарные вещи все ж таки успели уразуметь. — Во всяком случае, при

слове «Баунти» первым делом я вспоминаю отнюдь не шоколадку.

Вы смотрите-ка, подумал Бабцев почти ревниво, как ребенок подыгрывает отцу... Игра в четыре руки.

— Поэтому у нас у всех мысленный образ Таити примерно одинаков, — закончил Журанков. — Вот почему именно сей райский остров фигурирует в тесте, Валя.

— Понял, понял, — добродушно поднял руки Бабцев. — Прошу прощенья. Влез некстати и уже это осознал.

— Вот некоторым из вас сейчас и придется увидеть Таити как бы воочию, — закончил Журанков. — Если не доведется — что ж... Это ни в коем случае не умаляет иных ваших достоинств. Прошу всех, согласившихся рискнуть ради науки и познания себя, встать вот сюда. Поплотнее друг к другу можно... Сейчас мигнет слабенькая такая розовая вспышка...

— Больно не будет, — добавил Вовка и опять улыбнулся. Оглянулся на Катерину. — Mam, а может...

— Нет, — сказала та.

— Жаль, — сказал Вовка.

— А ты? — пытливо спросила мать. Вовка посерьезнел.

— Да я уж давно все измерил, — ответил он.

С растерянными, немного принужденными улыбками глядя друг на друга, Бабцев, Фомичев и Корховой встали под решетчатым шоломом и почти соприкоснулись плечами. Бабцев всей кожей чувствовал неестественность, вопиющую фальшь происходящего; это был фарс. Вопрос, что этот фарс значил... Журанков сделал два шага к одному из пультов и небрежно тронул одну из кнопок. Откуда-то из нависающей над головами шлемообразной решетчатой рамы столь мимолетно, что глаз почти отказывался

его воспринять, мигнул бледный розовый свет. И больше ничего не произошло. И тогда уже в голос ахнул Фомичев. От неожиданного звука Бабцев вздрогнул.

— Эксель-моксель, — очумело озираясь, сказал Фомичев потом. — А ведь правда!

— Вы что-то видели? — резко повернулся к нему Журанков.

— Ну да! Только очень коротко... проблеском. Ночной океан, вроде светать начинает... Луница. И гористый темный контур вдали на воде. Чертовщина какая-то!

— Тест завершен, — сказал Журанков. — Мы снова свободны. Спасибо.

— На острове Таити жил негр Тити-Мити, — с враждебной веселостью сказал Корховой. Наташа подошла к нему ближе.

— А ты что? — спросила она его вполголоса. — Неужели не мелькнуло?

— Еще как мелькнуло, — ответил Корховой, скалясь. — Мелькнуло, что ты, мать, сильно располнела за это время.

Наташа покраснела.

— И все? — разочарованно спросила она.

— А чего бы тебе хотелось?

— Странно, — тихо сказала она и отошла. Корховой смотрел ей вслед, морщась, как от кислого.

— Леонид Петрович, — спросил Вовка, — а хижину Гогена вы видели?

— Хижину?

— Ну да.

Фомичев огорченно помотал головой.

— Нет... Не видел никакой хижины. Да я и не слышал никогда про хижину Гогена. Если б и увидел — не узнал. Но там вообще вроде как ночь, — он иска-

тельно поглядел на Журанкова, на Вовку. — Лунная дорожка на воде шириной с Тверскую. Океан... Наверное, — смущенно улыбнулся он, — у меня очень простые мечты, типа позагорать да выкупаться.

Все молчали. Фомичев окончательно смутился.

— Но с чего мне ночь привиделась? — пробормотал он. — Наверное, потому, что я по лунной дорожке плавать очень люблю...

— Леня, хватит, — сказала Катерина. — Уже не смешно.

— Позвольте вас поздравить, — церемонно сказал Журанков. — У вас великолепное воображение.

Закусивший губу от негодования Бабцев заметил, как отец и сын переглянулись и какой-то явно одобрительный флюид послали друг другу глазами, словно то, что Фомичев не увидел хижины, а увидел ночь, было, наоборот, хорошо; словно именно вопрос о хижине был тестом, возможно, провокацией, и Фомичев этот провокативный тест благополучно прошел. Да что тут, яростно подумал Бабцев, происходит?

Они молча двинулись назад. Миновали одну секретную дверь, другую секретную дверь, миновали вахтера, который, как старым знакомым, помахал им на прощание лапицей. Вышли на улицу. Здесь дышалось легче. И идти стало просторнее. Журанков пристроился сбоку от Фомичева и, улучив момент, буквально взял его под руку и повел в сторону, видимо, для уже отдельной, приватной беседы; Бабцев успел лишь услышать: «Леонид Петрович, я вот о чем еще хотел с вами поговорить...» Катерина осталась одна и безмятежно шла, ни на кого не глядя, шурясь от яркого солнца и подставляя теплomu ветру лицо; она явно наслаждалась какой-то одной ей понятной свободой.

Вовка замедлил шаги, чтобы оказаться с ней вровень, и Бабцев услышал, как он сказал матери:

— Мам, а почему ты отказалась? Или это я тебе в душу лезу?

— Ну, лезешь, — улыбнулась Катерина, — и ничего страшного. Но мне, собственно, нечего тебе ответить, Вовка. Если бы тест показал, что я мечтательная, я бы почувствовала себя дурой. Несовременной волоокой дурой типа Ассоль, стыдобища. А если бы я мечтательной не оказалась, я бы чувствовала себя прагматичной дурой, у которой две извилины как раз на один бизнес. И так, и этак — клин. Лучше уж я не буду этого знать.

— Жаль, — опять сказал Вовка. — МНЕ бы хотелось это знать, мама.

Катерина помолчала.

— Сказал бы раньше, — проговорила она.

Степенно шагающего, переполненного молчаливой яростью Бабцева догнал Корховой. Из розовощекого он уже становился малиновым, в ладони его уютно грелась полулитровая плоская фляга.

— По-моему, — сказал Корховой, — нас тут дурят.

Бабцев хотел не отвечать этому ублюдку, но оказалось, что больше ему не с кем говорить. Да к тому же ублюдок сказал именно то, что Бабцев думал. И каким-то образом получилось так, что все те оказались впереди друг с другом, и только они с Корховым — позади вдвоем.

— По-моему, тоже, — сквозь зубы процедил Бабцев. Тогда Корховой братски протянул ему флягу.

— Хотите? — спросил он, будто они корешковали с Бабцевым сто лет. Бабцев покосился брезгливо.

— Пятьсот метров до кафе, — напомнил он.

— Страшная даль, — сказал Корховой. — Пока дойдем...

И тут Бабцев понял, что после этого непонятого, гротескного теста, которого он явственно не прошел, после этой опрокинутой на голову огромной решетчатой парашаи, переполненной невесть чьим дерьмом, он действительно ничего так не хочет, как просто дернуть крепкого.

— А дельная мысль, — сказал он. — Спасибо. Не откажусь.

8

Материала накопилась прорва, интереснейшего, загадочного, только осмыслить его было некогда. Создавалось впечатление, что строго научным образом его вообще не осмыслить; ну и ладно, пусть, для начала бы осмыслить хоть как-нибудь. Экспериментировать дальше методом, по совести говоря, тыка, не поднявшись на следующий уровень понимания, делалось бессмысленно. Ребенок познания, задорно хохоча, время от времени оборачиваясь, дразнясь и подзуживая: «Не догонишь, не догонишь!», шустро топтал вдаль, то прячась за кустом и крича: «Меня нету!», то резко сворачивая на тропку, зигзагом ведущую в новые дебри.

Но как раз теперь навалилось разом все: то славные свадебные хлопоты, теперь вот это — наверное, нужное людям, но, что и говорить, суетное...

Ладно. Решил съездить, встряхнуться и отключиться, сказал себе Журанков — так отключайся, пора! Считай, подъезжаем...

Не тут-то было. В голове роилось.

Поразительно; казалось бы, совершенно симмет-

ричный опыт с попыткой перебросить голодную кошку поближе к мышке им так и не удался. Пробовали пятижды на разных режимах — ни в какую. Соседская Мурка, столь помогшая Журанковым начать великий путь, извертелась в своем фиксаторе, жадно светящимися глазами неотрывно глядя на нервничающих поодаль мышат, но ни одна вспышка не помогла ей приблизиться к пище при помощи такой простой вещи, как нуль-Т. Отец и сын растерянно переглядывались несколько минут, а потом Вовка — именно Вовку на сей раз осенило от отчаяния и недоумения — заговорщически подмигнул отцу, спрятал храбрых маленьких коллег подальше, выскочил на четверть часа из лаборатории к ближайшему магазину, а вернувшись, торопливо разодрал пластик и в точке финиша вывалил только что купленный пакет кошачьего корма. Мурка встопорщила усы, заныла: «Ха-ачу-у-у!» И было ей счастье. «Старт!» — сказал Вовка уже понявшему, в чем изюминка, Журанкову, тот с готовностью тронул стартер, и мгновенная розовая вспышка выплеснула Мурку из узилища точнехонько к лежащим аппетитной грудой лакомым кусочкам. После чего киса, отнюдь не задаваясь метафизическими размышлениями о многообразии путей к харчам, придирчиво обнюхала гостинец, одобрила и, урча, принялась лопать.

Ну не бред?

Друг друга отец и сын тоже поначалу пересылали, не рискуя, лишь на какие-то метры влево-вправо в пределах лабораторного зала. Только отработав возврат, можно было набраться наглости прыгнуть куда-то вдаль. Но с возвратом оказалось более чем хорошо. Окончательно и бесповоротно убедившись уже не на мышах, а на себе, что переходы через склейки, как,

собственно, и предрекала теория, абсолютно безвредны и не сказываются ни на здоровье, ни на самочувствии (в поезде ездить и то вреднее, потому что душно), они за несколько дней удостоверились, что, как и сулили изначальные расчеты, с помощью толчкового импульса можно задавать и время пребывания в точке переклейки. Однако мало того. Никакой теорией это не предсказывалось и, более того, в рамках исходной журанковской концепции даже объяснению не поддавалось; выяснилось практически случайно, что есть и совсем уж вальяжная возможность просто возвращаться по желанию. Это делало нульпутешествия предельно надежными, отдельный обратный билет оказывался не нужен ни в каком виде. Некие тонкие, абсолютно пока непонятные механизмы взаимодействия между субъектом или, говоря классическим языком эвереттики, наблюдателем, чьи противоречивые мотивации и колебания между возможными вариантами поступков ветвили вселенные, и самими этими результирующими вселенными приводили к спонтанной обратной переклейке субъекта, как только он эмоционально выбирал отказ от уже совершенного перемещения. Звучало данное объяснение куда как красиво, но что на самом деле сей эффект обуславливало, оставалось за семью печатями. Даже прикидок никаких. Однако факт оставался фактом: вернуться можно было в любой момент, стоило лишь захотеть; а для страховки и самой вспышкой получалось задавать крайний срок обязательного возвращения.

После таких открытий грех было не попутешествовать, оправдывая себя тем, что это не безудержные развлечения, а ответственные эксперименты.

На космос они пока не замахивались. Журанков,

правда, уже прикидывал, как бы уговорить руководство без шума и помпы прикупить несколько устаревших «Орланов», чтобы уж свобода совсем восторжествовала, но Земля для начала тоже была велика. Осмелев и, что греха таить, обнаглев, они несколько дней угрохали на то, чтобы хоть пятью минутами, но отметитья во всех местах планеты, которые когда-то почему-то запали в душу. Главное было никому не попасться на глаза на финише в момент перехода, а вообще — возникала воистину беспредельная мобильность, от которой, честно говоря, мозги сносило. В перспективе получался принципиально иной мир. Какие там границы, таможни, какие там визы, какой, прости господи, Шенген? Джомолунгма? Бр-р, и дышать темно. Живописный огрызок вероятной Атлантиды остров Санторини? Ох, глаз не отвести! Озеро Титикака? Натэ. Узоры для пришельцев в пустыне Наска? Ну, может, пришельцам они и видны сверху, а мне как-то фиолетово... Дворец Потала в Тибете? М-да, на это у них сил и средств хватало... Амазонка? Ух ты, ну и водищи! Терракотовая гвардия Цинь Ши-хуана? Вот же мастера были — столько солдатешек наваять, да как забористо; хэнь хао, тунчжимэнь! Большой Каньон? Вау!

Странно, но ни у Вовки, ни у Журанкова ни на миг всерьез не возникло желания заглянуть, скажем, в спальню чьего-нибудь президента, в запасники Лувра, в тайники Внештторгбанка... Шутки они, конечно, шутили между собой — мол, все алмазы наши или, мол, теперь нам пиндосы за «Курск» ответят, но... Возможности возможностями, а порядочность — порядочностью. Любоваться и шкодить — совсем разные вещи.

В пределах Земли расчеты переключек занимали минимум времени, девять-десять минут, редко —

одиннадцать; точки выхода легко брались с глонасса и джи-пи-эс, а там уж знай перемолочивай суммарные пути — и вперед, заре навстречу. Они уже шутили: «Взял интеграл?» — «Взял». — «Тяжелый?» — «Нормальный...» — «Пять секунд — интеграл нормальный... Десять секунд — интеграл нормальный... Тангаж, рысканье — по барабану!» Конечно, с космосом обещало быть посложней. Зато, впрочем, постепенно сама собой создавалась база данных — второй раз уже взятую однажды точку можно было не просчитывать, и россыпь посещенных мест помогала ориентироваться при следующих расчетах, как особая такая, только для своих, координатная сетка засечек.

Но после первого восторга, сопровождавшегося вполне естественным мозговым параличом, в какой-то момент их наконец пробило: а, собственно, почему после переклейки мы не остаемся голыми?

Снова вернулись к экспериментам с исходными образцами: металл, дерево, пластик, стекло, мел.

Без разницы что металл, что мел — нулевой эффект. А вот штаны с рубашкой перелетали, будто так и надо. Ага, а если штаны с рубашкой попробовать передать отдельно? А вот фига с два. Интересно... Получается, их одежда переклеивалась вместе с ними и на Титикаку, и в Тибет ТОЛЬКО потому, что они сдуру полагали это совершенно естественным. Воспринимали одежду в путешествии как часть себя. Были наивно и бездумно уверены, что она последует за ними...

Из осторожности вернулись к экспериментам внутри зала.

А если, например, Журанкову нужен с собой кусочек мела, чтобы размашисто, от всей души написать на полу «Наташа, я тебя люблю!»?

Тогда все путем; кусочек мела, который сам, в от-

дельности, нипочем не хотел перемещаться, послушно следовал за человеком, коль скоро был ему нужен.

Ага.

А пять кило продуктов? Пожалуйста. А десять? Пожалуйста. Но я ведь столько не съем! А все равно берется. А бессмысленный, ни для чего не нужный чурбан того же веса? Пожалуйста. А штанга с грузом в двести килограмм? Нет, не берется.

Как интересно!

То есть существуют ограничения по массе?

Один из ключевых экспериментов придумал Журанков-старший. Зацепил со стройплощадки бетонный блок больше чем в тонну — всего лишь потому, что в душе своей сказал: я непременно его верну. И блок взялся, послушный, как штаны. Пол в зале захрустел и, наверное, не выдержал бы, лопнул, если бы Журанков не выполнил немедленно загодя данного себе обещания и не отфутболил невероятную тяжесть обратно. Лишь пару секунд посреди лаборатории громоздилась, перегородив пространство, серая шершавая угловатая гора с торчащими из нее ржавыми металлическими кольцами и отправилась восвояси. А Журанков с Вовкой несколько мгновений потрясенно смотрели на то место, где она только что, покорная воле путешественника, торчала, и не могли слов найти, настолько внезапен был этот рекорд. И тут Журанков понял, что ему напомнил его тяжеловесный подвиг.

— Ты смотри, — тихо проговорил он. — Как в воду глядели... Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе: «перейди отсюда туда», то она перейдет...¹

¹ Матф.17:20.

Сын обернулся к нему и долго, пытливо смотрел.
— Ты думаешь... — медленно начал он.

Журанков нервно отрезал:

— Понятия не имею.

— Так а во что веру-то? — почти выкрикнул Вовка. И тут же сбавил тон; сам обескураженный своим неожиданно прорвавшимся пафосом, по закону маятника он даже впал в некоторое ехидство: — Папка, погоди. Чего это тебя на писание потянуло? Говори как на духу, ты что — молился перед этой пробой, что ли?

Журанков некоторое время не отвечал, потом отрицательно покачал головой. И сказал:

— Нет. Не молился, но... Знаешь, сын, интуитивно я чувствую, веру во что. И ты, наверное, тоже. Если прислушаешься к себе спокойно... Только сказать словами очень трудно. А если строго в данном случае — я имел твердую веру, что не беру эту глыбу себе. Что я ее в целостности-сохранности верну на место очень скоро. И, видишь, выполнил... Даже еще скорей, чем собирался. И оно то ли мне поверило, то ли просто наперед знало...

— Кто — оно? — тихо спросил Вовка.

Некоторое время оба молчали. Журанков думал-думал и просто развел руками. И тогда Вовка снова спросил, уже громче:

— Так мы тут что — экспериментальным доказательством евангельских притчей занимаемся, что ли?

Журанков пожал плечами.

— Когда вот так сформулируешь, — сказал он, — хочется самому тихо шагать в дурку. И тем не менее... — Помолчал. — Знаешь что, сын. Давай пока просто работать. Положа руку на сердце — я всего-то пошутить хотел от полного одурения. Каюсь. И боль-

ше не буду. Не надо святые дела приплетать, свихнемся.

Святые дела они больше не приплетали, но еще один ключевой эксперимент поставил назавтра уже именно Вовка. Стоя в фокусе нуль-кабины с экспериментальным ведром воды в правой руке, он, когда Журанков уже нагнулся к стартеру, вдруг сказал:

— Па, а на фига мне ведро. Я с тобой хочу. Старт.

Рука рефлекторно исполнила команду; Журанков не успел ее остановить. А может, не захотел. Ведро туго брякнулось в пол, тяжело подскочило и опрокинулось; крутой упругой волной плеснула вода и растеклась причудливой лужей. Вовка и Журанков стояли в точке финиша, у дальней стены зала. Журанков как нагнулся к стартеру, так еще и не распрямился толком. Ладонь Вовки как держала ведро, так и оставалась сжата. Он не выпустил ведра — оно просто не взялось; взялся стоявший от сына в трех метрах Журанков.

А вот шутка с бетонным блоком Вовке не удалась. Пробовали четырежды — никак. Ни с бетоном, ни с кубами кирпичей, ни со штабелями досок... Сорок с небольшим хвостиком кило оставались для Вовки пределом по взятию мертвых грузов.

А Журанков зато не смог прихватить с собой сына никуда. Ни на метр.

Тогда они, буквально озверев от непонимания и распаленного любопытства, даже сами себе напоминающая уже не людей, а несущихся за лисой борзых, привели Наташу. Это было наутро после их памятного разговора, и Журанков долго колебался, впутывать ли жену именно теперь, когда она призналась, что ждет ребенка; но не было никаких указаний на риск, опасность, вред здоровью, не было! А ребенок познания, как всякий ребенок, невероятно эгоистичен, и

когда гонишься за этим паршивцем, забываешь о многом и начинаешь весь мир видеть довольно однобоко. Наташа, которая до последнего момента не могла поверить в чудеса и в глубине души подозревала, что мужики ее все ж таки зачем-то разыгрывают, только ахнула, когда, не успев моргнуть, оказалась на другом конце зала.

Ахнуть-то ахнула, но уже через сорок минут у нее получился трюк с бетонным блоком. А еще через полчаса она, одиноко встав в фокус вспышки, с легкостью взяла с собой в переключку разом и Журанкова, и Вовку...

Голова шла кругом.

Получалось, что лазерное возбуждение резонанса склеек — это только исходное техническое условие переноса. Математик сказал бы о нем: условие необходимое, но не достаточное. Только при его выполнении начинали выявляться какие-то, невесть в чем заключающиеся, персональные таланты. Один человек горазд музыку сочинять, другой — рулить гоночным болидом; так и тут. Один лучше бетон ворочает, другой — братьев по разуму. А кто-то ухитряется неплохо уметь и то, и другое...

У запаленных гончих горячая слюна капала на бегу с языков.

Настало время предъявить результаты Алдошину.

Тот не поверил. Пытался, и не мог.

— Какое место в мире вам больше всего хотелось бы повидать, Борис Ильич? — спросил Журанков лукаво.

Академик обеими руками энергично почесал в затылке.

— Только не смейтесь, — попросил он.

— Ни в коем случае.

— Остров Таити, — смущенно признался Алдошин. — С детства мечтал... Чунга-Чанга какая-то. Ешь кокосы и бананы... лазурная лагуна и коралловый пляж... Помереть, как хочу!

— Будьте так добры проследовать вот сюда, — без лишних слов ответствовал Журанков, за локоток препровождая иронически усмехающегося академика в фокус нуль-кабины. С расчетами благодаря предыдущим посещениям Тихоокеанского бассейна кудесники управились в три минуты. — Только, как вы сами понимаете, когда у нас день, там наоборот... Темно будет.

Моргнули лазеры — и ничего не произошло.

Алдошин с несколько натянутой улыбкой вышел из-под рамы.

— Ну, что? — спросил он, глядя то на Вовку, то на Журанкова. — Я не понял. Факир был пьян и фокус не удался?

Пробовали еще трижды. Безрезультатно.

— Невероятно, — сказал в итоге растерянный Журанков. — Борис Ильич, может, вас что-то держит? Вы, может, только думаете, что хотите, а на самом деле в голове одни хлопоты: вот, мол, ни на минуту нельзя оставить свой пост, своих сотрудников... Дел по горло, в академии затык, наука пропадает...

— Ну, не знаю, — покачал головой Алдошин. — По-моему, мне бы только до пляжа добраться — я бы обо всем забыл. Уж так бы оттянулся... небо с овчинку! Весь мир бы узнал, как умеют отдыхать русские ракетчики...

Журанков и Вовка переглянулись.

— Ну, мы же не в пьяный загул вас отправляем, — сказал Журанков.

— Я понимаю, — кивнул академик. — Но сердцу

не прикажешь. При слове «Таити» у меня ассоциации сразу такие, что... Даже не описать. Дым коромыслом, оттяг по полной!

Журанков и Вовка переглянулись снова.

— Слушайте, скажите честно, — попросил Алдошин. — Может, вы меня все-таки дурите? Денег на все про все ушло меньше, чем на одну ракету, вас не казнят.

— А давайте попробуем с поводырем, — предложил в ответ Журанков.

Так невзначай было впервые произнесено это слово.

Потом академик плакал. Обнимал Журанкова и Вовку, пытался поцеловать. «Господи, — говорил он, глотая слезы, — а я не верил! Я же не верил, правда... Спасибо! Я дожил... дожил до такого!.. Это же... новая эра... Это... Я дожил!» Наконец-то пригодился валидол; академик тяжело сидел на диване в углу, горбился, глядя в пол, слезы сохли на его щеках, он сосал одну янтарную горошинку за другой, бормотал: «Мертвому припарка ваш валидол...» и время от времени поднимал посветлевшие от изумленного восхищения глаза: «Я дожил...»

К концу дня, уже втроем пытаясь наскоро обмозговать все, чем на данный момент располагали, они придумали нехитрый трюк с якобы психологическим тестированием; с подачи Алдошина остановились именно на сладостно звучащем Таити. Было ясно: прежде всего надо разобраться с тем, что они сразу нарекли феноменом Алдошина — базовой личной неспособностью к переклейке. А может, и не столь уж базовой. Как не вспомнить было кошку, которую никак не удавалось переклеить поближе к мышам; но к неживому-то, не боящемуся быть съеденным корму

она перепорхнула мигом. «Удостоился я на старости лет, — горько иронизировал Алдошин. — Первый пшик за три месяца — и моим именем...» «Колобки — штучки с норовом, — развел руками Журанков. — Кто их знает, что им взбрело...»

У Журанкова с Вовкой стремительно возникал свой профессиональный сленг. Колобками они уже с месяца называли пространства Калаби — Яу; не вполне это осознавая и, конечно, не стовариваясь, оба ощущали именно их ответственными за любой фортель и мало-помалу стали относиться к ним чуть ли не как к живым проказливым барабашкам.

За следующие недели они протестировали уйму добровольно отозвавшихся на провокативный клич сотрудников. Результат обескураживал: процент прошедших тест был поразительно низким. Таити увидели три человека из семисот пяти. Получалось, что Журанковым повезло неслыханно, неправдоподобно, и будь иначе, вся линия экспериментов могла бы пойти совершенно по-другому или даже вообще никуда не пойти. Концентрация личностей, годных к переклейке, оказалась в их семье, будто у алмазов в императорской короне. Трое из трех. Кой колобок эти алмазы тут уложил?

От полного отчаяния Журанков, полночи накануне свадьбы проговорив с Наташей не о будущем счастье (да и что говорить-то о нем, с ним все ясно — будет!), а о завтрашнем распределении ролей при коллективном заманивании, предложил и гостям таитянский тест. Тоже оказалось не ахти, выборка-то не репрезентативная — но все же один из трех. Наташу, впрочем, эта цифирь взволновала куда меньше, чем сугубая человечинка. «Не понимаю, — огорченно призналась Наташа вечером. — Он же был такой добрый,

славный... Мечтательный, иначе не скажешь. Уж казалось бы, если не таким, как он, то кому?» Конечно, речь шла о Корховом. Тот и Журанкову был симпатичен, Вовку на суде отмазал, в конце концов, — но впечатление от сегодняшней встречи осталось, честно сказать, не блеск. И дело даже не в том, что именно на праздничном пиру Журанков впервые заподозрил, будто между Наташей и этим несдержанным на алкоголь здоровяком когда-то что-то такое было; чего уж там, может, и впрямь было, люди, пока живые, много чудят, а уж молодых-то гормоны, самоутверждение и лихорадочное познание жизни швыряют, как щепки в шторм. Но как кичливо он вел себя нынче... Будто приехал не гульнуть на свадьбе друзей, а глянуть на пожар того коровника, где давным-давно по уши вляпался в навоз. «Вы давно не общались толком, — мягко сказал Журанков. — Люди меняются... Мало ли что с ним за эти годы случилось...» «Да, наверное, — грустно согласилась Наташа. — Но, знаешь, жалко. Хороших людей так мало. Я за него, можно сказать, болела. Желала ему победы... А победил этот невнятный, ни рыба ни мясо Фомичев... Ты с ним будешь как-то работать?» «Еще не знаю, — ответил Журанков. — Намекнул... Он вроде не прочь сюда наезжать почаще или даже попроситься в командировку на недельку-другую для написания большой статьи... Ему интересно, я это почувствовал».

В общем, материала для анализа было выше крыши. Что-то за всеми этими странностями брезжило, какая-то смутно ощущаемая закономерность, глубинная, подноготная... Надо было только как следует подумать. Но жизнь суетится. Одолели свадьбу, так журналисты с областного радио достали. «Эхо свободы», не хухры-мухры; откуда их принесло? Как они

вообще на Журанкова вышли, откуда узнали... Непонятно. Никогда он не светился, не шумел, не лез на публику. Но за последний месяц они пять раз Журанкова вызванивали, чтобы пригласить на какую-то дискуссионную передачу о будущем России. Пять раз Журанков отказывался вежливо — отговаривался крайней занятостью вместо того, чтобы послать настырных раз и навсегда; и те, выждав недельку, будто ни в чем не бывало трезвонили сызнова: «Ну, как, вы стали посвободнее? Нам бы очень хотелось, очень... С кем и говорить, как не с такими, как вы! Тема формулируется примерно так: выстоит Россия или нет?» «Выстоит, куда денется», — улыбнулся Журанков микрофону телефонной трубки. «Вот вы и постараетесь убедить людей в этом. Кто же, кроме вас? Ведь именно такие, как вы, ученые, для которых интересы страны не пустой звук, и создают ее будущее...» Льстили безмерно и небрежно, привычно, походя; и чуешь, что льстят, работа у них такая — а все же каким-то отростком души клюешь: да, коль уж эти люди меня так понимают, я им, наверное, и впрямь нужен, нам будет о чем поговорить. На шестой раз Журанков согласился. Иногда, подумал он, нужно хотя бы силком отвлечься от работы, поставить себя в условия, которые заставят забыть о ней, чтобы, вспомнив вновь, глянуть новым взглядом и что-то внезапно, почти по наитию, уразуметь. У него так бывало много раз. И кроме того, тем, кто хочет поразмыслить о будущем, кто о будущем волнуется, действительно надо помогать. А он это сейчас может. В общем, он подавил сомнения и логически себя уговорил. И уже тогда сказал Наташе: «Поеду. Все-таки поеду». «Что за нужда тебе время и силы тратить, — ответила она. — Тебе кажется, у нас болтунов не хватает?» «Сейчас у

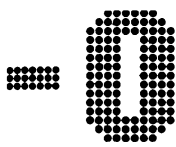
меня с будущим особо светлые отношения... — убедительно объяснил Журанков. — Конечно, о работе я ничего рассказывать не стану, но ведь главное — состояние. Это же транслируется. Пусть люди почувствуют, что будущее — близко...» Наташа задумчиво помолчала, словно прислушиваясь. Уверенная в том, что это она сама вспомнила цитату, передающую ненавязчиво, но сполна ее отношение к причуде Журанкова, она предостерегающе подняла палец. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, — нараспев произнесла она. — И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе»¹.

Журанков только засмеялся.

Раскачиваясь и сотрясаясь на щербатом асфальте, полупустой рейсовый автобус натужно катил поперек пригородной промзоны, похожей на декорацию к блокбастеру о мировой катастрофе. До областного центра оставались считанные километры.

Награда Родины

1

 громное вам спасибо, уважаемый Константин Михайлович, за то, что нашли время для нас, — приветливый широкоплечий ведущий от избытка радушия даже приобнял Журанкова, мягко направляя его в комнату, внутри которой стоял овальный стол с тремя стульями; над столом, напротив ожидаемых лиц тех, кто усядется на стулья во время передачи, свисали микрофоны. Одна из стен была прозрачной, за нею беззвучно суетились операторы. В глухом помещении было душно. Наверное, здесь всегда было душно. — Не тушуйтесь. Ну, забыли паспорт и забыли, это моя вина, не сообразил предупредить. Но мы же все равно вас встретили, и не так уж сложно объяснить охране... В общем, пустяки. Не стоит даже говорить. Хотите кофе, чаю? У нас еще десять минут до эфира.

— Нет, что вы, спасибо, — ответил смущенный своим паспортным промахом Журанков; он и правда ничего не хотел. И есть, и пить он предпочитал дома, но вдобавок ему и совершенно не хотелось доставлять лишние хлопоты занятым людям.

— Тогда познакомьтесь, это ваш сегодняшний собеседник. — Ведущий, глянув в сторону прозрачной стены, загреб воздух ладонью, приглашая; один из оживленно шевелящих губами в неслышном разгово-

ре людей — Журанков поначалу принял его за еще одного оператора, — уловил жест, кивнул, что-то договорил собеседнику и неторопливо вышел. Это был молодой, но уже явно знающий себе цену, очень интеллигентный и очень прямо держащийся мужчина в мощной курчавой шевелюре; наверное, подумал Журанков, такая требует тщательного и трудоемкого ухода. Впрочем, только Наташа могла бы сказать наверняка.

— Вениамин, — сказал он, протягивая Журанкову руку.

— Константин, — в ответ протягивая свою, с улыбкой ответил Журанков. — Очень рад.

Они обменялись рукопожатием.

— Вам, возможно, доводилось читать публицистику Вениамина... — начал ведущий, но Журанков тут же покачал головой и сказал виновато:

— Простите, наверняка нет. Головы не хватает... — покаянно пожал плечами. — А времени и подавно.

— Ничего, — сказал Вениамин серьезно, — я тоже о вас даже не слышал. Тем интереснее будет. Схватимся с чистого листа.

«За что схватимся?» — с удивлением подумал Журанков.

• — Доехали нормально? — спросил ведущий.

— Более чем, — сказал Журанков. — Здесь прекрасные места... Ну, пока не начнется сугубо пригородная зона, конечно. В такую погоду меня то и дело тянет выскочить из автобуса и пойти по лугам... У реки особенно. Знаете этот переезд...

— Знаю, конечно, — улыбнулся ведущий. — Только там теперь строят много. Особняки, заборы...

— И туда добрались? — ужаснулся Журанков. — Помню, в позапрошлом году...

— Не знаю, как тут, — сказал Вениамин, — но в

Подмосковье не то что за два, но и за год могут любой лес при любой реке превратить в жилье для ветеранов.

— Для ветеранов? — повернулся к нему ведущий, и в голосе его отчетливо прозвучало недоверие. — Серьезно?

— Ну, это так шутят теперь, — пояснил Вениамин с улыбкой. — Ветераны первоначального накопления.

— А! — с облегчением засмеялся ведущий. — Тогда понятно. А то я уж удивился... Ну, хорошо. Время тикает. Вам уже доводилось участвовать в подобных передачах, Константин Михайлович?

— Нет, конечно, — сказал Журанков. И опять виновато улыбнулся. — Я же этот, кабинетный червь.

— Понятно, — сказала ведущий. — Тогда коротенько объясняю. Вот наушники. Когда мы будем уходить на рекламу, вы...

Они заняли места. Отламывались и падали последние секунды. Журанков почувствовал, что язык у него будто вывалился в раскаленном песке, а ладони начали подергиваться и, наоборот, вымокли. Он вытер их о брюки, но они тут же вспотели снова. Наушники прямо у него в черепе сыграли бодрую музыкальную заставку, и на стене зажглась красная надпись «On air». «На воздухах, — пытаюсь приободрить себя шуткой, дословно перевел Журанков. — Это, наверное, значит: в эфире».

— Добрый день, уважаемые радиослушатели, — сказал ведущий. — Снова с вами ваша любимая программа для мыслящих «Свобода выбора». Сегодня, как всегда, вам предстоит определиться между точками зрения двух наших уважаемых гостей. Мы, конечно, не требуем от вас этого. Но мы надеемся, что вам самим захочется это сделать. В студии сегодня Кон-

★

стантин Михайлович Журанков, известный в свое время физик, еще с советских времен работавший в области космической и оборонной науки, и Вениамин Маркович Ласкин, историк, публицист, общественный деятель, преподаватель академии свободных наук и искусств. Наш физик всю жизнь прожил в Петербурге. Лишь относительно недавно в поисках хоть какой-то работы он обосновался в наукограде, в просторечии громко именуемом Полдень, который вырос на живописной окраине одного из наших пригородов. Наш историк всю жизнь прожил и продолжает жить в столице, а здесь у нас выступает с лекциями, благо на дворе лето и студенты академии, где он преподает, на каникулах. Таким образом, здесь у нас встретились два незаурядных человека, личности которых буквально полярны: технарь и гуманитарий, старый петербургский ученый и представитель динамичной молодой московской элиты, наконец, это просто люди разных поколений. Должно быть очень интересно. Через четверть часа вы сможете присоединиться к нам и задать свои вопросы либо высказать свои мнения по телефону...

Интересно он нас представил, огорченно подумал Журанков. Впрочем, ему виднее, как привлечь слушателей... Наверное, такая полярность действительно может подогреть интерес — вот он ее всячески и подчеркнул... Рейтинги. Ох уж эти рейтинги. Неужели я действительно старый? А какой же. Этот парень старше Вовки на каких-то лет десять, не больше... А столько уже успел. Историк, общественный деятель... Разные поколения, точно.

— Итак, Россия между прошлым и будущим, Россия на перекрестке времен, — сказал ведущий. — Давайте попробуем разобраться с прошлым и заглянуть

в будущее. Начнем, — он улыбнулся в сторону Журанкова, — как это принято на ответственных совещаниях — с младших. Старшие потом поправят... Вениамин Маркович, вам слово.

— Будущее, я уверен, прекрасно, — сказал Вениамин с готовностью; чувствовалось, у него огромный опыт выступлений.

Ну конечно, снова вспомнил Журанков, он еще и преподаватель. Свободных наук и искусств. Чем, интересно, свободная наука отличается от просто науки? От чего наука может быть свободна? От арифметики? Или уж сразу — от законов природы? А искусство — от морали, например. Это, подумал он, уже на уровне арийской физики... Только скомпрометированное «арийский» заменили на модное «свободный». Интересно, где такая академия?

Ведущий с удовольствием засмеялся.

— Замечательно в наше время встретить подобный оптимизм, — сказал он. — А что конкретно вы имеете в виду?

— Конкретно я имею в виду следующее. В настоящий момент, я думаю, уже ни у кого нет сомнений в том, что Россия тяжело и неизлечимо больна.

Хорошенькое начало, подумал Журанков.

— Больна смертельно. Она исчерпала себя и как геополитическое образование, и как культурный проект. Ей просто нечего больше сказать миру.

Ничего себе, подумал Журанков обескураженно.

— Ее существование действительно имело смысл на определенном историческом этапе, когда она была естественным связующим звеном между Европой и такими регионами, как Поволжье, Средняя Азия, Сибирь и, конечно, Кавказ. Только через Россию они могли приобщиться к цивилизации. Сейчас, когда все

имеют возможность общаться с цивилизованным миром напрямую, Россия им в этом только мешает — и чисто географически, и своими потугами имперской реставрации. Но эти потуги обеспечиваются единственно нефтяной иглой. К счастью, именно эта же игла полностью блокирует в России все попытки модернизации, потому что модернизация невозможна без либерализации, либерализация невозможна без передачи нефти и труб в частные руки, а Кремль никогда не откажется от столь баснословных денег.

Так мы об этом, с ужасом подумал Журанков, должны будем разговаривать? Это у них — будущее? Тьфу ты, господи... Его будто окунули в кипяток, так стало неловко.

— И тем самым неизбежно обрубит сук, на котором сидит. Полное отсутствие модернизационной потенции вызовет в ближайшие годы нарастание протестных настроений во всех слоях населения. Да, либерализация в империях неизбежно сопровождается нарастанием сепаратизма и распадом на национальные государства. Но при либеральных системах правления это происходит бескровно. Именно такой вариант мы видели на закате СССР. Свобода и империя, как всегда, оказались несовместимы. Получив свободу, люди первым делом покончили с империей. СССР распался бескровно, безбедно, и многие миллионы людей не просто вздохнули с облегчением, но сразу стали жить счастливее, достойнее, свободнее и богаче. Я был еще довольно молод, ребенком был, честно говоря, но я отлично помню тот восторг, который всех охватил.

Сколько ж ему, недоверчиво подумал Журанков, было-то? Семь? Восемь? Чей восторг он мог запомнить, кроме разве что восторга родителей?

— Однако бескровность распада сыграла со странной дурную шутку. То, что уцелела старая элита, оказалось фатальным — она захватила в России власть и повела дело к реставрации империи. Второй раз такого не случится. Нынешний режим, в отличие от режима Горбачева... я напомню, в ту пору цены на углеводороды были ничтожны... не пойдет на либерализацию, поскольку ни за что не захочет выпустить нефть и газ из рук. Пример Ходорковского тому порукой. Значит, Кремль сможет лишь закручивать гайки. А это непременно сделает будущий распад кровавым. Первыми, конечно, отколются мусульманские регионы, от Татарии до Дагестана, твердо заявившие о стремлении к независимости еще в начале девяностых. Пример Чечни сделал их, конечно, осторожнее, но лишь загнал мечту о свободе вглубь. Ненависть к русскому штыку там копится день за днем. Взрыв неизбежен. Неизбежна резня. Так что вопрос лишь в том, более или менее кровавым распад реально окажется. Благородную задачу политиков либерального толка я вижу в том, чтобы постараться оптимизировать градус неотвратимого будущего насилия. То есть способствовать тому, чтобы произошло как можно меньше невинной крови, но при том оказались в достаточной степени выбиты имперская элита и те слои населения, на которые она опирается. Слои, не изжившие убеждения сталинских времен. Ведь Россия остается принципиально неререформируемой, именно пока такие группы существуют и способны к воспроизводству. Я имею в виду, конечно, не столько биологическое воспроизводство, сколько идеологическое, культурное. А вот когда все это произойдет наконец, Россия распадется на десять-пятнадцать государств, часть из которых будет ориентироваться на Европу, часть,

возможно, на АСЕАН, а то и на Турцию, без разницы — но, во всяком случае, во всех этих государствах будут жить свободные счастливые люди, хозяева своей судьбы. Энергичные и зажиточные. Ответственные и трудолюбивые. Не склонные к насилию и не зараженные великодержавием. Так что я смотрю в будущее с оптимизмом.

— М-да, — сказал ведущий. — Довольно радикальная точка зрения, но в логичности ей не откажешь. А что вы скажете, Константин Михайлович?

— Я? — тупо переспросил Журанков.

У него будто отшибло мозги. Под черепом ощущалось что-то тяжелое и квелое. Этакая холодная куриная тушка с бессильно свисшей на сторону безголовой шеей и изнасилованно растопыренными синюшными ляжками. О чем можно спорить и какими доводами разубеждать, если у собеседника солнце — черное, а плутоний съедобен?

— Понимаете, — сказал он после непозволительно долгой для радио паузы, на протяжении которой с него успело сойти семь потов, — я думаю, тут дело не в политике, и даже не в экономике, а прежде всего в этике... В том, что заведомо можно и чего заведомо нельзя. Вот по каким признакам делятся на группы люди. Если мама больна, одни постараются ее сбить с рук или просто уморить поскорее, а другие, все позабыв, будут надирать, чтобы как-то выходить...

— Извините, — резко возразил Вениамин, — но у меня, как, собственно, и у всех, только одна мама. Та, которая меня родила и вырастила. И уж, будьте уверены, я ее в обиду не дам. Так что с этикой у меня как раз все в полном порядке.

— Да, увы, — сказал ведущий с сожалением. — Тут вы, Константин Михайлович, пожалуй, погорячи-

лись. Безответственное манипулирование такими аляповатыми абстракциями, как «Родина-мать», в наше время как раз и воспринимается отрывкой сталинских времен.

— Однако, — добавил Вениамин тоном учителя, разбирающего ошибки в диктанте, — эта многозначительная оговорка как нельзя лучше демонстрирует чудовищную укорененность архаичного, патерналистского сознания, которое и до сих пор свойственно, как мы видим, некоторым представителям интеллигенции.

— Я хотел только сказать... — с запыхавшим лицом начал Журанков, но ведущий сделал в его сторону виноватое лицо, даже развел руками, извиняясь, и подневозльно жизнерадостным голосом сообщил:

— Сейчас мы уйдем на рекламу, а потом продолжим нашу дискуссию. Вы можете к ней присоединиться. Напоминаю — наш телефон...

Дальнейшее слилось в жгучий позорный кошмар.

Журанков не запомнил, что еще говорил Вениамин и что говорил он сам — ему казалось, что ничего, просто лепетал что-то и мемекал беспомощно. А ведь это слушали люди... Врезались в память какие-то пятна без начала и конца. Вроде зашла речь о науке, и он воспрянул было, даже хотел рассказать, что именно сейчас в нескольких областях намечаются такие прорывы, которые могут отнюдь не в худшую сторону повлиять не просто на индустрию и быт, но на самое важное, что есть в духовной жизни — представления о том, что хорошо и что плохо, допустимо и недопустимо, но опять сначала дали слово младшему, и Вениамин довольно долго от души язвил: «На Руси истари говаривали: умные не бывают учены, ученые не бывают умны. Относитесь, как хотите к этим словам. Если вы почвенник и для вас мудрость народа

превыше всего, вы должны с этим утверждением безоговорочно согласиться, и тогда какой вы ученый? А если позволяете себе иногда иметь свое мнение, отличное от мнения народа-богоносца, тогда должны признать, что народ, породивший такую поговорку, несовместим с наукой. Сейчас еще шутят иначе, вы слышали, наверное: ух, он много читает, какой умный; но это же все равно, что про бухгалтера сказать: ух, много считает — какой богатый!» А потом они опять ушли на рекламу.

Был еще момент, когда уже не ведущий, а сам Вениамин начал его пытаться: «У меня по крайней мере есть четкая определенная программа, а у вас? Вы же согласны, что существующая система имеет пороки? Вижу, что да. Вы сами сказали, что согласны. Но при этом не принимаете единственный логичный и по-настоящему перспективный выход из порочной системы. Чего вы так боитесь?» И опять Журанков не знал, как отвечать. Если то, что поперек семей снова с громом землетрясения лопнут расселины границ, и в них посыплются и дома, и яблони, и заводы, и дети, а потом, того гляди, братья, друзья, однокашники начнут давать присяги в разных армиях и, хочешь не хочешь, поглядывать друг на друга через прицелы — если все это само по себе не страшно, если все это лишь торжество демократии и заря свободы, то какими словами можно объяснить свой страх?

Потом пытка кончилась. И они снова жали друг другу руки. Интересная дискуссия получилась, говорил ведущий. Живая. И, главное, вменяемые дружелюбные собеседники — никто не кричал на другого, не оскорблял... Отлично поговорили. А какие звонки замечательные! Как люди живо откликнулись! Вениамин, вам должно быть очень лестно, что у вас столько

единомышленников среди наших слушателей... У меня везде много единомышленников, скромно отвечал Вениамин.

Журанкова начало трясти. Щеки обожженно пылали, точно его долго, заломив руки за спину, совали головой в горящую печь; и ему хотелось сгореть целиком. И при том он смущенно смеялся, сокрушенно отмахивался и точно лучшему другу перед расставанием снова и снова тряс Вениамину руку — и больше всего боялся, как бы тот не подумал, будто Журанков на него обижен за публично устроенную порку или, еще хуже, его возненавидел. Ведь это недостойно, недопустимо — начинать плохо относиться к людям всего лишь за то, что они честно высказывают свое мнение, а оно не совпадает с твоим. И когда Вениамин, попросившись с ведущим, пригласил Журанкова пообедать вместе и продолжить такой интересный разговор, Журанков едва не согласился, чтобы не обидеть Вениамина отказом — и только посмотрев на часы, сокрушенно заохал и принялся нелепо, невесть ради чего оправдываясь, растолковывать: ему ведь назад почти два часа на автобусе ехать, а он хотел еще пройтись по полям, такие луга красивые в пойме реки, Вениамин, вы не были? Позапрошлым летом, с истеричным чистосердечием рассказывал Журанков, когда я был посвободней, побольше досуга было, потому что шел монтаж новой установки, мы с женой частенько выезжали к реке, и, знаете, у нас даже любимое место было за излучиной, там такой красивый плес, и очень уютный песчаный пляж... Зачем он это говорил? По берегу только тропка идет, до ближайшей деревни километра полтора — народу мало, ребятня разве что на велосипедах наезжает купаться. Галдят так весело... Вениамин снисходительно слу-

шал. Во всяком случае, за то время, пока они спускались по лестнице и шли вместе к стоянке, где Вениамин оставил свой «Ниссан», Журанкову, наверное, все же удалось показать, что никакой враждебности он к оппоненту не испытывает — и это правильно, потому что ничем ему Вениамин не виноват, Журанков сам — дурак...

Ведь он так и не смог внятно объяснить, зачем существует его страна!

Потому, что и сам не знал.

Это был какой-то кошмар. Ему никогда не приходило в голову, что надо доказывать необходимость дышать. Вволю пить. Жить спокойно в своем доме и со своей семьей.

Но для людей с иным мнением то были всего лишь тоталитарные аналогии. На самом деле дышать и пить можно и даже очень нужно, только неважно где. Где получится сытнее и наваристее, там и нужно. Это и есть свобода.

А может, подумал Журанков, как раз хорошо — что он не знает и не может объяснить?

Подобных вещей нельзя знать. И их нельзя объяснить. Это как с сороконожкой-балериной, которую подлецы попросили растолковать, каким чудом она так хорошо танцует; бедняжка честно попыталась рассказать, в какой последовательности какой ногой переступает, и с этого момента больше не могла не то что танцевать, но и ходила с трудом, заплетаясь... Есть вещи, о которых стоит лишь начать думать — и перестаешь понимать, чем они тебе дороги. Как можно объяснить, почему любишь мать?

Тьфу! Опять мать!

Настроение было хуже некуда. Журанков чувствовал себя так, будто прилюдно обгадился и вынуж-

ден теперь щеголять с засыхающими на ногах и на штанинах потеками, воняя на всю улицу, потому что помыться негде и нечем.

Автобус захрюкал и забренчал нутряными железками, задергался, смачно похаркал клубами дизельных выхлопов; за окнами всплыло и растеклось по воздуху несколько плотных черных пузырей. С минуты Журанков глядел на поплывшие назад дома, на жарко высвеченных июльским солнцем людей, торопливо топчущих свои тени, на обгоняющие медлительный автобус горбы легковушек; потом отключился.

Должен же быть у человека какой-то круг своих. Пусть не мать, ладно. Пусть даже не семья. Но и не просто собутыльники или подельники. Не просто бизнес-партнеры. А те, с кем по крайней мере об аксиомах не нужно спорить. С кем вовсю можно ругаться из-за того, хорош или плох вчерашний фильм, дурак ли и кобель Петька, что развелся с женой, или молодец, давно пора было послать эту шалаву подальше — но с кем ты одинаково говоришь кошке «Кис-кис», а не «Пс», и с кем ты с полуслова понимаешь друг друга относительно свершений и катастроф. Те, с кем у тебя одни триумфы и одни трагедии. С кем у тебя, по большому счету, одни и те же, выпестованные веками общей культуры и общей истории «плохо» и «хорошо», «можно» и «нельзя». Кто, посмотрев фильм «Морозко», не увидит в нем элементов каннибализма, присущих вообще всему уродливому русскому фольклору, и не назовет шизофреническим триллером потому, что Марфушенька-душенька, ориентированная на здоровый материальный успех и того не скрывающая, почему-то оказывается со свиньями в грязи, а большое приданое получает юная аутистка, которая, даже замерзая, твердит похожему на

Ивана Грозного старому садисту в богатой красной шубе, что ей тепло. О ком ты точно знаешь: при слове «Победа» они нипочем не заподозрят, что речь о победе Наполеона при Аустерлице или о захвате Багдада и свержении Хусейна — а, как и ты, вспомнят май сорок пятого. Кто, услышав фамилию Гагарина, подумает не о несчастном безвольном подопытном, засунутом ради укрепления тоталитарного режима в космическую консервную банку и бессмысленно сгоревшем, как бумажный солдатик, пусть не в шестьдесят первом, так в шестьдесят восьмом, какая разница, а о герое и трудолюбце, что сделал великое, невообразимо тяжкое дело, на зло и на зависть плаксам и неумехам прославив мастеровитый народ и целеустремленную страну...

Для того и нужны разные государства и границы между ними, чтобы огромные сообщества людей, у которых такие вот огромные аксиомы одни и те же, свободно жили в согласии с ними и не мешали жить тем, у кого аксиомы иные.

Место, где вся мощь государства охраняет жизнь, пропитанную аксиомами, которые мои, я называю моей страной. И потому я, думал Журачков, готов страдать ради нее и бороться за нее — ведь так я борюсь не за строй, не за царя, не за совокупность гордых исторических легенд, но за естественную для себя жизнь, основанную на моих личных и в то же время объединяющих меня с моими соотечественниками «хорошо» и «плохо». И даже неизбежные перемены, ведь жизнь не стоит на месте, все равно в МОЕЙ стране осуществляются в согласии с МОИМИ «плохо» и «хорошо», иначе страна становится чужой, и на нее и впрямь тогда можно плюнуть с высокой горки и начать заботиться только о себе.

Или, если жизнь для одного себя уж совсем невыносима и противна — просто махнуть на все рукой.

Но если кто-то, скажем, всего-то лишь имеет иное мнение относительно, например, Ледового побоища или Победы — мол, они безнадежно погубили страну, потому что щедрые немцы раз за разом несли нам европейскую культуру, истинные ценности плюс целую корову каждому полицаю, а мы, тупые, раз за разом счастья своего не понимали; и если этот кто-то именно соответственно своим «хорошо» и «плохо» начинает требовать изменений уже в самом что ни на есть современном состоянии моей страны... Что же он — сразу тем самым уже не наш человек? Враг? Не принадлежит к народу? Тогда высылать его, что ли? В лагерь сажать? Мы это уже проходили — причем и без особого удовольствия, и без особого проку...

Но если кто-то вырос здесь, однако — то ли из книг, то ли еще почему, то ли и вовсе ему с иных вселенских ветвей надуло — впитал не здешние «плохо» и «хорошо», он обязательно будет стараться переделывать всех нас соответственно тому, что впитал...

Да, но ведь и слушать его, думал Журанков, меня никто не заставляет; и кивать ему в ответ с умным и толерантным видом: да, возможно, да, ага, так оно, конечно, тоже может быть, все мнения имеют одинаковое право на существование — я никому не обязан! Заслышав такое, надо просто вставать и уходить молча, и не бояться, что тебя сочтут невежливым, — и пусть станет наглядно, станет очевидно, что они говорят лишь сами для себя и сами с собой!

Автобус повернул, покидая промзону; в окно, тяжело пылая, как домна, въехало раскаленное солнце.

Журанкова от стыда и отвращения к себе буквально корчило на горячем сиденье.

А я им, думал он, все об этике да об этике! О моральных аксиомах! О них ведь чем больше говоришь — тем больше они размываются. О них все равно договориться нельзя — на то и аксиомы! Они либо те, либо эти! Чем больше споришь — тем больше, вместо совместной истины, получаешь взаимное раздражение...

Что же я, с болью думал он, за идиот такой? Что я все о добре и зле? Им же просто смешно от подобных разговоров! Надо было об экономике, вот о чем, о их любимом, главном... Он мне программу в нос совал, свою конкретную программу — у меня, мол, ее нет, а у него есть...

Пусть бы рассказал, откуда в десяти или пятнадцати государствах, на которые должна для общего блага (только вот чьего блага?) развалиться Россия, сразу возьмутся производственный рост и повышение уровня жизни. Мы ведь, думал Журанков, распад уже проходили. Экономического чуда что-то не заметили. С какой это радости после разрыва последних связей, сворачивания остатков производства, окончательно бессилия отстоять свои воды, леса и недра народ вдруг начнет жить припеваючи?

У него программа? Пусть без утайки расскажет попросту, где и как плюхнутся границы и какими станут государственные языки его новых пятнадцати стран! Это ведь тоже проходили — в Югославии хотя бы. Была такая Сербская Краина. Отделяться по национальному принципу, как оказалось, международное право разрешает, но оставаться по тому же принципу вместе — нет. Вот нельзя вместе остаться, и все. Закон такой. Несербам отделяться по закону можно, а сербам вместе оставаться — по этому же закону нельзя. Деление, значит, должно быть таким, чтобы

прежнее большинство во всех новых странах сделалось меньшинством, а бывшие меньшинства везде стали большинствами. И конечно, тогда историческая справедливость так восторгается, что небо с овчинку покажется: меньшинства смогут всласть воздать по заслугам бывшему большинству, ныне разорванному на полтора десятка меньшинств, за былые обиды; и за реальные — реально-то всегда обоюдные, но об этом никто не вспомнит, ведь теперь наша взяла! — и за выдуманные, и уж, конечно, за подсказанные внешними доброхотами...

Да это не программа! Это просто личное желание, одетое в маскировочный халат проекта. А я, дурень, страдал Журанков, вместо того чтобы стащить с него халат — так бездарно повелся и начал потешать народ лепетом об этике! Да повеситься, что ли?

А если бы меня, грыз себя Журанков, накануне вторжения немцы в Берлин позвали подискутировать с герром Альфредом Розенбергом о судьбах России — я, ничтожество, ему бы тоже про маму рассказал?

Он не мог больше сидеть неподвижно на раскаленном сиденье и ехать, как ни в чем не бывало. Не мог.

Промзона осталась далеко позади, автобус бодро тянул по пустой прямой дороге посреди лугов. Наверное, в бездонной синеве пели жаворонки, но их не слышно было за гулом перегретого мотора.

А правда, подумал Журанков, не пройтись ли у речки? Он посмотрел на часы: еще полдня впереди... Полдня до Полудня, ха. Надо только успеть попасть в магазин до закрытия и прикупить любимый Наташин торт. Легкий, йогуртовый. Она же сладена... Чайку с тортом попьем на сон грядущий. Если накатила хандра, нет лучшего способа ее прогнать, чем порадовать

жену. Жена радуется, думал он, и ты радуешься вслед за ней, вместе...

Он нетерпеливо встал и, перебирая горячие поручни сидений, пошел по проходу к двери. Не ходи, впрямую сказал я, уже не надеясь ни на намеки, ни на цитаты. Но Журанкову было так неважно, что он, конечно, не услышал. Топать, глядеть по сторонам, двигаться, дышать... Больше он ни о чем не мог думать сейчас. Подпрыгивая и раскачиваясь вместе с автобусом, он стоя дождался ближайшей остановки — это оказалась та самая, где, на окраине поселка со смешным названием Дуболепово, они в первое их лето выходили с Наташей, когда ездили купаться и загорать. Пятеро других пассажиров покатали себе дальше, а Журанков сошел и, проводив удаляющийся автобус взглядом, остался один под огромным теплым небом, посреди лугового простора, распиленного узкой серой полосой дороги.

Над горизонтом медленно копилась серая дымка, наверное, мечтавшая стать тучей; позади сентиментально темнели молчаливые липы и под ними — небогатые, старозаветные дома поселка, а вперед, к перелеску, за которым, Журанков знал, мирно посверкивала речка, игриво убегала желтая тропка. Громящий рокот автобуса и сипение его протекторов на асфальте засосала даль, и для Журанкова запели и жаворонки, и кузнечики, и шмели, и летний ветер.

Вот кто не предаст, не станет мудрить и куражиться, подумал Журанков, глубоко вдыхая сладкий воздух. Своя земля.

До следующего рейса было часа полтора. Как раз.

Он пересек полосу потрескавшегося асфальта и медленно пошел по тропе. Плавок не было с собой, конечно; утром Журанков и в мыслях не держал, что

после студии понадобятся плавки, но разве речка годна только на то, чтобы грубо овладеть ею, прополоскав в искрящемся журчании потные подмышки и дряблые ягодичицы?

Речку ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...

А — подумать.

На воздухе, посреди просторной живой жизни, под шелест, стрекот и щебет мысли сразу потекли спокойней и раскатистей.

Какой апломб! Какой словесный треск! Какая уверенность в себе и в своем праве! Модернизация, либерализация... Общественник новой формации. Часть, переделывающая целое по своему хотению. Ох, знаем мы, думал Журанков, знаем, как называется, когда малая часть бодро и стремительно начинает переделывать огромное целое под себя. Это называется рак...

Рак никогда не поймет, для чего человеку мозг, для чего сердце и легкие. Для него это все лишние сложности. Рак не способен к познанию... Раковые клетки нахраписто убивают того, кого переделывают в себя, и, добившись полного, головокружительного успеха, сами умирают вместе с убитым.

Это было как откровение: все, что мы переделываем под себя, — мы теряем.

И тут он даже забыл дышать.

А человек вообще все старается переделать под себя. Стоит только взглянуть вокруг... Даже тишину и жаворонков мы переделываем для своего удобства в назойливый клетот внутреннего сгорания. Даже сладкий дух, встающий над разливами клевера, — в черный выхлоп. И, конечно, после этого уже не знаем, что такое тишина, и навсегда прощаемся с жаворонками. Часть, которая переделывает целое под себя и тем грабит себя, — это человек.

И что остается делать жаворонкам?

Нет, уж будем называть вещи своими именами — что остается делать миру?

Погоди, погоди...

Его опять встряхнула дрожь. Но дрожь совсем иная, чем три часа назад в душной студии перед микрофоном. Не конвульсии неуверенности, но гордый священный трепет долгожданного и все равно внезапного прикосновения к истине.

Насилию грубой механики природа не в силах противиться. Земля уступает лопате, порода — буру, лев — пуле, человек беспомощен под гусеницей танка, город беззащитно обнажен перед атомной бомбой. Но того, кто убеждает, будто тебе лучше всего стать рабом, а если ты даже на это не годишься, то — покончить с собой, ты слушаться не обязан. И точно так же природа совсем не обязана слушаться того, кто пытается заставить ее самое воспроизводиться с нарушением ее собственных «правильно» и «неправильно».

То есть нарочитые вселенные, несущие на себе слишком заметный отпечаток намеренного преобразования, — не отвечают. И мир подскока не возникает. И переклейки нет! Не через что переклеиваться!

Если предположить, что любой случай, когда перемещения не происходит, сродни той первой неудаче, когда кошка не смогла добраться до мышки... Господи, тогда получается, что в массе своей люди, как правило, только затем и стремятся куда-то, только затем и СОВЕРШАЮТ ПОСТУПКИ, чтобы КОГО-ТО СЪЕСТЬ!

И, конечно, коль скоро естественным образом они этого не смогли бы, руки коротки, глотка мала, то и через переклейку пути нет.

Так?

Значит, даже Алдошин...

А что Алдошин? Храбрый, сильный, умный, умелый, энергичный... Преобразователь!

А зачем Вселенной преобразователи? Она живет по своим законам. Если где-то в результате естественной истории, скажем, нет десяти тонн угля, а мы, думал Журанков, хотим через нуль-Т перетащить туда десять тонн угля, потому что нам это надо, то это НАДО ТОЛЬКО НАМ, это идет вразрез со всем предыдущим и последующим течением природных событий, и черта с два колобки нам позволят такое надругательство.

Человек религиозный, наверное, сказал бы так: Господь разрешает людям играть своими гремучими вонючими игрушками в Его мире, но если люди начинают слишком уж рьяно переделывать мир в соответствии со своими утробными, кишечными представлениями о том, что такое «хорошо» и «плохо», он немедленно и безо всякого снисхождения дает им по рукам. Даже и без нуль-Т это видно все чаще, одна экология чего стоит.

Человек же рациональный скажет, что чем напористее и могущественней мы стремимся более вероятные состояния мира заменять на менее вероятные, тем сильнее мир сопротивляется всеми доступными ему в каждом данном случае средствами.

А почему тогда переключки с активностью, переключки не только чтобы полюбоваться вообще оказываются возможны?

Беспрепятственно проходят, надо думать, изменения одного вполне вероятного состояния на другое, столь же вероятное. Это понятно.

Самое интересное — то, что через нуль-Т мышка

спасается от кошки или получает сыр. То, что кошка получает покупной кошачий корм. Это все спасение от маловероятных состояний, от нашего насилия. Ведь мышку кошке, думал Журанков, подставляли мы, и голодом ее морили тоже мы...

Значит, через переклейку нельзя, скажем, пойти, чтобы убить, но можно пойти, чтобы предотвратить убийство?

Ничего себе.

Нуль-Т как уникальный механизм спасения от преобразований, которые навязывает живущему своей жизнью целому его обособившаяся часть?

И потребность спасать от таких преобразований, уверенно распутывал головоломку Журанков, должна быть столь же естественной и столь же, в общем, неосознаваемой, как, скажем, изначальная их с Вовкой убежденность в том, что их одежда последует в переклейку за ними.

Так это святыми надо быть, чтобы невозбранно пользоваться нуль-Т!

А, собственно, почему? Что, думал Журанков, мы с Вовкой и Наташей — святые? Или этот Фомичев, которого он знал пока плохо, но, конечно, обязательно должен был теперь узнать поближе. Явно не святые...

А какие?

Хороший вопрос...

Одним словом не сказать. Даже двумя. Вселенная — сложная механика, ее коротким определением не уговоришь, не обманешь...

Сказал — опошил. Лучше даже не пробовать.

Но с религиями, подумал Журанков, какая-то связь тут есть. Ведь только религии спокон веку стараются ограничить наше уникальное хищничество: животную жестокость, уж всяко не меньшую, чем у

иных животных, но вдобавок помноженную на способность хитрить и подличать так, как ни один зверь не умеет — с применением хваленого нашего разума.

А ведь тот к редкостному умению ставить силки и рыть ловчие ямы непременно добавит еще и опять-таки не свойственное остальным зверям тщеславие. Наловлю не только чтобы поесть, а еще и чтобы похвастаться и унижить соседа...

Церковь относит и алчность, и тщеславие к смертным грехам.

Но я, подумал Журанков, никогда всерьез не верил в бога. Во всяком случае, не постился, не молился, не причащался...

О господи! Он вспомнил. Тогда он совсем не обращал внимания на столь неважные, не имевшие, казалось бы, отношения к делу детали, но сейчас, как воочию, перед глазами у него проблеснуло: у десятка, может, у двух десятков человек, не прошедших тайтрянский тест, откровенно маячили на шеях цепочки и крестики.

Конечно, эти люди душу свою бессмертную спасают, а не...

А что — не?

Опять хороший вопрос.

В шелестящем перелеске долгой затихающей дробью ударил дятел.

Журанков остановился, поискал птицу взглядом. Нет, лишь листва плескалась и кипела. Рябой зеленый воздух то колол глаза стрельнувшим в мгновенную щель солнечным лучом, то вновь смыкался мягкой взволнованной сенью. От дятла только звук. Но и по звуку ясно — дятел...

Может, подумал Журанков, и тут надо прими-

ряться, что точно мы увидеть не можем, и судить лишь по косвенным признакам?

Ему очень хорошо думалось сейчас, в звонком воздушном просторе опушки. Какой-то глухой забор рухнул, давящая тесная стена, а за нею открылся новый простор, и каких знаний там только не было...

Я весь, подумал Журанков, в советской культуре шестидесятых, семидесятых годов. Да, возрастом я моложе, но так получилось. Это же уникальное время было — агрессивный коммунизм-кнUTOбой уже сник, но агрессивная корысть еще не обезумела без узды.

Кровавый потоп идеологии высох, впитался в русскую землю. Но все, чем была идеология заманчива, насытило, как фермент, корни общих стремлений. И сквозь заскорузлую корку молодой зеленью стало пробиваться исконное, традиционное, по сути — как ни крути, наверное, православное... Возник паразитный культурный всплеск. Он дал особую систему ценностей — а только такая особенность и делает народ народом, дарит ему самостоятельность и перспективу, а еще — ценность или хотя бы интересность для остальных народов. Он дал уникальную культуру. Этически консервативную и потому абсолютно нетерпимую к бессовестной свободе ради наживы и животных радостей — но при этом ненасытно жадную до знаний, стало быть, до науки, настезь открытую будущему. Этический консерватизм, конечно, от православия. Открытость будущему — от коммунизма.

Обожженная огнем чудовищной недавней войны, где все умирали бок о бок, эта культура оказалась страстно, православно антивоенной и безоглядно, коммунистически интернациональной. Помню, думал Журанков, даже в фантастике восьмидесятых это начинало проглядывать. Припоминаю смутно какие-то

сочинения молодых: мол, если Америка жажнет по нам атомными ракетами, мы своими ракетами не ответим, потому что пусть те, кто нас сжег, уцелеют — да, мы погибнем, но человечество-то выживет, потому что те, кто нас убил, все равно человечество... Что в таких идеях было от кровавого коммунизма основоположников и террористов? И что в них было от кровавой авианосной демократии, которая, болбоча об общечеловечности, всех бомбит под одну свою гребенку?

Ничего. Это вызревала самостоятельная, аналогов не имевшая цивилизация...

И хотя цензура клеймила такое и не допускала к печати, страна именно это потом и сделала. Сама культура этим дышала — а что культуре цензура? Тьфу! Ведь при Горбачеве и Ельцине мы против их внешней политики не очень-то возражали. Одобрjali, радовались. Это уж потом началось выискивание огрехов — когда стало ясно, чем руководствуются те, кого мы спасли. Невозможно было пойти на мировую так жертвенно, если б не оказалось в ту пору всевластным безотчетное стремление сберечь целое любой ценой, пусть хоть за счет себя. Наверное, у этого стремления отчасти имперские корни, на подобные высоты мог подняться лишь тот, кто имеет долгий, привычно-мучительный опыт самозабвенных усилий по поддержанию единства многих и разных; но видно же, стоит лишь глянуть по телевизору новости, что отнюдь не всякий имперский народ на такое способен.

Официоз, как и положено засохшей корке, новую культуру тупо давил. Ведь она, под стать любой религиозной культуре, порождала праведников — а праведник всегда несимпатичен власти. Он слишком высокие этические требования к ней предъявляет...

Праведник, конечно, тоже хочет и поесть посла-

ще, и, скажем, отпуск провести в природной красоте и личной неге. Он тоже человек, а значит — зверек. Но его все равно куда больше заботит чистая совесть. Ради мягкой постели и сладкой еды человек либо идет против совести, либо не идет, и тот, кто не идет, стало быть, заботится о душе своей больше, чем о теле.

Поэтому праведник всегда мечтает о чуде; эта мечта — неизбежное следствие естественного желания телесного зверька жить в достатке, но не перемазать при том человечью душу. Отсюда все сказки о щучьем велении, о печи, которая сама возит Емелю; не от русской лени, но от стремления сохранить совесть чистой, руки не обогранными, и при том все ж таки чего-то добиться в жизни.

Новая культура так и не была востребована. Она оказалась не пригодна ни для какого конкретного дела — только для дела честной и бескорыстной жизни ради высокой цели, а как раз это дело оказалось никому не нужным. Высокие цели сошлись в одну-единственную: свалить коммуны-маршматиков, после чего и настанет светлое будущее, всемирное единство и капитализм во имя человека и для блага человека. Обманули дурака на четыре кулака.

Теперь никто уже не боится испачкаться; ведь не дети плачут, а хлюпики, и не грязь это, а здоровая конкуренция.

И тогда оказалось, что не нужна наука.

Только на нее можно было надеяться, стремясь добежать до радужных целей, не замаравшись о грубые средства, и построить мировую гармонию, не заставляя детей плакать.

Наверное, в русской культуре это были два главных стимула для науки, две главных мотивации: коммунистическое стремление к принципиально лучше-

му будущему и православная потребность в нужных для этого безгрешных чудесах. Именно благодаря им наука в Союзе держалась тогда на пике мировой. А для чего еще десятилетиями мучиться, вынашивая открытия и воплощая их в технологиях? Ради денег и положения? Но воровать — и быстрее, и надежней.

И с некоторых пор, в общем-то, даже престижной.

Теперь институты хоть озолоти — чудесным образом любое золото окажется истраченным не на снабжение лабораторий, а для покупок недвижимости где-нибудь на Коста-Брава. И действительно — если всем можно, то почему ученым нельзя? Что они — второго сорта люди?

А поразительно, как настойчиво все этические религии мира заботились о бережности к миру и о нестяжании. Буквально вдалбливали. Точно знали, что это для чего-то непременно пригодится...

Но тогда получается, что единственный смысл полувековой кровавой судороги России в двадцатом веке — дать культурный всплеск, который позволил пронести идеалы бессребреничества и самоотречения сквозь корыстную, эгоистичную молотилку, так истрепавшую все цивилизации. Выиграть время. Этот культурный всплеск подарил несколько десятков лет, чтобы человечество все же угналось к нулю-Т. Чтобы наука уже смогла, а души еще не сделались непригодны.

А может быть...

Мать честная, лихорадочно думал Журанков, а может, то, что к нам до сих пор, что называется, не прилетали пришельцы, только тем и обусловлено? На скольких планетах до нас рак вседозволяющего потребления перемолол духовные состояния, позволяющие пользоваться переклейками для перемещений?

Интересно...

Он уже некоторое время чувствовал: что-то мешает ему идти свободно и спокойно — но был так увлечен собой, что сознание отмахивалось от невнятной и неважной внешней препоны.

Это очень трудно понять и совсем невозможно объяснить нормальному человеку, который чем занят, с кем говорит, куда едет, что покупает — то и есть его жизнь.

А у некоторых жизнь — это то, что варится внутри. Помаленьку трансмутирует невидимо никому, не проявляясь до поры до времени ни в чем, кроме, пожалуй, отклонений в поведении; разве что беременная женщина это отчасти поймет, да и то лишь та, что всерьез озабочена здоровьем будущего ребенка. Все внешнее, все, что реально происходит и делается: разговоры, поездки, покупки, поедание обедов, чтение книг, смотрение красот — не более чем цветовой фон, звуковое сопровождение, тактильный аккомпанемент, и скользит по границам сознания, как дождик по пластиковому плащу, подразделяясь лишь на две большие группы: то, что вредит творящемуся внутри, и то, что ему способствует. И первая группа, конечно, куда больше второй. Не научившись отрешаться от внешних помех, связно мыслить вообще не сможешь.

Вот и теперь было то же. Но стоило прерваться потоку мыслей, цепко вытягивавших одна другую из темной глубины и похожих, наверное, на звенья коловдезной цепи, когда вытаскиваешь полное чистой влаги ведро, Журанков заметил наконец, что тропинку, которую он помнил живой, наторенной, теперь ноги не находят. Заросла. Похоже, ныне здесь гуляли куда реже, чем два года назад. С чего бы это, удивился Журанков. Народ купаться разлюбил? Или народа не стало? Он немного расстроился: опять во внешнем

мире что-то не то, неправильно, не так, как надо. Помнится, вот за этим поворотом, обозначенным буйными зарослями орешника, тропа должна была оторваться от опушки и покатиться по склону холма вниз, к реке, потом пробежать еще метров сто почти по берегу, так, чтобы не завязнуть в полосе прибрежной осоки, и уткнуться в светлую песчаную проплешину с двумя красивыми валунами почти посредине — на них всегда было удобно и одежду положить, и самим посидеть на их выпуклых, напитавшихся теплом шершавых спинах.

Опаньки!

Вот орешник, вот поворот — а сразу за ними высоченный глухой забор.

Журанков растерянно остановился.

Едва заметная стежка теперь бессильно сникала по внешней стороне забора прямо в топкую береговую низину и терялась там, никуда не ведя.

Ну не могу же я просто так уйти, подумал Журанков; не могу же не потрогать и не похлопать наш валун, не посидеть на нем, как тогда, хоть пять минут, любясь песчаным скосом, дальним берегом, синими стрекозами на высоких травинках. Ведь он не случайно именно на пути сюда так много сегодня придумал и понял. Что за глупость — забор. Подумаешь, забор. Мало ли в стране заборов, которые стоят для виду. Если на все заборы внимание обращать — вообще никуда не дойдешь... Он прислушался. За забором было тихо. Там и нет, наверное, еще никого, подумал Журанков. Построили и торчит, тропу перегораживает... Кого же это угораздило отнять наше место? И здешние тоже, получается, купальни лишились...

Он знал, что потом не простит себе — в кои-то ве-

ки выбрался на их с Наташей пляж, был рядом и не навестил.

Ну не делай же глупостей, почти закричал я.

Но он, всегда такой чуткий, опять не услышал; ему приспичило дойти. Даже не поймешь, зачем. Ощутить связь времен. Ощутить увесистую толщу двух плодотворных лет. Оттереться о чистую память от липкой грязи сегодняшнего унижения. Убедиться, что ничто любимое не уходит, что любимое — всегда рядом, ждет, только найди время навестить. Принести валуну — а значит, и молодой Наташе, и молодому себе в подарок то, что он сегодня понял. И кто знает, что еще в его душе намешалось в тот день.

Он осторожно спустился к самой воде. Разулся, снял носки, скомкал их и спрятал в носки туфель. Осторожно вошел в воду босиком. Между пальцами противно выдавилась холодная скользкая жижа. Не порезаться бы осокой, подумал он. Или битыми стеклами... Сделал шаг. Оказалось скользко. Забор доходил только до воды. Сделал еще шаг. Все получалось не так уж страшно и не так уж тяжело. Вон уже виден, подумал он, наш бережок и наши валуны. Его переполнял детский восторг незлобивой, безобидной вседозволенности. Посижу, думал он, пять минут и — назад. Надо же успеть за тортом. Он обогнул забор по воде, не замочив даже колен. Вышел на песок. Песок был теплым. А камень, подумал он, наверное, еще теплей. Вдали, за тридевять земель от речки, полускрытый плотными строгими рядами каких-то декоративных посадок, виднелся вроде бы уже вполне достроенный безмолвный особняк. Растет благосостояние народа, иронично подумал Журанков. Но если в замке кто-то и есть, они меня, подумал он, даже не заме-

тят. И отвернулся к искристой реке. Где тут наши синие стрекозы?

Три пса кинулись на него из садовых кустов молча и слаженно, как командос из голливудского блокбастера. Горло он успел прикрыть локтем, пах — не успел.

Когда прибежавшие на крик двуногие охранники оттащили четвероногих, окровавленный огрызок человека подле большого валуна, выворотить который с пляжа все не доходили руки, лишь тихо скулил и бессильно сучил ногами. Старший охранник длинно выmaterился и достал из кармана мобильник.

Через пять минут неторопливо, вразвалку подошел начальник стражи. С ничего не выражавшим лицом некоторое время он молча смотрел на Журанкова, потом перевел глаза на старшего из охранников, дюжего бородача.

— Вы что, уроды? Оборзели? Псин на свобошке держите?

— А чего? — утрюмо, но явно не собираясь признавать себя неправым, отозвался бородач. — Слышь, пастух, ты сам прикинь. Народ же сволочь, ни хрена не уважает частную собственность. И селяне, и дачники всякие — поначалу так и лезли... Как им еще вдолбишь?

— Селяне... Этот-то хоть кто? — Начальник стражи, уперев руки в колени, слегка нагнулся над сипящим, напряженно дрожащим Журанковым. — Местный?

— Хер его знает, — отозвался бородач.

— Обыскали?

— А то. Ни трубы, ни ксивы... Бомжара какой-то.

— Не похоже. Бритый, ухоженный.

— Ну, ухоженный бомжара. Какой-нибудь профессор кислых щей. Мало ли их сейчас век доживают кто где...

— След на пальце от кольца, — вслух отметил внимательный начальник стражи. — Свежий...

Бородач на миг чуть смутился. Но ответил, как ни в чем не бывало:

— Ну и чего? Наверно, берег до последнего, а недавно все-таки загнал...

— Жрать захочешь — штаны продашь, не то что кольцо, — поспешно поддержал его второй охранник, помоложе.

Начальник стражи распрямился и задумчиво покусал губу.

— Так ну? — немного растерянно спросил молодой охранник. — Лепилу звать или что?

— Яйца ему уже ни один лепила обратно не прилепит... — задумчиво сказал начальник стражи и помолчал. — Да и вообще. Нам ни на хрен лишний гемморрой, когда у нашего такая стрелка... Ну угораздило же — именно сейчас! — Опять помолчал. Решительно прищурился. — Вот что, уроды. Нашинковали помельче и свезли подальше. И чтобы никто никогда. Прикопайте, притопите... Чтобы с гарантией. Не мне вас учить. Он босой, а ноги не сбиты, ботинки поищите. Найдете — тоже прикопайте. Кровавый песок в речку. Усекли?

— Е... — озадаченно сказал бородач. Такой команды он, похоже, все-таки не ожидал.

— А если нет — тогда отвечать вам, ребяташки. Песики-то у вас гуляли, не у меня.

Владелец особняка в это время из просторного солярия на третьем этаже, словно из гондолы плывущего над полями и лесами дирижабля, говорил, присев на подлокотник кресла, по телефону:

— Витя! Витя, не щелкай очком, слушай сюда. Ты вали на меня, я буду валить на тебя, и пока они най-

дут концы, бабки уже прокрутятся. Банкир ты или чмо болотное? Впервой, что ли? Не стремайся.., Все, больше базлать не могу — народный избранник у ворот. Иду встречать. Бай-бай.

С стороны разбитого шоссе, которым уехал от Журанкова его последний автобус, по свежей подъездной дороге, безукоризненной, точно ее выгладили утюгом, к воротам особняка приближалась, под тормаживая, небольшая кавалькада. И человек, сидевший на заднем сиденье головной машины, тоже говорил по телефону. Свободной рукой он аккуратно вкладывал в корочку несколько листов бумаги.

— Да, я посмотрел текст речи, пока ехал. Все как бы нормально, молодец, только надо усилить вторую часть... Ну, бодягу эту о социальных гарантиях. Обеспечение, увеличение, всемерное повышение, постоянное усиление... Чтобы не просто феньки, а такой, знаешь, гимн всем этим старым пердунам. Ну типа это... помнишь... Счастье для всех даром, и чтоб никто не ушел обиженным! А? — Он послушал и засмеялся. — Во-во. Очередями, чтоб ни один обиженный не ушел. В общем, подработай текст и к вечеру мне перекинь. Ночью посмотрю. Что? Смогу, чего ж не смочь. Я ж как Бурков в «С легким паром» — не пьянею никогда. Чмоки.

Каким-то чудом Журанков слышал их всех. Только его это уже не трогало.

И боли не было. Чувств не осталось никаких — лишь удивление. Последнее, что он подумал живым, было: как же я теперя успею за тортом?

А потом сказал: ты все про нас знаешь. Ты видишь нас насквозь. Ты — все мы. Ты же понимаешь, я не виноват. Она с ума сойдет от беспокойства, будет бегать от окна к окну, за стол без меня не сядет... Ты объясни им с

Вовкой, намекни хотя бы — я их не бросил. Просто явь настигла. Я их не предавал, я их люблю, я с ними, с ними, скажи им, я просто не ожидал; ведь то, что это оказалось так, — и подумать нельзя было. Я же не знал, что меня можно, как муху. Успокой ее как-нибудь. Ты ведь совесть, ты знаешь про нас все, ты сможешь...

И замолчал.

2

Руфь в домашнем халате, держа в руке заложенную указательным пальцем книгу, осторожно приоткрыла дверь в кабинет мужа.

— Сема, ты сильно занят?

Кармаданов отвернулся от заваленного бумагами письменного стола и, смешно наклонив голову лбом вперед, через плечо поглядел на жену поверх сидевших на кончике носа очков. Уютно горела у него за спиной настольная лампа, и одно ухо Кармаданова розово светилось на просвет.

— Ну, как... — ответил он неопределенно. — А что?

Сегодня рано стемнело. Погода портилась; из брюхастой тучи, что собиралась на горизонте всю вторую половину дня и вот собралась наконец и накрыла Полдень, вот-вот должен был обвалиться тяжелый дождь. Оставалось лишь гадать, летняя ли это гроза на радость природе и людям, или всамделишный перелом лета на долгое ненастье. Прогнозы сулили всякое.

— Хочу тебе вслух почитать, — сказала Руфь.

Кармаданов крутнулся к ней на вертящемся своем кресле и снял очки.

— Ради такого счастья я оторвусь, — сказал он.

— Ты всерьез или иронизируешь? — подозрительно спросила Руфь, подходя ближе.

— Конечно, всерьез.

— Ну, не пожалеешь, — ободрила его Руфь и мягко уселась в кресло; точеной женственности своей, которая так сочно начала проявляться теперь и в расцветающей дочери, жена совсем еще не утратила и словно бы не села даже, как обычные люди садятся — сворачиваются позвоночником в дугу и, растопырившись, валяются задом; но будто горячая капелька воска стекла вниз по свече — аккуратно согнув сомкнутые колени, с безукоризненно прямой спиной. Только волосы ее уже начали сесть ранней семитской сединой, однако поразительным образом и это ее не старило, не портило, лишь добавляло шарма. Подчеркивало ее утонченность, что ли... Ай, нечего тут говорить — Кармаданов любил ее, как в молодости, и любовался до сих пор.

— Я, представь, на досуге раннего Булгакова взяла полистать... Благо лето, и времени свободного хоть отбавляй, ученики гуляют...

— Ты точно извиняешься, — сказал Кармаданов. Руфь усмехнулась.

— Ну, вообще-то в наше время тот, кому ни с того ни с сего шарахнуло читать раннего Булгакова, должен как-то объясниться, — сказала она. — Не ровен час, любящий муж от большой заботливости в психушку позвонит — мол, спасайте супругу...

— Намек уловил, — ответил Кармаданов. — Так и быть, не позвоню.

— И вот ты понимаешь... Наткнулась на такую финтифлюшку, как «Похождения Чичикова». Я даже не помню, читала я ее в молодости или нет. Могла прочесть и не запомнить. Теперь все совершенно иначе воспринимается...

— Я думал, — с удовольствием сказал Кармаданов, — про Чичикова Гоголь написал.

— Убью и жрать не дам, — ответила Руфь. — Слушай уж. Это такой типа фельетон, что, мол, Чичиков попал в Москву нэповского времени, и там везде его знакомые Ноздревы, Маниловы, Коробочки, и для жульства — полный простор. В общем, простенько так, — она открыла заложенное пальцем место — Вот например. «Дальше же карьера Чичикова приобрела головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года куда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы...»¹ И всякое такое, в общем.

— До боли знакомая картина, — сказал бывший работник счетной палаты. Ему сразу припомнилось, как в начале девяностых личным распоряжением вдруг решившего поддержать науку Ельцина были кинуты громадные деньги на добычу энергии из гранита. Шоковая терапия, иначе не скажешь. А непотопляемые торсионщики, а запуск специального спутника для испытаний, боже ж мой, гравитапы, а недавняя «Чистая вода» от Петрика... Но излишне спрашивать, почему все эти чудеса до сих пор не осчастливили страну. Ответ прост: мешают престарелые консерва-

¹ Михаил Булгаков. Багровый остров. М., 1990. С. 208.

торы и мракобесы из Академии наук. Если бы этих паразитов наконец разогнать, тут же бы все заработало...

— Да-да, — сказала Руфь, прекрасно поняв, что у мужа на уме. — Я знаю, тебя этими детскими шалостями не удивишь... Но тут не в том прелесть. Слушай дальше... Как и в «Мертвых душах», все открылось, началось следствие, — она опять опустила взгляд. — Читаю. «А тем временем правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл»¹.

— Да ладно! — весело задрал брови Кармаданов. — Так и написано: правозаступник?

— Ага.

— С ума сойти. Вообще что-нибудь новое на свете бывает или нет?

— О том и речь. Значит, так... где это... «Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт: миллиарды были и исчезли. И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно!
По телефону подать!

¹ Михаил Булгаков. Багровый остров. С. 212.

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

И в два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Собакевич? Взять его! И этого! И того! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал! Кто подписал такую финансовую ведомость? Подать его, каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу.

— Чичикова мне сюда!

— Н... н... невозможно сыскать. Они скрымшись...

— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место!

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли.

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги? Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто»¹.

Руфь подняла глаза и захлопнула книгу. Некоторое время они с Кармадановым смотрели друг на друга молча.

Улыбки на лице Кармаданова уже не было.

— Ну и что ты хочешь сказать? — спросил наконец он.

— Это ведь в двадцать втором году написано, Семка, — негромко ответила Руфь. — Полтора года как отменили военный коммунизм. Помнишь, в перестройку и в девяностых нам долбили во все дыры: нэп, нэп, идеальная политика, в два года накормили страну и подняли экономику, надо этому следовать... Вот очевидец. Не какой-нибудь махровый еврей, маниакально стремящийся истребить, понимаете ли, русский народ. И не национально озабоченный лидер, стремящийся выбить евреев из власти, до которой они, понимаете ли, дорвались в семнадцатом году. Нет. Великий русский писатель. Блестящий интеллигент, только что прошедший все ужасы гражданской. Замечательный гуманист. Если даже он не видел никакого реального выхода из бардака, кроме террора, то... То чего мы тогда к Сталину-то цепляемся столько лет? Люди дожидаться не могли, когда кто-нибудь хоть как положит конец повальному маразму власти и повальному воровству дельцов, — она помолчала. — И дождались.

Кармаданов засопел. Он не знал, как ответить. Надо было непременно пошутить, чтобы не поддаться; дай чувству безнадежности палец — оно мигом возь-

¹ Михаил Булгаков. С. 212 — 214.

мет руку. И потроха в придачу. Но победоносная шутка долго не нашаривалась; потом его осенило.

— Захар, — противным голосом капризного барина протянул он. — Спусти эту даму с лестницы. Она разбила мне сердце.

Сима, по коридору проходя из кухни мимо кабинета отца, услышала, что родители смеются, и замедлила шаги — послушать. Она до сих пор по-детски любила, когда они смеются, балагурят, подтрунивают, подначивают, снова смеются... Все это значило, что маленькая страна семьи процветает, и Симе становилось легко и радостно. Но после смеха пошел бубнеж. Замелькало: нэп, Сталин, колхоз... Тьфу! И родители туда же. Сколько можно тереть одну терку, поджав губы, подумала Сима и решительно пошла к себе. Вот же занудство. Преданья старины глубокой... Как им всем не надоест.

Плотно прикрыв за собой дверь, она подошла к книжным стеллажам, вынула две книги из первого ряда, а потом из открывшейся глубины — еще одну. Раскрыла ее на середине; дрессированная многократными извлечениями книжка уже давно выучила, где раскрываться. Между страницами лежала полоска бумаги, на ней был записан его телефон. Сима понятия не имела, почему она это так прячет. Никогда родители не рылись в ее вещах, не читали ее писем; никогда. Но почему-то так было правильно. Почему жемчужина растет в самых тайных складках запрятанной между створками раковины мягкой маленькой плоти? Потому что снаружи она вообще не вырастет. Так и тут. Хотя на кой леший ей вообще сдалась эта бумажка, Сима уже понятия не имела. Первой звонить она нипочем не станет, а уж типа стоять в тоске под окнами у парня, которому на нее

плевать, — это вообще. Спасибочки, не дождетесь. Чай, не кино.

Сегодня исполнилось ровно полгода с тех пор, как бумажка завелась в книге. После первых же дней, когда он так и не позвонил — хотя она сама, сама на такой же точно полоске написала ему и телефон свой, и адрес, — Сима твердо решила, что если он не проявится за полгода, она эту бумажку выкинет на фиг. В унитаз. Скомкает и кинет в унитаз, и спустит воду. Иногда она даже представляла, как это делает, и руки сами начинали чесаться и теребить: давай, мол, скомкаем уже, а? Но она дала себе слово — полгода. И вот сегодня исполнилось.

Мою-то бумажку, подумала она, старательно ожесточая себя, он, наверное, порвал и выкинул сразу. Как тот пилот из «Уловки 22» разорвал полоску бумаги с адресом влюбившейся в него с первого взгляда итальянской проститутки; она сама ему написала имя и адрес, и сама же сказала, что он, наверное, порвет бумажку, как только они разойдутся, и он так и сделал. Как ее? Лючана. Проститутка Лючана. Когда Сима произносила или хотя бы думала слово «проститутка», у нее горячо пережимало дыхание, а в животе, наоборот, будто огромная сосулька беззвучно обваливалась с крыши. Сима еще ни с кем не была. И нисколечко не хотела.

Если бы она, Сима, была проституткой, с него она тоже не взяла бы денег.

Полгода прошло.

Она смяла бумажку так ожесточенно, словно, намучившись от жажды, хотела выдавить хоть каплю воды. Сердце запрыгало, точно кузнечики из-под ног, когда идешь по крымской степи — беспорядочно, глупо, грузно и невпопад. От тебя вроде спасается — и шмяк твердым лбом в твою же коленку.

Неподвижные сумерки за окном протяжно вздохнули, а потом в стекло гулко ударили первые огромные капли. Затихли на несколько мгновений и посыпались горохом.

Вдруг вспомнилось: странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана...

Будто услышав чей-то предостерегающий окрик, Сима задрожавшими пальцами бережно разгладила неповторимую бумажку и спрятала ее на утретое место между страницами; потом поставила книгу в дальний ряд и, как опытный конспиратор, снова заложила ее двумя другими.

3

Академик Алдошин в этот вечер тоже сидел с книгой.

В окно, налетая волнами, лупил ливень; ошалело мотались снаружи едва видные в мутном сумраке тени деревьев. А в комнате было уютно и светло; горел торшер, и в стоячем воздухе, лишенном даже намека на ветер, точно слои планктона в океане медлительно переливались слои табачного дыма. Изредка Алдошин позволял себе покурить, и вот сейчас настал такой момент.

Завтра должны были подвезти наконец пять скафандров «Орлан» — устаревших, но вполне работоспособных, а главное, как «Орланам» и положено, не требующих индивидуальной подгонки. Из тех, что в свое время не пошли на орбиту. Странно все же работать для государства, но на свой страх и риск и потому как бы втайне от него — ДЛЯ государства, но не НА государство, вот в чем штука. Все основные мотивировки приходится как-то маскировать. Какой только лапши не навесил Алдошин весной наверху, чтобы

оправдать потребность Полудня в скафандрах для открытого космоса, срам вспоминать. Ну, а если и впрямь удастся получить, например, образцы лунного грунта — как, на каком основании их втюхать для исследований? А если уже и не только лунного?

Вот настоящие брехуны и жулики, тянущие из казны миллиарды под заведомую панаму, почему-то врать не стесняются. И денег требуют так правомочно, так уверенно... И получается у них, увы, куда складней и звонче.

Похоже, надо будет как-то менять, что называется, парадигму.

Впрочем, все в свое время.левой — правой, левой — правой... Ясно было одно. Пора пробовать переклейки за пределами планеты.

Принципиально-то ни малейшей разницы не предвиделось. Просто некий внутренний барьер нужно преодолеть, а для этого — набраться опыта и уверенности. Пока скачешь с места на место в земных пределах, все же спокойнее на душе — если, мол, что-то даже и случится, есть чем дышать, есть как вернуться. Но переклейки оказались настолько надежны и безопасны, что...

Голова шла кругом. И настроение уже который день было сродни тому, что в детстве академик всегда испытывал перед Новым годом. Пусть эти послевоенные Новые годы были куда как скудны — отсутствие нынешнего сумасшедшего изобилия не мешало, а помогало чувствовать праздник и надежду, что он принесет обновление. Вот-вот елка зажжется, и косяком повалят настоящие чудеса...

Сегодня он позволил себе наконец открыть лунный атлас и приступить к выбору места для первых посещений. Эта процедура имела, конечно, характер

чисто ритуальный, почти религиозный — академик сам это понимал. Ни малейшей разницы не было, в какой именно кратер в каком именно море перепрыгнуть для начала, только чтобы попробовать — получится или нет? Хотя понятно, что получится... Но первый выход за пределы Земли, к иному небесному телу — это нечто. Без сгорающих в дюзах миллионов денег, без дыры в атмосфере, без окаянной, допотопной трубы с керосином, совершеннее которой человечество якобы ничего еще не придумало, но с которой, давно уже ясно, никакой настоящей каши не сваришь...

Поискать первый луноход? Или рвануть к гербу СССР, закинутому на поверхность царицы ночи «Луной-2» без малого полста пять лет назад? Алдошин тогда, в пору лунников, еще только студентствовал-аспирантствовал, но как же помнились те восторги, та лихорадка, та бесшабашная гонка в простор! И не оттого гонка, что американцы в затылок дышат, а оттого, что самим невмоготу, невтерпеж; ни спать не хочется, ни читать книги, ни в театр идти, только работать, потому что душа рвется в пляс, как счастливая невеста, и попутный ветер надувает паруса в мозгу. Отказ оборудования, через месяц — отказ системы ориентации, потом просто — промах мимо Луны, мать честная, хоть вешайся, хоть пей запоем; а потом вдруг — опа! То, что считалось чудом, оказалось сделанным делом. Первая в мире мягкая посадка на лунную поверхность! А всего-то через четыре года — наш любимый, как пел Высоцкий, лунный трактор; и ведь не просто чайник с гусеницами — один лазерный дальномер, которым уточняли расстояние до Земли, чего стоит. Могли ведь когда-то.

Потому что хотели, черт возьми. Очень хотели, потому и могли.

Не денег под Луну хотели отпилить, а действительно до нее добраться. Почувствуйте разницу. Вот позарез хотели. Казалось бы — на фига? Уроды...

Из-за мечты люди делают историю. Из-за еды люди делают дерьмо. Вот такие двойственные существа.

Беда в том, что не есть люди не могут, а не мечтать о несъедобном — могут, да еще как. Поэтому легко доказать, что только еда — это общечеловеческая ценность, а мечта — всего лишь блажь тех, кто с катушек съехал, наверное, от сексуальной неполноценности, и безо всякой пользы тратит на свои бредни то, что можно съесть и с огромной пользой превратить в дерьмо.

Ничего. Мы им еще покажем.

И теперь, сидя дома в любимом мягком кресле, нога на ногу, с запретной, но такой сладкой, так нелепо отдающей молодостью сигареткой в пальцах, он снова оглядывал с орбитальной высоты рельефные карты с до дрожи знакомыми смолоду названиями и этак небрежно выбирал, куда. Зная, что на самом-то деле можно и туда, и туда, и за один день в двадцать разных мест... Тимохарис? Паллас? Лаланд? Гершель? Вам Гершель Цэ или Гершель Дэ? Знаете что — мы берем оба, заверните.

Жизнь только начиналась.

Я еще увижу, подумал Алдошин, как встают над горизонтом чужие солнца. Подумал взволнованно и чуть гордо, но — просто. Потому что так и случится, скоро-скоро. Не было ни малейших сомнений, не было даже оснований сомневаться.

В тишине уютно плывущей в дожде сухой квартиры, где шум валившей с небес воды казался таким театральным, запиликал телефонный звонок.

Кого это на ночь глядя, с удивлением подумал академик. Встал, подошел к лежащей на одной из книжных полок трубке.

— Алло?

Это был Наиль, и дышал он так, словно перед тем, как позвонить, взбежал вприпрыжку на пятнадцатый этаж.

— Слушайте, Борис Ильич...

— Слушаю, Наиль Файзуллаевич, — произнес Алдошин, постаравшись в ответ говорить как можно спокойнее и хоть так немножко привести в себя невесть из-за каких пустяков разволновавшегося олигарха.

— Вы ничего не знаете о Журанкове? — отрывисто спросил Наиль. — Может, он вообще у вас, например? Или говорил вам что-нибудь о своих планах на сегодня?

— Нет, — с удивлением ответил Алдошин. — Мы с ним последний раз позавчера виделись, я участвовал в двух переключках... Сколько мне известно, они сейчас с сыном отрабатывают ограничения по массе. Но сейчас, конечно... — Алдошин глянул на часы. Было без десяти одиннадцать. — Сейчас они вряд ли в лабора...

— Да оставьте! — нервно крикнул Наиль. — Журанков сегодня в город уехал, на какую-то дурацкую передачу... Даже в известность никого не поставил, гений хренов! И вот исчез!

— Как исчез? — медленно переспросил Алдошин. До него все никак не доходило. — Со стенда? Так они там то и дело исчезают. Новый эксперимент, навер...

— Да не со стенда! С какого стенда! Вы меня слушаете или нет?! Уехал в город и не вернулся! Растворился по дороге!!

У Алдошина наконец-то жажнуло сердце. На миг потемнело в глазах, и он тяжело сел.

Вениамин Ласкин каким-то чудом очень рано познал секреты работы с аудиторией; наверное, то был его талант.

Во-первых, нельзя допускать никаких сложностей и двусмысленностей. Никаких «с одной стороны, с другой стороны». Никаких «на первый взгляд, но на самом деле». Умников полно, а запоминают немногих. Востребованы не те, кто сопли жуёт, а кто отвечает безупречно корректные пощечины. Жить надо ярко, и, значит, говорить надо хлестко. С полной уверенностью, безапелляционно; так, чтобы тот, кто слыхом не слыхал о том, что ты подаешь как общеизвестный факт, не в твоих словах начинал сомневаться, а в своих знаниях.

Во-вторых, не надо бояться нести дичь. Иногда именно она и оказывается самой долгожданной правдой. Сейчас уже многие усвоили, что нужно постоянно повышать градус горячности и непримиримости, градус парадоксальности и ошеломительности предлагаемых рецептов. Это правда; того, кто повторяет сказанное кем-то где-то прежде, не запомнят никогда и не захотят слушать во второй раз. Но даже у большинства тех говорунов, кто это понял, все равно в последний момент срабатывают какие-то тормоза, и они начинают топтаться на месте; в решительный момент им не хватает фантазии. А в споре, прямом или за глаза, в блогах, в статьях всегда победит и останется в памяти тот, у кого тормозов нет. Надо быть левее всех левых и правее всех правых. Тихо вступать в партии и с шумом покидать их, как недостаточно честные, решительные и бескомпромиссные. Всех клеймить непоследовательными и половинчатыми. Если

кто-то предлагает вернуть смертную казнь для педофилов — в ответ ему предложить отдавать педофилов родителям пострадавших детей на самосуд. Однажды кто-то пошутил: «Да если твоим советам и впрямь последуют, ты же первый драпанешь из страны с криком, что там у них полный ад!» Ласкин лишь с гордой улыбкой задрал подбородок. Он говорил и писал совсем не для того, чтобы его советам кто-то следовал. Наоборот. То, что им не следовали и в принципе следовать не могли, делало Ласкина неуязвимым. Слова, не имеющие ни малейшего шанса стать делами, навсегда остаются нетоптаной истиной.

В-третьих, ни в коем случае нельзя слушать собеседника. От его слов надо просто отмахиваться, лучше всего — со смехом; например, в параллель тому, что оппонент говорил всерьез, выдать анекдот, чем грубее и глупее, тем лучше. Ни в коем случае нельзя задумываться над чужими словами. Ни за какие коврижки нельзя в них рыться и выискивать: а вдруг в речах того, кто со мной спорит, содержится какие-то рациональное зерно. Не рациональное зерно нам нужно, а чтобы было ярко, чтобы смотрели, слушали и запомнили. Говорящих голов нынче полон телевизор, и если хочешь быть не в их нескончаемом ряду, а отдельно впереди ряда — нужно поражать. Такая работа.

Ну и нельзя, конечно бояться повышать голос. Надо шуметь. Быдло любит не только быструю езду, но и громкий звук.

Конечно, можно было бы сориентироваться на иного, ныне куда более массового потребителя — патриотического. Точно так же разить наотмашь любого, кто высунется, но только наоборот, этак с любовью к России, из коей вскорости беспрерывно долженствует воспоследовать спасение бездуховного челове-

чества. Какое-то время Ласкин всерьез рассматривал подобный вариант. Иностранец-патриот — это было бы сильно. Его бы тут на руках носили. Президент вешал бы ордена ежегодно. Но каким человеческим отребьем, какой черносотенной мразью оказался бы сразу заполнен круг общения! Просто посмеяться и то стало бы не с кем! И одновременно оказался бы автоматически перекрыт Запад; на фигу Западу российские патриоты? А почет здесь и почет на Западе — вещи несопоставимые. Утрату возможности быть уважаемым и одобряемым там не скомпенсируют никакие туземные дифирамбы, деньги и регалии. И кроме того, льстить тупому хамью и превозносить его уродства можно было бы себя заставить разве что в обмен на перспективу лет через пять-семь этакой каторги стать президентом Соединенных Штатов. А поскольку столь ценный приз уж никак не светил, игра не стоила свеч. И Ласкин пошел традиционным, проверенным путем. Жаль, насовсем перебраться на Запад тоже было нельзя — никто слушать не станет. Притеснениями властей и риском физического уничтожения уже не поиграешь, а на чем тогда строить образ? Только на десятилетиями культивировавшейся тамошней святой вере, будто тут и взаправду на каждого оппозиционного журналиста в любой подворотне по пять озверелых чекистов с кривыми ржавыми ножами... Не приведи бог, Россия каким-нибудь чудом помирится с Западом, и там перестанут веровать в нескончаемый русский террор. Можно с голоду подохнуть. Поэтому — не дадим.

Конечно, не он один знал эти истины. Но одно дело — знать, а другое — чтобы получалось.

У него получалось.

Когда местные менты назойливо принялись с ним

беседовать, он поначалу надеялся, будто из этого получится что-то выжать, и некоторое время старался вести дело так, чтобы у них волей-неволей получилось какое-нибудь притеснение, пригодное для истолкования в том смысле, что на бескомпромиссного критика Кремля силовики нарочито вешают всех собак в тщетных потугах заткнуть рот правде. Мол, после вызвавшей широкий общественный резонанс радиопередачи о будущем России власть немедленно отреагировала попыткой обвинить правдолюбца в банальной уголовке. Это было бы куда как пристойно. Мог получиться скандалчик не хуже прочих. Исчезать из новостей нельзя; если тебя однажды забыли — потом уже не вспомнят, ибо свято место пусто не бывает; это самое место тут же с гомоном обсыдут более проворные коллеги. Но серые не повелись. За последние годы у них тоже, видимо, появился некоторый опыт; этот трюк обыгрывался на заре демократии десятки раз и прекрасно срабатывал в свое время, но никакая тактика не вечна. Все попытки Ласкина обобщить ситуацию и пустяковый случай очередной пропажи без вести превратить в символ противостояния народа и власти спокойно блокировались; менты не давали увести себя от конкретики. В ответ на все яркие метафоры Ласкину в сотый раз задавали одни и те же мелочные скучные вопросы хладнокровно, без малейшего намека на усталость, при помощи которой в органах дают понять, что, мол, как же ты нам надоел со своими выкрутасами, когда же ты заговоришь наконец по делу, смотри, мы уже начинаем уставать — и усталость эту так легко выворачивать в непозволительный нажим, слегка прикрытую угрозу и вообще пренебрежение к человеку. Где вы расстались с Журанковым? В каком он был состоянии?

Нервничал, глотал валидол или какие-то таблетки, например? Смеялся, шутил? Не беседовал ли с ним кто, пока вы шли к стоянке? Не подходил ли к нему кто, не передавал ли чего? А не обратили вы внимания, не делал ли ему кто каких-то знаков? А о чем вы беседовали? Не обмолвился ли он случайно о каких-то планах на остаток дня? Не собирался ли походить по магазинам в городе или с кем-то встретиться? Постарайтесь припомнить, нам важна каждая мелочь. Вы, по сути, последний человек, с которым пропавший Журанков общался. Конечно, есть еще ведущий вашей передачи, с ним мы тоже беседуем, но именно вы ведь, как показало уже несколько свидетелей, ушли со студии с Журанковым вместе...

На вопросы Ласкин совершенно искренне отвечал: ничего. Ничего не сообщал, ничего не замечал, никто не подходил... Вся эта волынка приобрела бы для него хоть какой-то смысл, если бы по крайней мере косвенно, намеком, ненароком следователь показал, будто подозревает, что к исчезновению этого малахольного старого доходяги, вздумавшего спорить с ним, с Ласкиным, Ласкин же и причастен. Уж за это он бы сумел ухватиться. Если бы получилось уличить их в том, что они не исключают, будто он что-то передал Журанкову, к кому-то пригласил, чем-то куда-то поманил — это была бы песня. Тут менты бы не отмазались. За попытку обвинить невинного оппозиционного искателя истины в вульгарном соучастии в похищении никому не нужного зануды они бы у него попрыгали.

Но серые вели себя очень точно. Может, им и хотелось поспрашивать в этом роде, наверняка хотелось — но они, похоже, понимали, с кем имеют дело, и не подставились ни разу.

И Ласкин понял, что здесь нечего ловить. Время и

нервы они у него отнимут, а проку не будет никакого. Поэтому он, не размениваясь на мелочи и не строя себе воздушных замков, по-быстрому свернул свои лекции («Уважаемые слушатели, единомышленники, друзья, я не могу, к сожалению, продолжать работу в вашем городе. Я подвергаюсь давлению со стороны силовиков») и, с ледяной любезностью осведомившись у следователя, не намерены ли доблестные органы защиты правопорядка его задерживать или брать с него подписку о невыезде (как и следовало ожидать — не намерены), убыл в первопрестольную. Обрыдло. Достали, козлы.

Однако ж, не размениваясь по мелочам, нельзя впадать в иную крайность; тогда есть риск не услышать зов удачи, порой звучащий невзначай, неброско, даже неуместно, точно отрывок случайного соседа за столиком в кафе. Конечно, на всякий пустяк нельзя кидаться, как на нить Ариадны. Но это опять-таки вопрос таланта. Если нет таланта и обязательно прилагающейся к нему интуиции, вечно будешь попадать невпопад: пропускать везенье, как глухой — набат, и упорно лелеять пустышки, тратя на них все силы, а в конечном счете — жизнь.

Когда Ласкину позвонил некто Бабцев и попросил о встрече, первым порывом Вениамина было отказаться. Фамилия Бабцева была ему знакома, пожалуй, даже более чем знакома. В свое время Ласкин зачитывался его яркими и смелыми для своего времени работами. Наверное, он у Бабцева даже чему-то учился. Но он давно выучился. Прошлое должно оставаться в прошлом. А Бабцев явно принадлежал ушедшей эпохе; она была вроде бы совсем недавно, но уже тоже осыпалась в нескончаемо разевающуюся пропасть прошлого. Мир стал иным. Во времена Бабцева

перед этой страной еще стоял какой-никакой выбор и казалось, человек способен что-то менять, что-то решать или хотя бы воздействовать на принятие решений; теперь все окостенело и лучше всего, если дать себе труд понять, какая именно свобода восторжествовала и где, просто играть в этой окончательно отстроенной грязной песочнице по ее правилам и печь для себя свои куличи, чем больше и дороже — тем лучше. Да, подобные Бабцеву люди еще пользовались влиянием, авторитетом, на них ссылались, им даже официальные награды порой навешивали как ветеранам борьбы за демократию, но что с того — всегда в этой стране живые только мешают, а в чести одни покойники, только их можно публично уважать, цитировать, возносить в качестве образцов для подражания; ну, и еще тех, кто одной ногой в могиле. Духовных покойников. Когда пришел опыт, навык, понимание и осознание смысла своей работы, тексты статей и интервью Бабцева вдруг оказались какими-то половинчатыми, жалкими. Такое впечатление, что он, когда писал — думал! Может, даже переживал! Может, даже тужился что-то втолковать...

А кому это сейчас надо? Сейчас надо зарабатывать!

Однако Ласкин не отказался. Наоборот, выразил восторг — вполне, впрочем, умеренный — оттого, что зачем-то понадобился старшему уважаемому коллеге. С готовностью принял предложение попить завтра вместе кофейку в любом удобном Ласкину заведении. В конце концов, это было любопытно. А потом — нелепо отказываться от возможности приблизиться к кому-то, кто пока выше тебя. Никогда не знаешь, может, он-то и окажется ступенькой для твоего подъема. Занимаемся-то, в сущности, одним делом, успел сообразить Ласкин, и кормушка одна...

Бабцев оказался примерно таким, каким Ласкин его себе и представлял. Моложавее своих лет, он сохранял изрядный налет запальчивой, самозабвенной интеллигентности — наверное, сродни той, что давным-давно, в старозаветные времена, когда Ласкин ходил пешком под стол, кидала молодых чудил под красноезвездные танки зачастивших было путчистов. Ласкин вполне мог представить Бабцева в кадрах архивной кинохроники — скажем, на доисторической баррикаде перед Белым домом: с солнечными глазами, чеканя пророческие слова, самозабвенный юноша через осипший мегафон пламенно предупреждал бы народы о новой смертельной угрозе свободе и правам. Но теперь это был уж не огонь — в лучшем случае синие дрожащие язычки над прогоревшими углями. Внимательному глазу быстро становилось видно, как изжевала Бабцева жизнь. Лицо его будто вынули недавно из стиральной машины. И молодость его была потрепанной, и элегантная ухоженность — после жесткого отжима. И в глазах — не солнце, а луна. Знобкое отраженное мерцание перед погружением во тьму.

Картина радовала. Судя по Бабцеву, это поколение и впрямь уже уходило. А пряников сладких всегда не хватает на всех.

В первые минуты, однако, Ласкин испытал разочарование. Это было сродни дежа вю. Они взяли по чашечке кофе по-ирландски, легкую, в хрусточку, прикусь, и Бабцев заговорил не о чем-нибудь, а о Журанкове.

Но буквально через несколько минут Ласкин насторожился.

Тесен, однако, мир, подумал он. Оказывается, блистательный публицист, неутомимый гонитель режисера, прекрасно знал пропавшего заштатного учено-

го, дружил с ним, сына имел с ним, так сказать, едва ли не напополам. На паях. И оказывается — вот новости! — не умеющий двух слов связать провинциальный физик, которого Ласкину подкинули, чтобы продемонстрировать эфирному народу смехотворную несостоятельность наивного патриотизма старых интеллигентов, был не выжившим из ума чудаком, изобретающим вечный двигатель, а серьезным специалистом, связанным с космической отраслью и наверняка представлявшим интерес, среди прочего, и для разного рода спецслужб.

Жаль, Ласкин не знал этого раньше. Разговор на радио можно было бы вести иначе и выжать из него куда больше. Где пахнет спецслужбами — там всегда можно спахтать масло.

А дальше оказалось еще интереснее.

Я понимаю, плел свою паутину Бабцев, человек нашего круга не может не испытывать определенной гадливости, когда его берут в разработку доблестные правоохранители, способные только мочить беззащитных людей — пусть пока не в сортирах, но уже и в магазинах, и на автостоянках, на перекрестках улиц... Поэтому я вполне допускаю: вы и не думали, уважаемый Вениамин Маркович, всерьез стараться отвечать на их вопросы с максимальной точностью и вспоминать все детали. Наверняка они от вас этого требовали, и наверняка вам хотелось только одного: поскорее закончить разговор и никогда в жизни больше не видеть постылых рож. Я, разливаясь соловьем Бабцев, не раз бывал в подобных ситуациях и прекрасно могу вас понять. Но у меня, доверительно поведал он, совсем иные мотивы...

Ага, смекнул Ласкин.

Бабцев сделал еще один маленький глоточек кофе

и снова аккуратно поставил чашку на блюде. Ему казалось, он говорит очень доверительно и веско.

— И вот поэтому я обращаюсь к вам. У меня склепнулось несколько мотивов. И чисто человеческий — мы дружили. И, так сказать, отцовский — если бы я оказался в состоянии помочь в розысках пропавшего отца, это снова сблизило бы меня с пасынком, вы же понимаете. Вовка мне как родной.

— Прекрасно вас понимаю, — со скорбным, сопереживающим лицом Ласкин кивнул, все помешивая и помешивая ложечкой в чашке. Кофе с виски должен был быть, на его вкус, чрезвычайно сладким. Предельно сладким.

— Я рад, — улыбнулся Бабцев. — Но есть у меня и профессиональный мотив, и тут вы, я уверен, меня тоже поймете. Мы ведь оба журналисты. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете...

Что за ботва, подумал Ласкин. При чем тут трое суток? Этот динозавр, похоже, еще и стишки пописывает?

— Поиски пропавшего друга, уникального ученого, отца, не так давно вновь счастливо обретшего свое отцовство, — это же несравненный материал для журналистского расследования. Оно может очень прозвучать. Очень.

Ласкин наконец отложил ложечку и задумчиво пригубил. Насчет того, что это колоссальный материал, он уже догнал. Патриоты будут мужественно стискивать челюсти и играть желваками, желая смельчаку удачи в его одиноком, на свой страх и риск расследовании, от которого, наверное, прямо зависит обороноспособность Отчизны. Демократы получают жареный материал о пренебрежении режима к науке и к

ученым — только на словах их превозносят, накачивают бешеными деньгами бездарей, способных лишь задницы лизать кремлевским воротилам, на деле же маститый физик может пропасть посреди поля, и никто не почешется. Старые девы и почтенные матроны обрыдаются: а мальчик-то, мальчик-то как же, кто ж о сиротинушке позаботится? А только бескорыстный отчим, носитель западных семейных ценностей.

Убойный сериал можно сгροхать. Просто убойный. Я бы, подумал Ласкин, из этого выжал книгу, не меньше. Сидящий напротив замшелый реликт, которому давно пора на покой, снова станет намбер уан.

— Поэтому я попробую задать вам несколько вопросов вроде тех, которые вам наверняка уже задавали. Но совсем в иных обстоятельствах и совсем иные люди. Я очень следил и слежу за всем, что появляется относительно этого дела в публикациях в сети, и знаю, что вы действительно общались с Журанковым, по сути, последним. А ведь ситуация странная донельзя. Установлено, что он сел в автобус, который должен был отвезти его домой. Даже более или менее точно выяснено, на какой остановке он вышел, до дома не доехав. Вышел совершенно необъяснимо. Никто не знает, что его вдруг... боднуло. И потом, как на грех — через несколько часов сильнейший ливень. Поиски начались назавтра и не дали ровным счетом никаких результатов. Поэтому. Поэтому, — Бабцев, будто перед прыжком, глубоко вздохнул. Ну расскажи что-нибудь путное, взмолился он про себя. Ну вспомни! Ты же моя последняя надежда! — Может быть, в разговоре с вами он все же сказал случайно что-то такое, что позволило бы понять его дальнейшие поступки? Как-то их осмыслить, спрогнозировать то, что он сделал, выйдя из автобуса. Был же у

него какой-то мотив? Была какая-то цель? Какое-то желание? Желание внезапное, или, по крайней мере, такое, что пришло ему в голову уже после отъезда из дому, потому что вернуться он обещал рано, к середине дня... Что-то с ним случилось? Кто-то ему что-то сказал? Почему так резко изменились его планы?

Странно, подумал Ласкин. Вот сейчас, когда я знаю, что он не просто лох от науки, вдавненный безработицей в навоз провинции, а полусекретная шишка, что-то и впрямь начинает всплывать. Он же лопотал что-то такое сентиментальное... погулять в поле, в памятных местах... да, он довольно подробно описывал, только я эту душещипательную чушь, конечно, слушал-то вполуха... Что-то такое про плес, про излучину, про валун на песчаном пляже... Наверное, местные по этим описаниям могли бы, чего доброго, узнать то место, куда его тянуло... Тянуло-тянуло — и, может, вытянуло?

С ума сойти.

Нет уж, подумал он. Это эксклюзивная информация.

Увы, сказал он Бабцеву сожалеюще, почти сокрушенно. Я был вполне искренен и с милицией, и точно так же я вполне искренен с вами, уважаемый Валентин Витальевич. Смешно даже предполагать, что Журанков мог со мной разоткровенничаться, мы же, в общем, довольно круто на эфир поговорили. Он ведь даже от моего приглашения вместе пообедать отказался. Ничем не могу вам помочь, ай-ай. Мне искренне жаль.

Лицо у Бабцева стало такое, будто ему сообщили раковый диагноз.

Что-то со знаменитым Бабцевым творилось, похоже, не то.

Падающего подтолкни?

Ласкин еще не знал, как распорядится тем, что вспомнил, пригодится оно ему, или нет — но то, что

сей пиущий динозавр за его, Ласкина, счет тут не поживится, это он мог гарантировать.

А вообще странно. Странно, что известный демократический журналист, по сути, повторял вопросы, которые задавали в милиции.

То есть, положи руку на сердце — ничего странного. Какие тут еще можно задавать вопросы? Нюхали ли вы вместе кокаин? Не пытался ли он вас зарезать? Смешно. Нет, вопросы логичные, единственные — но...

Ласкин уже видел зубодробильную статью. Для начала сетевую, а там посмотрим. Тут, главное, пройти по лезвию бритвы — разукрасить человека так, чтобы он уж не отмылся, но в то же время не подставиться самому. Чтобы ни малейших шансов разукрашенный не имел подать в суд и выиграть дело.

Именно эта невзначай пришедшая ему в голову мысль и должна стать осевой: а не странно ли, что известный правозащитник, крупный публицист демократического направления, якобы противник режима, задает милицейские вопросы? Словно бы выполняет щекотливые поручения спецслужб. Не наводит ли на размышления и подозрения тот удивительный факт, что он пытается, пользуясь своим реноме, собрать явно важную для империи, натужно пытающейся реанимировать свой ВПК, информацию там, где обычными средствами силовикам добыть ее не удалось?

Руки уже просились к клавиатуре; жаль, сегодня вряд ли получится припасть к ней всерьез, разве что в ночь. Вечером непременно надлежало встретиться с сиделкой, которую Ласкин нанял полгода назад ухаживать за совсем слегшей матерью. Ради мамы он всегда делал все, что надо, платил, не скупясь. Но теперь жеманная, спесивая и не слишком-то склонная к добросовестной работе руками дама, бывший искус-

ствовед, уж очень настойчиво клянчила прибавки: инфляция, мол. Нужно было тщательно разобраться во всех ее расходах и решить, стоит ли оно того.

Ну, и с мамой заодно повидаться.

5

Впервые Бабцев получил из светлого города на холме нагоняй.

Говоря по совести, нагоняй был заслуженным. Другое дело, что сработать результативней Бабцев все равно, пожалуй, не смог бы — и им там следовало войти в его положение; впрочем, где и когда хозяева входили в положение своих... Даже не понятно, как сказать. Рабов? Подчиненных? Завербованных?

Последнего термина он избегал особенно истово. Нельзя произносить такое вслух, и даже мысленно нельзя. Это не про него, не про Бабцева. Он же свободный человек, сделавший в свое время осознанный выбор; человек, который продолжил свою борьбу этически не вполне безупречным образом, когда иных средств не оставил ему всесильный и абсолютно аморальный противник, поработивший страну — продолжил, даже рискнул, решился, не в силах примириться с торжеством тьмы...

Теперь свободного человека распушили, как конюха.

Последний визит в Полдень и участие в нелепом, ни на что не похожем тестировании оставили и у самого-то Бабцева зудящее чувство непонимания и какого-то смутного личного поражения. Он объяснил хандру, накотившую на него после журанковской свадьбы, чисто личной психологией: ну с чего ему веселиться, если и Катерина, похоже, вполне была сча-

стлива с этим простоватым недалеким Фомичевым, и Журанков буквально светился и цвел то ли только от того, что нашел новую зазнобу, то ли еще по каким причинам — рабочим, творческим, не дай бог... И Вовка был теперь от него, Бабцева, совсем далек. Он оставался вежлив, приветлив, открыт, он очень по-взрослому сделался с отчимом даже более приветлив и открыт, чем прежде, почему бы, мол, и нет, от щедротто... Но такая приветливость не многого стоила. Это была приветливость к чужому.

Однако пристальный взгляд из поднебесья приметил недоработки, и глас горний дал Бабцеву понять, что его хандра тут ни при чем; проколы совершенно объективны.

Что реально значила столь открыто, вызывающе открыто совершенная над группой столь разных людей процедура? Эксперты сияющего города были убеждены, что в действительности речь не могла идти о каком-то психологическом тестировании. Лазерная стимуляция — вещь, конечно, достаточно темная, неразработанная, но, пусть даже она может иметь какое-то отношение к выволакиванию из подсознания воображаемых или когда-то виденных образов, все равно смысл описанного Бабцевым в донесении действия от экспертов ускользал. Теперь от борца за идею жестко требовали по-быстрому дознаться: может быть, на самом деле в Полудне ведутся какие-то достаточно лихие эксперименты, например, по растормаживанию и усилению творческого потенциала? Долгий простой космической программы в Полудне может, на самом-то деле, объясняться не только кризисом, нехваткой средств, обострившейся конкуренцией со стороны полностью подконтрольного государству Роскосмоса; частная корпорация могла решиться на

свой страх и риск пуститься в авантюры и тайком вообще сменить направление исследований, космос оставив лишь как дезинформирующую легенду прикрытия. И, коль скоро были мимоходом вовлечены совершенно случайные, посторонние люди, из этого, возможно, следует, что корпорации катастрофически не хватает ресурсов и что с государством корпорация уже чуть ли не на ножах; если же это и впрямь так, то самое время попробовать сунуться в нее из-за океана с добротой и щедростью. Однако нельзя исключить, что это был какой-то обманный фарс; но тогда что именно он прикрывал, и почему для того, чтобы его разыграть, были выбраны именно приехавшие на свадьбу гости, трое из которых, как нарочно — профессиональные журналисты... На все эти вопросы Бабцеву надлежало найти ответы по возможности незамедлительно.

Если сам Бабцев ничего не увидел после облечения, и ровно так же никаких образов не предстало перед мысленным взором еще одного коллеги, Корхового, то почему Бабцев не поинтересовался максимально подробным образом ощущениями и видениями единственного, по его же собственным словам, успешно прошедшего тест испытуемого? То, что этот счастливчик — нынешний муж его прежней жены и интимничать с ним по меньшей мере неловко, никого не парило. Знай и умей. Подружись, поговори, выясни. Теперь Бабцев понимал, что проявил тогда, что называется, преступную халатность — то ли по высокомерию своему не в силах поверить, что у него на глазах произошло нечто действительно важное, то ли от внутренней обиды, в которой он сам не решился себе признаться: как это — у кого-то получилось, а у меня нет... Получив разнос, Бабцев припомнил, что

Журанков сразу после теста явно изменил отношение к Фомичеву; когда они возвращались из лаборатории в кафе, Журанков отвел Фомичева в сторонку и всю дорогу с ним говорил о чем-то. О чем? Не Катерину же и ее бабьи стати они обсуждали? А сам Вовка? Почему он так настойчиво просил маму пройти тест? В чем тут была изюминка? Значит, сам Вовка его уже прошел? И чем, интересно, дело кончилось? Или, наоборот, собой они не рисковали, но пытались подставить тех, на чью полную откровенность могли потом рассчитывать, чтобы получить описание ощущений подопытного максимально доверительно? Да, теперь Бабцев понимал, что снобизм и низменные страсти сыграли с ним плохую шутку тогда. Он пролетел мимо очень важных вещей, которые буквально сами шли к нему в руки, так что вполне заслуженной ощущалась заочная выволочка, устроенная ему теми, кого никак было не назвать иначе, нежели поганым, непривычным Бабцеву и вообще ненавистным ему еще со времен советской юности словом «начальство».

Стало страшновато. Эти не шутят. Снова вспомнились жутенькие судьбы мимоходом привербованной и утратившей то ли ценность, то ли доверие руководства шушеры, которую с такой легкостью ликвидировали сами же вербовщики у всяких там Ле Карре. Бабцев с изумлением понял, что привычной, дамочловым мечом всю жизнь над ним провисевшей в фоновом режиме кровавой гэбни, о безжалостности и зверствах которой так славно, так мужественно говорить и писать, он никогда не боялся настолько, насколько сейчас — начальства.

Но все еще казалось поправимым.

Пока не грянула жуткая, совершенно дикая весть: Журанков исчез.

Сначала Бабцев думал, это какое-то недоразумение. Найдется. Пройдет день, другой — найдется, не может же в наше время человек вот так взять и раствориться, точно облако. Бабцев был уверен: все благополучнейшим образом разъяснится вот-вот, не сейчас, так через час, ведь не тайга же, не тундра, не Антарктида — срединная Россия, до Москвы ночь в поезде! Когда двое суток спустя в ответ на пятое его, что ли, письмо, подбадривающее и обнадеживающее, призывающее не паниковать и смотреть на все сквозь пальцы, чтобы нервы не тратить на пустяшные нелепицы обыденной жизни, Вовка скупно написал, что отца по-прежнему ищут и по-прежнему не могут найти, Бабцев испытал шок. Не сразу он догадался подумать, какой шок, наверное, испытывают те, кто ждет изменения ситуации каждый час; те, кто в безумном нетерпении мечется из угла в угол по тем же комнатам, где еще недавно ходил веселый новобрачный Журанков, а теперь его нет... И снова нет... И к вечеру нет... И утром никаких новостей...

К чести Бабцева надо сказать — мысль о том, что с исчезновением Журанкова он потерял незаменимый источник информации о Полудне, ударила его далеко не сразу. Впрочем, возможно, лишь потому, что он долго не верил, будто Журанков вот взял да и пропал с концами. Ведь такое случается лишь в новостях, но не с теми, кого знаешь лично.

Но когда ударила — это было как поленом.

Именно сейчас! Когда Бабцев и так не оправдал надежд!

Коротко пометавшись в панической растерянно-

сти, он начал интересоваться делом всерьез. Часами просиживал в сети, звонил и писал знакомым журналистам, задействовал все контакты. Конечно, какое-то там исчезновение в провинции заштатного научного работника серьезного внимания не привлекло; в сущности, вовсе никакого не привлекло. Был человек, и нет человека. Кому он нужен, этот Васька? Но расследование потихоньку шло, тянулось; скоро Бабцев знал о нем все. Однако, поскольку оно топталось на нуле, Бабцев, о расследовании зная все, о самом Журанкове не узнал ничего.

Приходилось подсуетиться самому.

Суетиться заставляло и еще одно: если Бабцев сможет реально помочь в поисках Журанкова, это навсегда зачтется ему в Вовкиных глазах. В Вовкиной душе. Уж настолько-то Бабцев разбирался в людях — тот, кто в такую минуту всерьез поднапряжется ради его отца, а тем более добьется успеха, навсегда станет серьезному положительному молодому мужчине, который в течение десяти лет был Бабцеву почти сыном, действительно родным.

Это дорогого стоило. Ради одного этого стоило попотеть.

Он решил для начала потолковать с человеком, которого во всех материалах именовали последним, кто общался с Журанковым. Это поначалу казалось хорошей идеей. До сих пор Ласкин не попадал в поле зрения Бабцева; теперь, перед тем, как просить о встрече, Бабцев нашел в сети и прочел несколько последних его работ. И только вздохнул. Одаренный мальчик, что говорить. Крепкий слог. Безукоризненная логическая цепочка. А ведь совсем еще молодой... Такого бы сына. Сына-единомышленника, сына-про-

должателя... Бабцев руку бы отдал ради того, чтобы эти статьи — пусть еще по-молодому прямолинейные, без нужды задиристые и ершистые, но с лихвой наполненные главным: страстью к свободе, к самостоянию — писал бы Вовка. Бабцев помогал бы ему, советовал, подправлял тактично и бережно; вместе бы сидели над текстами, вместе давили неподатливую реальность к свету... Жаль. Хоть вешайся — а ничего не поправишь, жаль. Но не вешаться же, в самом деле. Хорошо уже и то, что идти на контакт придется не с чужаком, а с единомышленником. Пусть и не с сыном... Хотя по разнице возрастов — почти с сыном, чуть ли не полтора десятка лет зазора... Ласкину наверняка должно оказаться лестным внимание старшего коллеги, и лестной вдвойне — возможность ему помочь. Если он чего-то не вспомнил в разговоре со следователями или о чем-то умолчал — может, расскажет ему, Бабцеву?

Надежда не оправдалась. Юнец не очень-то понравился Бабцеву: единомышленник, да, возможно, но совершенно чужой. Самоуверенный, хлыщеватый юнец, явно мнящий себя акулой пера и кашалотом политики, но не нюхавший ни пороха, ни гноя, ни к боевикам не ползавший по чеченской зеленке, нешутейно рискуя жизнью, ни в Страсбурге не срывавший сочувственных аплодисментов. Грустно. И ничегошеньки он не знал, и ничем не мог помочь. Встреча с ним — зряшное унижение. Пустышка. Надо было срочно придумывать что-то иное.

Легко сказать.

Фомичев?

Но даже если тот положительно отреагировал на облучение и что-то такое видел, он, не зная и не пони-

мая, что это реально было, все равно не сможет ни описать этого толком, ни, конечно же, объяснить и истолковать. Связаться с ним будет трудно, общаться — тягостно, рядом опять окажется Катерина (поразительно, как эта женщина все время перекрывала пути!); а полезный выход — более чем под вопросом. Нет, Фомичев — дело девятое.

Оставалось рвать на себе волосы...

Но оказалось, это еще были цветочки.

Через три дня после встречи с Ласкиным Бабцев позвонил один знакомый звукооператор с «Эха». Нельзя сказать, что они корешковали всерьез, но несколько раз пересекались, когда Бабцев там у них выступал; пару раз вместе выпивали, делить им было в силу разницы профессий совершенно нечего, и, в общем, они относились друг к другу с симпатией. Звонок был совершенно неожиданным, и Бабцев поначалу решил было, что у того что-то случилось и нужна помощь. Оказалось, все наоборот. «На тебя наезд, — сообщил тот. — Разберись, ты нигде не подставился?» — «Патриотам опять нейдет?» — предположил Бабцев с таким пренебрежением, будто речь шла о надоевших блохах. «Смешнее, — ответил приятель — Ты не видел еще? Надо же, все как по нотам. Друзья сразу воды в рот набрали. Еще вчера вышло. Загляни на сайт...» Он назвал; сайт был серьезный, уважаемый. Этого только не хватало, подумал, напрягаясь, Бабцев. У него уже нервов не хватало отбрыкиваться от неприятностей, поваливших безалаберной гурьбой. «А что стряслось-то?» — спросил он. «Да все как всегда, — философски отозвался приятель. — Революция пожирает своих детей...» «Даже контрреволюция?» — натянуто пошутил Бабцев. «А знаешь,

контрреволюция — она все равно революция». «Но ведь детей пожирает только та революция, которая победила». «Думаю, без разницы. И вообще — кто сказал, что мы проиграли? Где-то победили, где-то проиграли... Фишка в том, что нам одинаково хреново и в поражении, и в победе. Как тому танцору...» Еще держа трубку возле уха, Бабцев свободной рукой защелкал мышкой. Поблагодарил за сигнал, торопливо распрощался...

Вот уж от кого он не думал получить по полной программе, так это от юного Ласкина.

Виртуоз.

Главное, совершенно непонятно — зачем ему это понадобилось? Бред какой-то...

Суть плотной, наваристой статьи была в следующем. Как и все так называемые бюджетные работники в этой стране, спецслужбы способны только попусту прожирать казну и наваренные правдами и неправдами левые бабосы. Их квалификация такова, что и последний домушник дал бы им сто очков форы; домушник хоть влезает в чужую квартиру тихо, без спецсигналов и помпы. Вот и теперь они в миллионный раз опростоволосились. У них под носом исчез крупный ракетчик, физик, в последние годы занимавшийся в частной корпорации вопросами, связанными, насколько можно судить, с попыткой России хоть как-то ответить на американскую программу СпэйсШип — как известно, первые частные космолеты многоразового использования уже готовы регулярно, как прогулочные кораблики на курортах, возить космических туристов в заатмосферную высь. Ученый пропал, найти его спецслужбы не могут или по каким-то своим соображе-

ниям не хотят, но, как всегда, ищут врагов среди настроенной оппозиционно режиму интеллигенции. Самому Ласкину в течение нескольких дней пришлось выдерживать многочасовые допросы, во время которых в разных видах варьировалась одна и та же тема: не знает ли журналист, случайно сведенный судьбой с ученым на одной радиодискуссии, куда этот ученый делся? Читай — не причастен ли журналист к его исчезновению? Это было возмутительно и провокационно. Но это бы еще ладно, не впервой. Самым неожиданным оказалось то, что по возвращении журналиста в Москву те же самые вопросы он услышал от коллеги по перу, известного и маститого Валентина Бабцева. Могло показаться, что имеет место не встреча с собратом, а продолжение допроса, только уже не в провинциальном управлении внутренних дел, а чуть ли не на Лубянке. Казалось, топорно сработавшие костоломы из органов, убедившись в своей беспомощности, попросили о подмоге того, с кем порядочный человек по определению всегда более откровенен. К счастью, все быстро разъяснилось: пропавшего ученого и известного журналиста правых убеждений соединяют дружеские и семейные связи — что обоих характеризует с самой лучшей стороны; как и принято в цивилизованном обществе, различия в политических взглядах не являются ни малейшим препятствием для добрых отношений. Естественное человеческое беспокойство тут вполне понятно и достойно всяческого уважения. Но силовым структурам пора бы уже прекратить пытаться объяснять собственные промахи и собственную некомпетентность кознями оппозиционеров. Помимо всем по-

нятных негативных для страны последствий это худо еще и тем, что наглядней некуда показал данный случай: их безграмотная и наглая активность крайне вредит моральному климату в стране, заставляя чуть ли не шарахаться от собственной тени и подозревать ближних во всех смертных грехах. Она провоцирует раскол и вражду, и даже в самых благородных человеческих порывах самых лучших людей заставляет видеть интригу и сыск.

В общем, работка была, аляповатая, на четверочку. Броская торопливая поделка. Но в сложившихся обстоятельствах она вогнала Бабцева в холодный смертный пот, она подобна была выстрелу если и не в висок, то в спину. Едва прикрытый словесной шелухой намек, будто он, Бабцев, чуть ли не двадцать лет верой и правдой борющийся за демократию пером и всей жизнью своей, на самом-то деле докатился до того, что в кругу коллег выполняет по указке спецслужб роль дознавателя и провокатора, был высказан так тонко, что любая попытка привлечь автора статьи за диффамацию и нанесение ущерба чести и достоинству была бы воспринята как жалкий идиотизм, а то и как «на воре шапка горит». Репутацию же Бабцева этот намек вполне способен был опустить, и надолго. Такие подозрения быстро не рассасываются. Но это все полбеды — беда была в том, что раньше или позже статья обязательно попадет на глаза начальству в светлом городе на холме и, конечно, будет тщательно проанализирована; а в сумме с последними неудачами Бабцева, с его грубыми ляпами и необъяснимой пассивностью в момент, когда по горячим следам следовало разобраться в природе загадочных фокусов Журанкова, высказанные Ласкиным намеки

из голословных домыслов превратятся в самые подходящие объяснения.

Было страшно. Было просто страшно.

Если от выработанного агента уже нет пользы, если он, вдобавок, окажется прямо заподозрен в двойной игре, то пусть уж тогда смертью своей еще разок послужит торжеству великих идеалов. Хоть какой-то от него толк под занавес, раз все равно пора прятать концы...

И окончательно выживший из ума Ковалев, на которого Бабцев когда-то смотрел, как на небожителя, с вечной своей заоблачной улыбкой ехидно поведает снова: «Я, конечно, не утверждаю, что приказ убить известного оппозиционного журналиста Бабцева отдали лично господин Медведев или господин Путин, но весь уклад нынешней жизни в России, вся деятельность преступной власти дает негласный, но явный и однозначный сигнал любому негодяю, у которого чешутся кулаки: убивать честных людей можно...»

И Алексеева, старчески вздрагивая и ощупывая губами каждое слово, снова спросит: «Почему жертвами насилия в России становятся только оппоненты власти?»

Да боже ж мой, думал Бабцев, содрогаясь от стыдного, но непреодолимого холода, это ведь вправду окажется МОЯ смерть!

Срочно надо было ломать ситуацию.

Пес с ним, с шелудивым щенком Ласкиным; не до него. С ним можно будет разобраться как-то потом; а можно, в конце концов, и не разбираться. И так понятно — у борцов за свободу растет достойная смена... Уже окончательно свободная. Сволочь мелкая.

Ничего, жизнь сама скрючит. За нас нашим детям отомстят их дети. Затевать борьбу с ничтожеством из-за пустяков было бы смехотворно, недостойно. Не в эти игрушки пошла игра.

Вовка...

Тот, кого Бабцев вопреки всему так мечтал сделать вроде сына.

Тот, кого Бабцев запретил себе даже спрашивать: как, мол, у папы его научные дела. Наши взрослые разборки — это одно, а ребенок — совсем иное. Я же его, подумал Бабцев в отчаянии, в зоопарк водил! Держа за руку, стоял вместе с ним у клеток с тиграми и чувствовал, как его маленькие пальцы в моих подрагивают от страха и восторга... Я уговаривал его поставить градусник, я разводил ему шипучий аспирин и уговаривал выпить, когда он температурил и сопливился («Да не противно, чижик! Совсем не противно! Морская водичка — и то солонее, а ты сколько ее летом глотал...»). Я ругал его за тройки и хвалил за пятерки! Я водил его по Риму, показывал колонну Траяна, фонтан Треви, арку Септимия Севера, я вел его и его маму по Виа дель Корзо к Пантеону и рассказывал про похороненных там художников и королей, и объяснял, что в правильном мире художниками дорожат, как королями, и у мальчишки пылали глаза, ведь он знал, что я тоже художник, и восхищался...

Единственная нить теперь связывала Бабцева с объектом.

Какая страшная штука — жизнь. Какая грязная.

«Дорогой Вовка! — начал он. Пальцы спотыкались на клавиатуре, как обдолбанные. В судорожно сжавшихся потрохах будто засел кто-то маленький и визг-

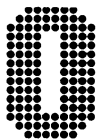
ливо кричал: нельзя, нельзя! — Я все знаю о постигшей вас страшной беде. Но не надо терять надежды. Бывают случаи, когда люди находятся и через полгода, и больше. Я сам о таких писал. А еще я хочу, чтобы ты знал: ты всегда можешь на меня рассчитывать. Да, мы не отец и сын, но для меня ты давно уже стал сыном. Мы никогда не разговаривали об этом, я никогда тебе этого не говорил, но теперь, наверное, самое время. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, как на отца. Если ты позволишь, я хотел бы быть сейчас с тобой рядом. Я могу приехать сейчас или позже. Как ты скажешь. Мне только кажется, что было бы лучше, если бы именно сейчас мы были вместе, и я мог бы в любой момент подставить плечо...»

Часть четвертая

Поколение, постигшее цель



1



стро угасал морозный январский день — голубой и мерцающий от снега, алый в дымном закатном мареве. Пластался пушистыми мягкими грудями, каждую веточку явственно вывесил в воздух, облепив невесомой белой пеной. Горел далеким вулканом, разливая лаву по взорванным облакам. Задорно дымил дыханием, обещая в домах тепло и уют, каких никогда не бывает летом. Скрипел и хрустел под каждым прохожим, точно те, от мала до велика, белозубо грызли сочные антоновки на ходу.

Была русская зима.

Был мир.

Был дом, где нет чужих; куда мама, правда, только наезжает, но папа, смешной и добрый, порой похожий на младшего брата, теперь всегда рядом.

• Он шел неторопливо и был счастлив.

Мама, заранее зная о его возвращении, на этот раз прикатила с небольшим даже упреждением, успела увидеть его в форме и все подшучивала: «Аника воин!»; она уехала только позавчера, и ему показалось, что она всплакнула перед тем, как подняться в автобус. Ничего, скоро Вовка и сам к ней сгоняет, и, в принципе, можно было бы у нее и пожить, если б не ее нынешний — Вовка еще не понял, нравится ему Фомичев или нет.

Не было пока работы, но и это не проблема. Вовка уже решил: он снова пойдет беречь этот мир и этот

дом, и маму с папой, и тех, кого они сейчас любят. И оттого счастье, ненадолго свесившееся в жизнь откуда-то оттуда, где его много, ощущалось еще острее; оно было похоже на алый пожар в щели между облаками и резало, как лезвием, почти до слез.

А тем временем он опять шел выступать.

На днях он уже отработал языком в той школе, которую сам закончил; понятно, что поначалу его пригласили именно помнившие его учителя. Странно, думал он, что учеба откололась от его житья уже так давно; стоило войти в свой класс, последние годы со всей их кутерьмой, опасностями и трудами мигом съезжились, усохли и оказались вроде кино, что вполглаза поглядел на днях, а реальностью опять стали эти стены. Даже стол сохранился, на котором он нахально делал, подражая Робинзону Крузо, аккуратные тайные зарубки — ими наглядно укорачивался последний школьный май, подтягивая все ближе начало выпускных. Зарубок не было видно, но, усевшись на свое тогдашнее место и пощупав изнанку столешницы, Вовка с удовольствием убедился, что его мелкое хулиганство в целостности-сохранности.

Никогда он не считал себя хорошим говоруном, но то ли тема была благодатной, то ли он еще и в ударе оказался — ребята слушали его с удовольствием, преподам понравилось донельзя, слух разнесся — и Вовку пригласили повторить перед старшеклассниками в другой школе. В ней тоже училось много из Полудня, но располагалась она уже на расплывчатой границе между тем районом-новоделом, что в последние годы по-модному принялись звучно именовать наукоградом, и старой сердцевиной городка, где похожие на старух на богомолье перекошенные, черные бревенчатые хибары стояли бок о бок с типовы-

ми хрущевками, размашисто заляпанными безобразно яркой рекламой, точно жертвы пейнтбола.

Вовка согласился. Чего бы не согласиться?

В июне прошлого года неутомимый борец с русской агрессией, пресловутый джорджийский вождь, даже имя-то чье приличному человеку произносить запахло, провернул новую блистательную акцию. Русская агрессивность все медлила отчего-то, возможно, из-за русской пьяной лени (эти два исконных русских порока вождь поминал в своих выступлениях примерно с одинаковой частотой), и ни телевизионные инсценировки вторжения с севера, ни чьи-то самолеты, время от времени пролетавшие над Грузией на большой высоте (рейсовые авиалайнеры, должно быть) и неизменно оказывавшиеся в местных новостях русскими стратегическими бомбардировщиками, ни эскапады грузинских коммунистов никак не могли вернуть прекрасной и гордой маленькой стране полноценный ореол беззащитной жертвы. А без этого и жизни нет. В чьих обкуренных черепушках задымился очередной план, прояснить так и не удалось, не дали. Но среди оставшихся на своей родной Украине почти без развлечений отмороженных западнцев из тех, что маму родную удавят, если это получится свалить на москалей, было отобрано (кем — вопрос) семеро. Натурально, с лицами безупречно славянской национальности. На вполне себе пристойном кораблике под румынским флагом их доставили в Батуми, где выдали военную форму российского образца. Ну смех на палке — по их легенде получалось, что они в этой самой форме со всем своим снаряжением от границы с Осетией по Грузии так и протопали, что ли? В штатское не догадались переодеться, светились звездочками? В общем, это долж-

на была оказаться диверсионная группа, которую ополоумевший от ненависти к Грузии и ее высочайшей древней культуре Кремль, желая лишить исполненный европейских ценностей народ его исторической памяти, послал, ни много ни мало, взорвать храм Светицховели.

Настоящую святыню. Без балды. Настоящей взрывчаткой.

А вот чего западенцы не знали: на самом деле бдительные спецслужбы Грузии должны были в последний момент предотвратить акт чудовищного вандализма и чуть ли не на глазах, получается, у всего населения благословенной тихой Мцхеты перебить врагов, чтобы официальное следствие получило к расследованию уже только трупы со славянскими лицами и в российской форме; взрыв же предполагалось устроить лишь частичный. Мол, хоть минирование еще не завершилось, один из подыхающих северных варваров в бессильной злобе все же крутанул ручку; к закланию, чтобы показать серьезность намерений исконного врага, были предназначены якобы только ворота Мелхиседека. Хотя... Всякое могло случиться. Гексогена там обнаружилось навалом.

Как собирались вдохновители и организаторы этого безумия потом разбираться с украинскими националистами, отрядившими им в помощь своих братьев по борьбе, — осталось не очень понятно. Один из чиновников потом неофициально обмолвился, что планировалось узкому кругу реально вовлеченных врать, будто диверсантов обнаружили и, пылая праведным гневом, обезвредили до смерти сами бдительные жители Мцхеты, а с них, с патриотов-то, какой спрос, неувязочка вышла, вы уж простите, товарищи бандеровцы; а, мол, широким массам, чтобы не ро-

нять престиж спецслужб, мы будем говорить, будто враг был уничтожен нашими доблестными чекистами. Словом, похоже, план был такой: куда кривая вывезет.

Во всяком случае, действительно только так получилось предъявить мировой общественности и настоящие повреждения храма, и настоящие трупы врагов в российской форме — которые, что при данных обстоятельствах особенно ценно, никогда уже не скажут лишнего.

Но то оказался не очень, увы, частый случай, когда разведка доложила точно. Об отбытии борцов за незалежность Джорджии в штабе округа узнали через полчаса после того, как их кораблик отвалил от причала. Оперативно прошерстили несколько своих частей, нашли — долг платежом красен! — семерых крепких, вполне подготовленных ребят с лицами кавказской национальности и с натурально грузинскими фамилиями, позвали в штаб и честно поведали, что творится. Те сначала просто поверить не могли, потом, поглядев фотокопии документов, один протянул печально и как-то даже безнадежно: «Ну, Миша...» Другой с разрешения начальника разведки задумчиво закурил, затянулся пару раз и в сердцах спросил: «Ну пачему его не убьет никто, а?» «А тех, кто выражает чаяния нации и ведет ее к светлому будущему, никогда не убивают», — уронил в ответ присутствовавший тут же батюшка. Картвельские однополчане сначала растерянно оглянулись на него — решили было, что он всерьез; а потом, поняв, захохотали, как чистокровные русаки — сквозь слезы.

В общем, по согласованию с Москвой залегендировали их так. Двое русских солдатиков, не выдержав зверских издевательств со стороны начальства,

попросили в Грузии политического убежища, и вот теперь группа грузинских военных их препровождает аккуратно через Мцхету в распоряжение столичных специалистов. В качестве перебежчиков выступали Вовка и старший группы, взрывотехник из спецназа: коричневый пояс, однозначно белобрысый, нос картошкой, родом из Перми. Тут главная сложность была в том, чтобы оказаться при храме минута в минуту с противником; ждать, попивая настоящее «ахашени», скажем, в кустах над Курой было бы крайне нежелательно и чревато, а опоздать — лучше б и с места не трогаться.

Ну а стремительно просочиться обратно, волочато на горбу, то на позаимствованном на часок-полтора местном транспортном средстве обездвиженных западенцев было делом даже не столько техники, сколько терпения и упрямства.

Очухавшихся и совершенно очумевших диверсантов вкупе со всей как оперативно добытой, так и трофейной документацией, равно и вещдоками, незамедлительно предъявили на пресс-конференции. Когда пленные оценили секретные директивы тбилисских стратегов, касавшиеся будущего их персон, красноречию их не было конца. Западные правдоискатели страшно стеснялись и не знали, как два слова связать; неудивительно, что потом и материалы их, посвященные произошедшему, страдали редкостным и поразительным по нынешним временам застенчивым немногословием. Впрочем, буквально через сутки, точно по команде, во всех основных западных изданиях они и вовсе сменились куда более важными сенсациями — Наоми Кэмбелл плюнула соевым соусом в официанта, Медведев вот-вот окончательно поссорится с Путиным, Ирина Боннэр призывает не

забывать о страшной судьбе Литвиненко, рост производства героина в Афганистане титаническими усилиями войск НАТО удалось несколько замедлить, а русские, снова поправшие права человека, запретили гей-парад в Магадане.

Пленных передали украинской стороне, ибо по российским законам они, собственно, ни в чем не были виноваты и судить их могли разве что сами грузины за попытку нанести чудовищный, непоправимый ущерб культурному наследию страны — да и, собственно говоря, всего человечества; шутки шутками, а храм-то занесен ЮНЕСКО в перечень объектов Всемирного наследия. А через неделю эти ребята вдруг обнаружили в Таллинне, в полном фокусе международного внимания; до предела взбудоражив невесть откуда набежавшие толпы корреспондентов, они долго и упоенно рассказывали, как их мучили на Лубянке. К бабке не ходи — и без того понятно, какая чехарда началась дальше. Российские милитаристы на территории суверенного государства захватили группу мирных туристов с Украины и шантажом, подкупом и пытками выколотили из них ложные признания во всех смертных грехах. Если нынешнее украинское правительство стерпит такое отношение к своим гражданам, это окончательно докажет, что оно — всего лишь марионетка Кремля... И так далее. Месяца полтора бесновались.

Хорошо хоть, что Светицховели, Столп Животворящий, устоял.

Самым большим потрясением для Вовки оказалось отнюдь не первое в жизни полноценное участие в серьезной, рискованной, к тому же с точки зрения формальной политкорректности и впрямь неоднозначной спецоперации — работа она и есть работа,

для того и учили. И, разумеется, не реакция цивилизованного сообщества — прошли те времена, когда мы столбенели от недоумения, руками разводили и растерянно успокаивали себя: нас просто недопоняли, надо еще разок объяснить как следует; это уж теперь выросла толстая и шершавая, как доска, мозоль на нервном узле, ответственном за переживания об импортной справедливости.

Более всего потрясла Вовку красота тех мест.

Юг, конечно; у нас, у березовых равнинных северян, к нему исстари слабость — но не только...

Покой, величие и мягкое тепло. Вот что вызывало немедленное блаженство в долине древней неторопливой Мтквари. Огромность. Но не подавляющая, не ледяная, как, наверное, в Тибете каком-нибудь, если по картинам Рериха судить; не вышибающая дыхание, а, наоборот, дающая полной грудью вдохнуть сладкий воздух после трудов незамысловатых и праведных, и вытереть пот со лба — словно бы прямо на глазах у одобрительно улыбающегося сверху Отца небесного.

Наверное, во всех странах, на всех широтах и во все времена люди, иногда слишком уж лоб в лоб сталкиваясь с тем, в какой свинарник и гадюшник они превратили совместную жизнь, переполнившись отращиванием к себе и порой даже настоящим, жаль, что не долгим, раскаянием, вдруг снова замечают окружающий мир и устало ахают: да что ж мы делаем? да в таком мире жить бы да радоваться...

Но вот на мосту через атласную, вечерним персиковым свечением светящуюся Куру, лицом к Джвари, филигранно отгравированному по закатному пепельно-розовому небу, по правую руку вокзал и тоннель, уходящий в мохнатую гору и стук каждого

поезда утягивающий в глубину вместе с собою, по левую — Мцхета с ее бесчисленными храмами и по-деревенски уютными улочками, а прямо перед носом небольшой островок, похожий то ли на смешного лохматого щенка, улегшегося носом навстречу течению, то ли на старинный утюг с замшелой ручкой, то ли на башмак, у которого дыбом встали шнурки, то ли на ладью, так давно здесь причалившую, что успела соснами порастить... Нет, не описать этих красот, Вовка и не пытался. Просто он чувствовал: здесь, на этом вот мосту, передохнуть от раздражения друг другом, от ненависти было бы, наверное, лучше всего...

Все то время, что позволил временной люфт, почти целых полчаса, Вовка простоял на том мосту, любясь.

Один-одинешенек.

Встреча со школой всегда производит на того, кто уже отмучился, неизгладимое впечатление. Типа синдром «Здравствуй, Родина». Со взрослой степенностью войдя, Вовка получил головой в живот от какого-то опрометью бегущего мелкого, потом едва успел увернуться от троих с гоготом несшихся совершенно невменяемых лосей постарше... Где-то визжали. Нормальный сумасшедший дом, родное отделение для буйных. В классе на стеклах окон белыми пятернями, как у заглядывающих с улицы привидений, пластались вырезанные из бумаги новогодние снежинки. Разноцветные блестящие гирлянды провисали между лампами устало, словно измученные прошедшим буйством. Праздник зажигал совсем недавно, только на прошлой неделе каникулы кончились, и, наверное, тут еще не вошли в рабочий ритм. Сколько Вовка помнил себя, первые дни после любых каникул всегда самые тяжкие; сидишь, и не оставляет чувство,

что воляна эта — ненадолго, и вот-вот, чуть ли не послезавтра, снова на волю, и эти два дня ну никак не перемочься... Потом втягиваешься; понемножку снова оказывается, что и между каникулами жить можно, но переход — он сродни переходу от здоровья к болезни; именно в тот день, когда вдруг обнаруживаешь, скажем, что температура подскочила и надо снова торчать дома, валяться, хлебать шипучий аспирин, жрать арбидол и терафлю всякое, накатывает дикая тоска, и все кажется конченным навеки. А наутро уже по кайфу, заглотил таблетку, врубил стрелялку... В общем, надо полагать, у них тут еще тянулись те самые дни перехода — но не разбежались мелкие, молодцы. Остались послушать. Хотя какие они мелкие, полгода учиться осталось и — вперед с песнями...

Учительница представила Вовку; Вовка, солидно улыбаясь, уселся за учительский стол. Тогда и детки шумно и несколько вразнобой повалились на свои места, напоследок перебрасываясь репликами и ухмылками. Вовка, покуда не объявили его соло, разглядывал их с несколько ироничной снисходительностью — и в какой-то момент увидел вдали, на самой камчатке, в узком просвете между теми, кто сидел ближе, смутно знакомое лицо.

Смутно-то смутно, но сердце сразу споткнулось, словно зацепившись за торчащий из земли корень.

А потом, чтобы удержать равновесие, грузно затоптало вперед, стараясь утнаться за падающим телом и не дать ему приложиться об корягу лбом.

Бросило в жар. Да нет, не может быть, сказал себе Вовка. Но это уже был разговор в пользу бедных. Споткнувшееся сердце всегда знает лучше, чем мыслящая голова.

Он медленно взял стакан воды, заботливо преду-

смотренный сухонькой невзрачной классной, и сделал вдумчивый глоток. Потом второй. Прохладная влага на салазках прокатила вниз по горлу.

— Душно тут у вас, — сказал он.

— А потеть полезно, — немедленно отозвался разбитной юнец с третьего стола. Косынка на шее, в ухе маленькая шкодливая железячка, в глазах море уверенного в себе интеллекта. Поза — Абрамович на своей яхте и тот так развалиться фиг сумеет.

— Потеть полезно на работе, — огрызнулся Вовка, ставя стакан.

Прокатился неуверенный множественный смешок.

— Думаете, мы тут отдыхаем? — тяжело вздохнул сипловатый девичий голос из глубины.

Вовка улыбнулся. Взял себя в руки.

— Да вы-то, конечно, работаете, — сказал он. — Это я отдыхаю. Вот мне и не полезно.

Смех стал уже общим и вполне дружелюбным. Даже она, кажется, улыбнулась. Она уже поняла, что он ее узнал. Он уже понял, что она его узнала. Они уже смотрели друг другу в глаза.

Он с усилием откатил взгляд на бессильно провисшую и оттого горькую, как похмелье, гирлянду. Виси не виси, праздник кончился. Он кашлянул, открыл рот и принялся говорить. И через пару минут отчетливо почувствовал: будто заслонку близкой печки кто-то закрыл. Она отвернулась. Темный горячий луч перестал жарить его лицо и отрешенно уплыл туда, где сгущались ранние, в узоре зажигающихся окон, январские сумерки.

Фразы запрыгали свободней, легче. И, в общем, он нашел волну и рассказывал не хуже, чем в прошлый раз, и детки в нужных местах охали, в нужных

местах хихикали, в ключевых местах, тычьась головами друг к другу, оживленно обменивались своим «бу-бу-бу»...

Но сегодня он ни разу не смог сказать «я». В прошлый раз, не задумываясь, он честно и без стеснения расписывал, кто чем отличился, в том числе и чем отличился он сам, а вот теперь — зажался. Ведь, начни он говорить о себе, получится хвастовство. Получится, он хвост распускает перед девчонкой.

И школьники почувствовали недоговоренность; это показал первый же вопрос, который Вовке задали, когда он отговорил свое, и классная, смирно сидевшая за первым столом центрального ряда, встала, от лица учеников поблагодарила его за интересный и познавательный рассказ, повернулась к Вовке спиной и предложила спрашивать.

Она больше не посмотрела на него ни разу. Наверное, следила, как одно за другим возникают в темноте разноцветные окна напротив, и гадала, какой у кого уют.

— А вы сами-то чего делали? — спросил развалившийся уже совершенно немислимим образом, будто наизнанку желая вывернуться, пацан с косынкой на шее.

— Потел, — коротко ответил Вовка.

Класс от души захохотал.

— А правильно потеть в десантуре учат? — вылетел из глубины класса чей-то вопрос, Вовка не успел увидеть, чей. Материалисты хреновы. Сейчас, подумал он, кто-нибудь остроумно спросит, разрешено ли во время тайных операций справлять нужду, или это нельзя по соображениям скрытности. У него не засохло бы ответить доброй, как в казарме, шуточкой — но не при ней же!

— А что-нибудь поближе к голове вас интересует? — вопросом на вопрос ответил он.

— Да! — крикнула полная девочка в широкой мужской рубашке, без тени косметики на скуластом лице. — Вам убить их хотелось?

Класс замер. Стало слышно, как снаружи трясутся на асфальтовых ухабах машины и автобусы. У классной приоткрылся рот; может быть, она собиралась что-то сказать, чтобы ввести дискуссию в более спокойное русло, а может, малость ошалела.

— Девонька, — спокойно проговорил Вовка, — пожалуйста, пойми. ЖЕЛАНИЕ убить испытывают только сумасшедшие.

— Но они же полные уроды и враги!

Вовка помедлил.

— Да, я погорячился, — признал он. — Красивую фразу сказал. В целом правильную, но... Иногда желание убить приходит, когда на тебя нападает превосходящий враг. Если ты один, а их десять, надо сразу как можно больше их вырубить так, чтобы они в контакте уже не участвовали. Лучше всего тогда просто убивать. В этот момент с перепугу и от желания обязательно победить, наверное, может именно ЗАХОТЕТЬСЯ убить. Поэтому вот что: нормальный человек убивает только от безвыходности. От беспомощности.

— А тогда что же, те, кто, например, шмаляет из пушек по спящим домам, или расстреливает пассажирские автобусы с вертолетов, или на улицах чурок режет — все ненормальные?

— Да, — твердо ответил Вовка.

— А какая у них болезнь?

— Мания преследования, — с маху отрубил Вовка. — Эти люди до смерти перепуганы, что жизнь их

не слушается. Что история идет не так, как по их представлениям должна. Им тогда кажется, что целый мир на них ополчился. А нормальный человек не забывает, что история всегда умнее его. Просто у нее нет любимчиков.

— Но тогда получается, что в ответ надо не стрелять в них, а заботливо вязать и лечить, что ли?

— Смешно, ага. Но по идее так и есть...

Занудил, почувствовал он. Начал мораль читать. Негоже.

И закончил с улыбкой:

— Только, к сожалению, это не лечится.

Опять в классе засмеялись, но парень с косынкой рвался самоутверждаться:

— Что-то многовато получается ненормальных. Вы что же, один нормальный?

Вовка глубоко втянул воздух ноздрями. Она смотрела в окно. В щель между плечами и головами он видел лишь часть жестко вьющейся черной гривы.

— А тебе хочется кого-то убить? — спросил он.

Но парня несло.

— Легко, — безмятежно сообщил он.

Классная обеспокоенно ворохнулась, но Вовка лишь картинно поднял брови.

— Вот сейчас? Хочется? Слушай, а если не секрет — кого?

Парень неловко оглянулся и, ощутив проклянувшееся неодобрение одноклассников, все же ступенчатся и отработал назад.

— Ну, сейчас... нет.

— Вот видишь, — сказал Вовка. — Значит, нас уже двое.

Опять смех.

— А зачем это вообще надо было? — спросил паренек в сильных очках.

— Что? — спросил Вовка.

— Возиться с ними. Лезть туда.

— Сложно в двух словах, — ответил Вовка. — Но, знаешь, могло получиться так, что... То, что должно существовать вечно и светить всем всегда, оказалось бы разрушенным по глупости и подлости. Никак нельзя такого допускать.

— Но они ж вам даже спасибо не сказали! Наоборот, изгадили вас, как...

Он замылся и не договорил, вспомнив, наверное, о какой-никакой официальной обстановки; но было вполне понятно, что он имел в виду.

— Слушай, ты что, за «спасибо» живешь? — спросил Вовка.

И тут у неустанно горящей вдали печки вновь откинули заслонку, в лицо дунуло близким огнем. Она взглянула.

— А вы их на себе несли? — спросила она.

В ее голосе Вовке отчетливо послышалось «тоже». «Их вы тоже на себе несли?» — вот что значил ее вопрос. А-а, мол, так это у вас мания такая...

— Иногда, — сразу осипнув, тупо ответил он.

Дальше все шло на автопилоте; он не мог вспомнить потом, какими еще вопросами его потрошили и какую пургу он гнал в ответ. Хотелось только одного: удрать поскорее. Он воспользовался первой же паузой. Ничего она, на самом деле, не значила, случайно все ребята задумались одновременно, и только; после таких пауз в той школе его начинали бомбить еще активней. Но он торопливо поднялся, поблагодарил...

Он не успел удрать; задержала учительница. Кажется, она что-то спросила. И, не дослушав ответа,

сама принялась рассказывать о том, какие нынче дети... Шустро собирая вещички, торопливо прощаясь, разбегались школяры; судя по их веселому возбуждению, их зажгло. Кое-кто даже кидал скороговоркой «Спасибо, Владим Константинч...» — и только спины и хвосты причесок мелькали в дверях. Он терпеливо слушал пожилую даму, она сетовала на общее падение, но кого-то, наоборот, хвалила. Какого-то Жерздева (ах, какой программист растет), какую-то Кармаданову (то ли физик, то ли математик, но явно с будущим), какого-то Газиянца (невероятные стихи пишет!). Вовка уважительно терпел и краем глаза ловил: класс быстро пустеет, но она, самая отчего-то неторопливая, там, у дальнего окна, двигаясь медлительно и плавно, точно русалка среди водорослей, достала зеркальце, посмотрелась, поправила черные пышные волосы, убрала зеркальце, с непонятной тщательностью уложила в сумку пару вразброс лежавших на столе книг... Он скорее чувствовал, чем видел, что на ней тонкий свитер и короткая юбка, и черные колготки, и облегающие сапоги на высоком каблуке. Он старательно смотрел на учительницу, прямо в ее стосковавшийся по свежим слушателям маленький рот с неумолимо, как винт катера — пену, взбивавшими слова губами, а видел, что она все-таки начала всплывать оттуда, из глубины, что она приближается, и ставит ноги по ниточке, гарцует, танцует, идет к нему, и свитер обтягивает небольшую, но все равно уже бесстыдно женственную грудь (вот этой грудью, тогда еще плоской, детской, она так долго прижималась к его спине); искренне болеющая за детей учительница, всплескивая руками и призывая: «Вы только подумайте! Это в семнадцать лет!», начала восхищенно читать Газиянца: «Я виноват. Точно вулкан, что жжет,

крошит свою округу. И прав я, точно ураган, несущий парусники к югу. Стихии мира! Божий зов нам слышен в страшном вашем гуле. Единственно из всех стихов вы никого не обманули...» — а он чувствовал, как она, с каждым изящным неторопливым шагом делаясь все ближе, прожигает ему щеку взглядом. Она остановилась сбоку, совсем рядом, грудь едва не у его локтя (локоть свело ожиданием), и легкой, прозрачной волной прошел от нее свежий сладкий запах ей под стать — будто зацвело что-то вечнозеленое, средиземноморское; не глядя, не глядя на нее, он разглядел, что у нее очень гладкая, нежная, розовая кожа, в наших широтах редко встретишь такую, этого он не помнил о ней; впрочем, тогда был мороз, кто хочешь порозовеет, и меховая опушка капюшона, за которой не особенно-то чего разглядишь...

— Вот кстати, — прервалась наконец учительница. — Это та самая Кармаданова, о которой я вам говорила. Кармаданова, тебе что? У тебя вопрос?

— И вопрос тоже, — тихо поведала она. Голос был тот самый.

Тогда Вовка обернулся.

Ее темно-вишневые безо всякой помады губы, приоткрывшись, улыбнулись ему так, что у него опять сердце споткнулось о корень на бегу и повалилось плашмя.

— Здравствуйте, — просто сказала она. Точно они виделись вчера. Мгновение он лихорадочно пытался сообразить, ответить ли ей на ты или все-таки на вы. В итоге не ответил вообще.

— Теперь я знаю, как вас зовут, — поведала она.

— А как тебя зовут, я так и не знаю, — чуть хрипло ответил он.

— Сима, — сказала она и протянула ему руку.

Он пожал. У нее была длинная, тонкая, хрупкая кисть. Просто птичка.

Наверное, она до сих пор такая же легкая.

Такая, да не совсем. Грудь стала тяжелее.

Наверное, не только.

— Кармаданова; тебе, собственно, что? — почти ревниво спросила учительница. Вовка обернулся к ней.

— Вы не волнуйтесь, — умиротворяюще сказал он. — Просто мы знакомы. И очень давно не виделись.

— Ах, вот как. — Учительница поджала губы и сверху донизу проэкзаменовала Симу взглядом.

— Да, — сказала Сима, — в свое время Владимир Константинович на мне тренировался носить врагов. И видите, как натренировался.

Вовка растерянно обернулся к ней снова. Взгляды ударились один о другой.

— Ну... — сказала учительница и не нашлась, как продолжить. Она чувствовала, что ей тут уже не место, но уйти, конечно, не могла. Она же должна закрыть класс, в конце концов.

А они тонули в глазах друг у друга и молчали.

Он понял: срочно надо сказать что-нибудь разделяющее. Отстраняющее. Чтобы стало ясно: то, что сейчас — всего лишь случайный остаток того, что мелькнуло тогда. Недотаявшая лыжня. Прошлогодний снег.

— Как твоя нога? — спросил он. Точно добрый старый санитар, случайно повстречавший давнего больного.

— Она прекрасна, — ответила она и, легко подняв прямую, как у гимнастки, ногу, уложила ее каблуком на край стула: посмотри, мол, сам.

Вовка только соглотнул. Он не успел отпрыгнуть взглядом, а теперь стало поздно. Юбка не доходила и до середины бедра. Обтянувшая ногу сквозящая черная ткань лучилась женщиной так, словно была каблук сапога под дых. Когда каблук тукнул об стул, упругая плоть чуть дрогнула.

Того, как Сима покраснела, Вовка видеть не мог. Никто не мог. Щеки у нее и всегда атели, будто розовые лепестки; но у нее отчаянно покраснела шея. А у свитера был высокий воротник.

— Кармаданова, — укоризненно и несколько растерянно сказала учительница. — Я тебя не узнаю...

— А что? — невинно хлопнула длинными ресницами Сима. — Теперь уж я на Владимире Константиновиче потренируюсь. У меня впереди большая жизнь. Не знаешь ведь наперед, какое умение пригодится.

И отняла зрелище тем же безукоризненно пластичным движением — вверх, в сторону, вниз; стройная нога со спортивно вытянутым носком путешествовала в воздухе вызывая прямо, будто точеную выпуклость колена прилепили к ней лишь для красоты. На какой-то миг Вовке показалось, что Сима поднесет усладу прямо к его лицу; он едва не отдернулся. А потом взгляд, как приклеенный, потянулся вслед за округлостью бедра под юбку.

Но это было бы уже слишком, и Вовка, точно могучая муха после долгих усилий, сорвался с липучки.

И тут же попал обратно в ее глаза.

У него внутри словно все гайки затянули до отказа, еще чуть-чуть — и полетит резьба.

— Рад был тебя увидеть, Сима, — сказал он. — Молодец, учись и дальше так же хорошо, — и повернулся к учительнице. — Ну, спасибо. Я побегу уж...

— Огромная вам благодарность, Владимир Кон-

стантинович, — с облегчением вырубивая на пододбающую дорожку, ответила та. — По-моему, вы очень порадовали ребят...

— Да, это правда, — уже и впрямь немного бес тактно прервала учительницу Сима. Вовка и пожилая женщина снова обернулись к ней. — Братву расколбасило по полной. Я только еще хотела сказать... Владимир Константинович, я вам когда-то обещала дать почитать речь Достоевского, помните? Обещание остается в силе. Я вот, — у нее опять зажглась шея, и опять никто этого не смог увидеть, — вам на всякий случай написала, где я живу и как позвонить.

Только тут Вовка обратил внимание на то, что левый кулачок у нее был все время сжат. Теперь она его разжала и вложила ему в пальцы аккуратно сложенную, теплую и чуть влажную бумажку.

У учительницы расширились глаза.

Последнее, что успел сообразить Вовка, — нельзя подставлять девочку. Надо, чтобы все выглядело обыденно, в порядке вещей. А то положительная, переживающая за детей женщина с узкими губами может подумать о Симе плохо. Решит, что совсем потерявшая стыд фифа нагло клеит мужика, даже не выходя из класса, а мужик и рад; что прямо на учительских глазах зародилось и созревает непотребство. А она же просто прикалывается. Или, сама того не понимая, отыгрывается за давнее унижение, за детское неумение стоять на лыжах и долгое беспомощное видение у него на закорках; простодушно, как ребенок, мстит за то, что он ее когда-то вырубил.

— Спасибо, Сима, — сказал он как ни в чем не бывало. Положил бумажку в нагрудный карман. — Это ты правильно вспомнила. И Федорова...

Она обрадовалась, будто миллион выиграла. Прямо засветилась.

— Да-да, мы про воскрешение отцов тоже говорили. Неужели помните?

— Конечно, — сказал он. Он помнил каждое мгновение их пробега. И тут словно кто-то ему подсказал, что делать. Вовка не успел подумать, правильна подсказка или нет; отчего-то ему показалось, что такой финт уж точно успокоит учительницу, нелепо застрявшую на обочине их перекрестка пока еще немым, но уже явно закипающим укором «Остановка запрещена». — Ты мне напомни... Я ж только на днях приехал. Голова кругом, честно говоря...

— Конечно, — с готовностью сказала она.

— Телефон наш здешний запишешь?

Он выделил голосом слова «наш здешний». Мол, у наших семей добрые старые отношения, так что никаких съёмов.

Ручка и записная книжка возникли у нее в руках точно из воздуха.

С мимолетным, но роковым опозданием он сообразил, что диктовать надо было просто первые попавшиеся цифры, и проклял себя в очередной раз — чертов тугодум, пенек тормозной; совершенно автоматически он назвал ей настоящий номер. Учительница обижалась и демонстративно смотрела на часы.

На прощание Вовка рыцарски склонился и поцеловал ее сухую шершавую руку; классная едва не прослезилась. Уходящей Симе он лишь слегка помахал, а она, уже в дверях, лишь улыбнулась ему через плечо.

Потайное свечение нежной белой кожи сквозь тонкую ткань, застилая неказистую явь, так плотно маячило у него перед глазами, что на выходе из шко-

лы он, промахнувшись мимо ступеньки, едва не сверзился по лестнице.

Он буквально чувствовал ее. Спиной, как тогда. Тогда эта нога была как палка, как пруттик; но сейчас... Вот эти самые ноги, такие незабываемо сочные сейчас, она раздвинула шире некуда, садясь на него верхом. И было плавное нескончаемое колыхание и трение на каждом шагу — долго, очень долго. Несколько часов. Млечный Путь, а Млечный Путь, уведи куда-нибудь... Гайки внутри не развинчивались. Их тугое напряжение весь вечер не давало дышать.

Он так хотел эту девочку, что почти не спал в ту ночь. Лежал, понапрасну жмурясь, и каждую мышцу изводила судорога нескончаемого напряжения. Он ворочался, обнимал подушку, комкал ее, пихал и бил, а она все равно какими-то горбами давила ему щеку, плющила ухо, и он снова рывком переворачивался то на бок, то на спину.

Шутки ей. Дотащил — и хватит. Он ей ничем не обязан. Ума палата; воскрешение отцов, ага. Нашла себе дурака — это, мол, моя по жизни лошадь. То-то уж она отстебается по полной, думал он, если узнает, как меня проперло от ее ножки. Забылся он только под утро, а едва проснувшись, сам не свой от злости на себя, на расцветшую не для него фитюльку и на весь мир в придачу первым делом разорвал в клочки и спустил в унитаз ее записку. Не хватало еще и впрямь.

Бреясь, он голой спиной почувствовал взгляд отца. А может, просто услышал его дыхание. Не подал виду, и только подумал горько: а отец и не подозревает, какой сын у него хорек похотливый. Школьницу ему подавай. Спас ее, а теперь, мол, пусть отдает должок. Урод. Стыдно было — хоть червяком извивайся.

— Ну, как вчера выступил? — спросил отец.

— А чего? — спросил Вовка после короткой паузы. — Нормально.

— Слушали старшекласники-то?

— Весьма, — ответил он. Он знал, что о своем позоре никому и никогда не сможет рассказать. Да и зачем? Если мужик — эгоистичная сволочь, его никто не вылечит, даже добрый папа.

2

Яркий, гремящий, как фанфары, жизнеутверждающий закатный ливень давно сменился отчаянным ночным ливнем, под которым они с Наташей метались то к безлюдной остановке автобуса, то к милиции, то снова домой, чтобы в ожидании умирать у телефона (вдруг позвонят на домашний?), потом — проливным дождем, потом усталым, скучным дождем, идущим потому, что некому дать ему приказ остановиться; потом — беспросветным дождем, зарядившим, наверное, навечно, потом дождем морозящим... Сейчас он шел так, как иногда капает вода из крана, который давно закрыт. Как плачут, отрыдав. Уже безголосо, отрешенно, глядя перед собой слепыми глазами и не сознавая, что из них по-прежнему течет.

Мерное шуршание воды за окном было единственным звуком в мире. Вовка сидел, ссутулившись, перед кухонным столом и глядел на стоящую на столе бутылку водки, купленную на обратном пути из больницы. Он все не мог решиться. Он знал, что, если начнет, одной стопкой ограничиться не сможет. Не те времена пришли, чтобы, начав, ограничиваться. По-

этому он тупо сидел перед бутылкой и всматривался в нее так, словно хотел загипнотизировать.

На самом деле гипнотизировала она его.

Разухабистый, всегда готовый простить и оправдать любую гадость внутренний голос вот уже битый час твердил Вовке, что от бутылки водки еще никто не умирал. Что Вовка и так сделал все, что в силах человеческих, и вполне может себе позволить простым и мужественным анальгетиком хоть на время утишить растерянность и боль (чай, не ширево предлагаю?). Что, даже если позвонят, все запишет автоответчик... Но Вовке отчего-то казалось, что это не тот голос, который часто, особенно — под пулями, дает настолько верные советы, что порой натурально спасает жизнь; очень похожий, да вот... И то, что голос этот сейчас так настаивал, горячился, даже торопил, будто это не Вовке, а ему самому надо было срочно махнуть полтора ста, трубы, мол, горят, мужик, будь человеком — настораживало. Сцепив ладони, горбясь, Вовка сидел неподвижно и в дождливой тишине вымершей квартиры исподлобья бодался с бутылкой взглядом.

Когда в дверь позвонили, он даже не вздрогнул. Он уже не верил. Никто не мог бы теперь прийти вот так, будто последние трое суток, прицельным огнем выбившие из дома жизнь и смех, обыденные приходы и уходы кто-то вдруг взял и отменил.

Звонили настырно. Досчитаю до двадцати, вяло подумал Вовка, тогда открою. Он был уверен, что ни один нормальный человек не станет ни с того ни с сего звонить незвано в чужую дверь двадцать раз.

На двадцать третьем звонке он медленно и натужно, точно старик с просоленными насквозь суставами, поднялся и пошаркал к двери. Идиот снаружи

ритмично, спокойно сигналил, точно развлекался, и его вообще не интересовало, откроют ему или нет, есть кто-то живой за дверью или там безлюдье. Звонок, пауза, звонок, пауза... Стервец, наверное, даже на часы смотрел, отсчитывал равное количество секунд. А может, у него просто чувство времени такое. Хронометр в печенке. Спущу с лестницы, на пробу подумал Вовка и не ощутил никакого азарта. Не спущу, понял он.

Он открыл дверь молча. На лестничной площадке напряженно стояла Сима.

— Я так и чувствовала, что ты дома, — сказала она. — Здравствуй.

С ее куртки помаленьку еще лилось, и на лестничной площадке темным кольцом вился вокруг нее причудливый узор водяных клякс. На выбившихся из-под капюшона жестких черных прядях искрились капли. И нос влажно блестел. Обеими руками она держала раздутую, тяжелую сумку.

Некоторое время он отчужденно смотрел на нее, будто не узнавая, и собирался с мыслями. Не собрался.

— Ты почему такая мокрая? — спросил он.

— Дождь, — объяснила она виновато.

— А зонтик?

— Ненавижу, — сказала она.

Ни раньше, ни позже дверь квартиры напротив принялась звякать замками, и разговор прервался, не начавшись. Сима коротко оглянулась на звук и тут же снова уставилась Вовке в лицо. Тяжелая дверь отворилась, и на площадке, ведя на поводке задорную упругую таксу, вышел сосед-пенсионер. Мельком глянул на Вовку, с интересом оглядел Симу. Впрочем, кроме длинной широкой куртки с капюшоном вместо головы и на ножках сейчас ничего было не разгля-

деть; и даже ножки обезличивались широкими штанами, до колен темными от впитавшегося дождя. Такса вприпрыжку дернулась нюхаться, сосед потянул ее назад, и она, нехотя повинувшись, брюзгливо твякнула.

— Здравствуйте, Анатолий Кузьмич, — сказал Вовка.

— Здравствуйте, Володя, — сказал сосед. — Как у вас дела? Ничего нового не слышно?

— Нет, — сказал Вовка.

Сосед покачал головой сокрушенно, пробормотал: «Вы смотрите, что делается...» — и подошел к двери лифта. Лифт, наверное, после Симы, был тут как тут. От нажатия кнопки двери торопко разъехались, точно им не терпелось увезти старика вниз. Таксе тоже не терпелось, и она, возбужденно крутя хвостом, вся в предвкушении, перемахнула узкую пропасть, отделявшую площадку лестницы от пола кабины; перешагивая вслед за ней через эту расселину, сосед будто вспомнил что-то, обернулся и уже изнутри, с гулко просевшего под его ногой пола, спросил:

— А как Наталья Арсеньевна?

Вовка молча посмотрел ему в глаза. Старик помялся, неловко отвернулся и тиснул кнопку первого этажа. Двери съехали. Внутри шахты что-то высморкалось с металлическим призывком и загудело, удаляясь.

— Ты один? — спросила Сима.

Мама с Фомичевым должны были приехать завтра. Что-то задержало их, то ли какие-то дела, то ли, может, и здоровье — по телефону мама не стала распространяться. Голос у нее был ужасный — такого голоса Вовка у мамы просто не помнил. Но было ли это из-за здешних событий или по каким-то тамошним, их собственным причинам, Вовка не знал.

— Да, — сказал он.

Она помолчала.

— Ты меняпустишь?

Он помедлил, заторможенно пытаясь понять, чего она хочет от него, потом дважды беззвучно похлопал себя ладонью по лбу: прости мол, голова никакая. Молча отступил на шаг в сторону. Она вошла. Он закрыл дверь. Она с явным облегчением поставила сумку на пол, сняла куртку.

— Куда деть? — спросила она. — С нее еще капает.

Он опять не сразу понял, что ей надо. Капает... Ну и что? Куда девают куртки? Потом ответил:

— Все равно.

Тогда она просто повесила ее на вешалку в ряд с их обычной одеждой, так внезапно потерявшей смысл. Вот элегантный расхожий теть-Наташин плащ, вот потрепанная любимая куртка отца — сколько Вовка помнил себя в этом доме, именно она тут и висела на этом штыре и зимой и летом.

И теперь висит.

То, что плащу с курткой ничего не сделалось и они спокойно висят, будто ни в чем не бывало, ранило, как кощунство.

Сима стащила одну кроссовку другой кроссовкой, потом другую — босой ногой. Не зная, как вести себя дальше, встала перед Вовкой, как лист перед травой. Он молча смотрел.

— Я вчера, когда услышала, что жену твоего папы увезли в больницу, подумала, что ты можешь тут проголодаться, — сказала она. Помолчала, заглядывая ему в глаза и пытаясь понять, как он отнесся к ее словам. — Через справочное узнала адрес... ты же телефон мне дал тогда... Сварю тебе суп и уйду. — Опять

помолчала. Он был как деревянный. — Она там надолго?

— Не знаю, — сказал он.

— Ну, если надолго, я еще приду, — сказала она.

— Мы ребенка потеряли, — сказал он. У него задрожали губы и подбородок. Он прижал их ладонью.

— Господи... — тихо сказала Сима. — Об этом не...

— А я даже не знал, как к нему относиться. У папы будет сын, и не от мамы. Я злился почему-то. А сейчас сижу и думаю: ведь это был бы брат мне. — Запнулся и вдруг добавил нежно: — Раскосенький...

Некоторое время Сима стояла молча, потом призналась неловко:

— Ужас.

А он, пока она беспомощно молчала, уже пожалел, что разоткровенничался.

— Да ладно, — сказал он. — Прости. Не буду тебя грузить.

— Как это не будешь? — спросила она. — А зачем, по-твоему, я тут?

— Кто ж тебя разберет, — проговорил он.

— Проще простого, — сказала она. Встряхнулась и спросила: — Где у тебя кухня?

— Ты серьезно, что ли?

Она не удостоила его ответом, просто пожала плечами. Он показал: туда. Она с усилием оторвала сумку от пола и, обеими руками держа ее впереди себя, повернулась и босиком поковыляла прочь по коридору.

— У тебя штаны мокрые, — наконец заметил он. — Ты не простудишься?

Он смотрел на нее сзади и снова не увидел, как заалела ее шея под подбородком.

— На мне быстрее высохнет, — неловко сказала она. Вошла, увидела многозначительно торчащую посреди пустого стола бутылку. Оглянулась и храбро предложила:

— Хочешь, вместе выпьем?

— Еще не хватало мне детей спаивать, — пробормотал он, заходя в кухню за ней следом. Она взгромодила сумку на стул, рывком раздернула ее, выставив на обозрение полные снеди потроха, и сказала:

— Если ты еще раз назовешь меня типа ребенком, я тебе морду набью.

Что-то слегка похожее на улыбку мимолетно коснулось его губ. Он сказал:

— В огороде воробей отдубасил кошку, а потом пообещал оторвать ей бошку.

— Одной левой, — деловито заверила она. — Картошка у тебя есть?

— Да.

— Тогда я твою буду пользоваться, а ту, что купила, оставлю, она посвежее...

Не понимая, что происходит, и не в силах задуматься сейчас еще и об этом, он тупо уселся на свое прежнее место, на стул верхом, к столу и к бутылке спиной.

И стал смотреть, как Сима, точно хозяйничала тут много лет, споро выкладывает из сумки на стол пакеты и свертки, потом, как хирург перед операцией, берет руки над кухонной раковиной, потом лезет в холодильник, в морозилку, в один шкаф и в другой, настенный, что-то там перебирает и рассматривает... Накатило неуместное умиротворение. Вовку потянуло в сон — он две ночи почти не спал. Но было бы, подумал он, жалко спать, пока она тут. Пока она тут, надо смотреть на нее.

— Слушай, а ты правда физический гений? — спросил он.

— Рано судить, — бесстрастно ответила она, не оборачиваясь. Выбрала кастрюлю, поставила ее под кран набрать воды. — Мне это интересно, нравится. Но если бы то, что дело нравится, гарантировало успех, то... жизнь была бы гораздо счастливее. А почему ты спросил?

Он помедлил.

— А не знаю. Так... Тебе с папой было бы интересно, наверное...

— Он ведь струнной теорией занимается?

При всей своей заторможенности он отметил это ее утешительное «занимается» в настоящем времени — и от благодарности и умиления у него немножко оттаяла душа.

— Ты откуда знаешь?

— Еще зимой... после того, как ты приходил к нам в школу... нашла в Интернете несколько его статей. Старых. Жаль, за последние годы — ничего. Я так поняла, что его тут ракетной фигней совсем отвлекли от фундаменталки. Или он засекретился? Ну, если не можешь, не говори. Наверное, да, было бы интересно. Он жутко нетривиальный, просто слюнки текут. Только я въезжаю с пятого на десятое, еще не доросла. Математика там сумасшедшая. Ну, может, когда он найдется, еще поговорим... — ввернула она, честно, но бессильно стараясь Вовку утешить и подбодрить, и вселить надежду, и сама поняла, что сфальшивила. Переборщила. От досады и неловкости она даже дернула головой и умолкла надолго, сетуя на себя и свою черствость.

Но мужчина молчал, и, в общем, он ее не звал и не обязан развлекать разговором, она это прекрасно по-

нимала. Ему сейчас ни до чего. Спасибо, что хоть выпустил.

Некоторое время она творила в тишине, не мору-ча его неуместной болтовней. И только вздрагивала и сразу тихо радовалась, то и дело чувствуя затылком, спиной, ногами его взгляд, осторожно перебиравший ее, как книгу.

Заунывно шелестел дождь. Шипел газ, забулькало вкусное варево.

— Володя, ты мне вот что скажи... — подала она голос потом, шумовкой собирая с бульона пену. — Если тебе не трудно. Все-таки. В городе чего только не болтают, но... Правоохранители наши толком говорят что-нибудь?

— А что они могут сказать... — не упорствуя в молчании, ответил Вовка. — Ливень чертов. Нашли, где он вышел из автобуса — он же не один ехал, люди видели... И все. Если б не дождь, может, собаки бы помогли, а так... Там поселок с одной стороны, с другой — новые особняки. Опрашивали... Никто ничего.

— Но так же не может быть.

— Конечно, не может.

— А вдруг его украли?

Напрашивается, подумал Вовка. Особенно если знать, чего мы добились... Фээсбэшники тут тоже успели покрутиться, только ведь и им не все можно рассказывать. Если в Москве вот так невзначай узнают про нуль-Т, не то что меня, но даже Наиля ототрут мигом... Но про нуль-Т никто пока узнать не мог. А по старой памяти — нелепо. Сколько лет прошло, а никаких прорывов с космолетом нет, поэтому и суетиться не из-за чего. И главное — почему посреди поля? Он же домой уже ехал, почему выскочил? Откуда, скажем, те, кто хотел его украсть, знали, что он

вдруг вот так выскочит? Сами его подговорили? Где, кто? Получается, эта передача на радио была только предлогом, чтобы его из Полудня выманить? Так украли бы прямо из города...

Ничего не вяжется, дурь полная.

Будто молния ударила в дом.

— Сима, — с трудом сказал он, — знаешь... Если будут какие-то новости, я тебе сообщу. А сейчас не надо. Не хочется глупости слушать и говорить.

— Хорошо, — послушно ответила она. — А тогда я вот что еще спрошу. Совсем из другой оперы. Ты листок с моим телефоном сразу выбросил?

Он не вдруг вспомнил, о чем речь. Потом смущенно признался:

— Да.

А она будто обрадовалась. Удовлетворенно констатировала:

— Я так и думала. — Поразмыслила и спросила: — А как ты тогда мне сообщишь? — Помолчала. — Придется мне опять тебе бумажку писать.

— Сима, — сказал он устало. — Ты, наверное, хорошая девочка...

— Ты еще сомневаешься? А я вот про тебя уже тогда все поняла.

— Тогда когда?

— Когда была маленькая.

— Ну и что ты поняла?

— Не скажу, — зачем-то с обеих сторон облизнув ложку длинным розовым языком, она лукаво глянула на него через плечо. — Это слишком интимно.

— Болтушка ты, — чуть улыбнулся он.

— Вот уж нет. Я молчаливая и скрытная. А еще — гордая и независимая. Имей в виду: еще раз я напи-

шу. Но если ты и на этот раз на меня наплюешь, больше навязываться не буду.

— Ты вот так на это смотришь? — удивился он.

— Интересно, а как на это можно еще посмотреть? — возмутилась она, принимаясь проворно чикать морковку.

Он покачал головой.

— А почему ты все же...

— Что? — с любопытством спросила она. И даже опять обернулась — так ей стало интересно, что он скажет, как это назовет. Страшно было смотреть, как она наяривает ножом вслепую.

— Пальцы береги, — вырвалось у него.

На самом деле было так тяжело, что хотелось спрятаться. По-детски у мамы на коленках спрятаться от внезапной и необъяснимой ярости жизни. Ткнуться носом в плечо и закрыть глаза.

Но когда перевалило за двадцать, даже если мама рядом, у нее нельзя спастись. Можно только ее спастись. И вовсе не потому, что мужское достоинство. Просто закрывание глаз и утыкание носом в маму уже не утешают. После двадцати ткнуться носом можно только в плечо девушки. Особенно вот такой. Черная вьющаяся грива чуть вздрагивала в такт ударам ножа. Широкая рубашка и бесформенно обвисшие, медленно высыхающие старые джинсы прятали все живое, но там, внутри этих складок и пузырей, он помнил, знал, чувствовал, светилась, как напряженно дрожащий язычок пламени внутри закопченной лампы, молодая и горячая, порывистая и отважная зверушка, которую ему позарез было надо. Сквозь лубые преграды и слои, невидимое, от нее шло к нему тепло.

— Не волнуйся, все наши будут, — ответила она. — Так что ты хотел сказать?

— Если ты так на это смотришь, почему ты меня простила? — спросил он.

Она перестала чикать. Ножом ссыпала с доски нарезку в кастрюлю. Обернулась. Ее глаза мягко светились.

— Только не издевайся надо мной, — сказала она смущенно. — Просто я тебя так помню... так помнила все это время... А тут у тебя это. Мне хочется тоже тебя спасти. А когда хочется спасти, гордость и всякие другие пустяки просто улетучиваются. И прощать-то не надо, потому что нечего. Да ты сам это прекрасно знаешь.

— Не буду издеваться, — упавшим голосом ответил он.

Так я и знал, подумал он опустошенно. Не вздумай ткнуться в нее чем-нибудь, олух. Это у нее просто благодарность и жалость. Может, даже немножко долг.

Жаль, подумал я, что воин не сказал тогда этого вслух. Услышал бы, как смеется от слова «долг» влюбленная женщина.

— Какой же я чурбан, — вдруг сообразил Вовка. — Ты же еще и босиком до сих пор. Не хватало, чтобы из-за моего супа ты на сопля изошла. погоди, сейчас я шлепы принесу.

3

Этот день начинался так, что никто не сумел бы угадать, как он продолжится и где завершится.

Возможно, то был последний по-настоящему погожий день лета. Лето уходило. Оно, как торпедирован-

ный лайнер, стоймя проваливалось в глубокий, уже придонный август. Ни одна душа не могла сказать, какой из всевозможных прогнозов, кишаших в сети, отгадает будущее, и найдется ли такой вообще. Может быть, безоблачное небо, лазурным праздничным фейерверком польхнувшее с утра, и солнце, вдруг вздумавшее пригреть, точно мамина ладонь, задержатся с людьми на несколько дней, а может, изменят им уже к вечеру. Может, поджидающая в пучине октября осень, успевшая ощупать своим длинным щупальцем середину июля, завтра, как спрут, навалится своей холодной мокрой тушей.

Вовка не выдержал.

Когда Сима собралась уходить, он, пряча глаза, мучаясь совестью и неумением убедить ее в том, что он на нее вовсе не наплевал, косноязычно и нелепо пригласил ее погулять. Она засмеялась: я и так уже тут, а на улице дождь. Он не хотел, чтобы она уходила, и не знал, что делать, если она не уйдет. Уже темно, близился вечер. Мысль ее проводить показалась ему где-то гениальной и, во всяком случае, новаторской донельзя. Он дождался с нею ее автобуса; довез, а потом и довел ее до дому, одной рукой неся опустошенную сумку, а другой закрывая от дождя тетя-Наташиным зонтом. Сима больше молчала, шла себе, сунув руки глубоко в карманы куртки, и думала невесть о чем; а все, что приходило в голову для беседы ему, отчего-то неизменно оказывалось рассчитанным на совершенно родного человека, он успевал это сообразить, не сказав и слова, дергал себя назад, как сосед за поводок свою излишне дружелюбную таксу, и тоже, получилось, всю дорогу отмалчивался. Только у двери в подъезд она повернулась, откинула капюшон и подняла к нему лицо; ее глаза и губы оказались

не по-чужому близкими. «Зайдешь? Со своими познакомлю...» — «Ну что ты!» Она усмехнулась — ему показалось, что грустно. Или разочарованно. Или будто говоря: я так и знала. «Я что-то не заметила, — небрежно спросила она, отворачиваясь, — ты мою сегодняшнюю бумажку уже выкинул?» — «Нет, конечно...» — «А-а... Ну, у тебя еще масса возможностей». — «Да не выкину я больше!» — «Если позволишь — поверю». Он задумался, потом сказал: «Вот дождик кончится, будет тепло — я опять позову тебя погулять». «Гулять так гулять», — двусмысленно ответила она, аккуратно отобрала сумку (он совсем про нее забыл, так при сумке и ушел бы), повернулась и оставила его под дождем. Только грохнула дверь подъезда.

Тоска выедала его, как ненасытный червяк, вместо души оставляя пустышку. Лежа ночью без сна, он буквально чувствовал неутомимо грызущие усики, челюсти и жвала, и как кольцеобразными волнами пробегает по белесому жирному тельцу перистальтика, перегоняя все, что было в нем, Вовке, хорошего, в нечистоты: обиду, неверие, бессилие. Приехала мама и прожила тут больше недели, и в первый вечер он все-таки захлюпал носом при ней, роднее ее все равно же никого не было; но он чувствовал, что Журанков ей давно чужой, и, в общем, ей все равно, что с ним случилось. Она даже попробовала ляпнуть, что он-де сбежал. Ей было жалко одного Вовку. Когда выписали из больницы тетя-Наташу, мама только посмотрела на нее и сразу предложила Вовке уехать отсюда совсем, поселиться у них с Фомичевым. А он отказался. И тогда она уехала одна. И он остался один.

Он умирал изнутри. Ему надо было забыться жизнью.

Совесьь подалась и надломилась с хрустом, как деревце под лавиной жидкой грязи, сброшенной потопом.

Он был поражен, что она не удивилась его звонку. Она ответила так обыденно и с такой спокойной готовностью, будто не четыре с лишком недели прошло без единого слова друг другу, а, наоборот, они по десять раз на дню созванивались потрепаться. Она согласилась немедля. И, поскольку день вдруг оказался настолько летним, насколько это вообще было возможно, и от этого дня, раз уж пошла такая карта, следовало взять все, они решили закрыть купальный сезон. Прямо на городском пляже, на всегда переполненном песчаном откосе. Конечно, лучше было бы отъехать от городка и поискать место поуютней и безлюдней, но время уже и так шло к полудню, и пока будешь кататься взад-вперед и выискивать уголье по сердцу — не то что конец погоды, а День народного единства подскочит.

В первые минуты она не знала, какой быть, чему резонировать, и готова была к любому, даже самому траурному раскладу. Но с облегчением и радостью обнаружила, что Вовка стал, вроде бы, каким она помнила его по детству и по январскому его приходу в школу — хотя к лучшему у него, как говорили, ничего не изменилось. Вовка в последнее время был персонажем многих слухов и пересудов Полудня, и все они были печальны. С самого начала Сима оказалась благодарна ему за то, что последний лучезарный день года, который мог оказаться — она, безропотно соглашаясь на встречу, вполне отдавала себе в том отчет, — чем-то вроде нескончаемого подметания любимой могилки, сразу стал, да так и остался в ее памяти, развеселым, беззаботным, сверкающим карнава-

лом. Столько она, наверное, не смеялась ни разу в жизни. А может, дело было не в количестве. Наверное, лучше сказать: ТАК она не смеялась ни разу в жизни. Даже когда она не смеялась, в ней все смеялось. Она словно на широко распахнутых крыльях парила головокружительно высоко в прогретых землях восходящих потоках счастья. Простого и такого исконного — как теплый хлеб.

Они еще до берега не дошли, когда ей в кроссовку попала какая-то вредная, острая то ли щепинка, то ли хвоинка; кособоко вихляясь на одной ноге и поджимая разутую другую, она пыталась вытряхнуть ее и раз, и два — и всякий раз, как обувалась, та снова принималась колоть ее больно и зло, точно кончиком шприца. На первой попавшейся лавке она уселась, стащила обувь и уже капитально принялась избавляться от успевшей осточертеть проблемы: била подошвой об землю, переворачивала, трясла и снова била, растопыривала кроссовку и заглядывала ей в душу пытливо и придирчиво, становясь похожа на дотошного ларинголога (скажите «А-а-а!»), залезала пальцем внутрь и скребла ногтем. Вовка, чуть расставив ноги, мирно стоял рядом и любовался. Девочка была чудо. Что-то ему напоминали ее энергичные действия; он не сразу вспомнил, потом до него дошло: примерно так, наверное, Аладдин тер свою лампу.

— Ты что, — серьезно спросил Вовка, — джинна выколачиваешь?

Она недоуменно замерла. Какое-то мгновение она не могла переключиться; но, сообразив, увидев себя со стороны, захохотала так, что заплескала руками и выронила кроссовку. Вовка стремглав ее подхватил, поднял и, пав на колени, на двух ладонях, как драго-

ценность на блюде, подал хозяйке. Протяжным уробным басом заголозил:

— Я — раб тапки!

С того и пошло. Часа четыре они пробыли в том состоянии, когда палец покажи — и валишься впока-тушку. До слез, до потери дыхания. Когда захотелось пить, он купил в киоске бутылку воды, Сима отвинтила ей голову, запрокинула лицо и, сделав глоток, за-гяделась в небо. Вовка на всякий случай тоже по-смотрел вверх, потом спросил:

— Сокол охотится? Боишься, воду у нас стащит?

— Нет. Соколы из бутылок не пьют...

— Это русский сокол Вася. Камнем вниз из подне-бесья, цоп баллон когтями и — ходу, ходу!

И она снова смеялась, и задышалась от нежности, и хотела быть песком под его ногами.

Украдкой она следила за ним, когда, расстегнув пуговку на позвонке, через голову смахивала легкий сарафан. Она простить себе не могла, что из уваже-ния к его бедам зачем-то надела самый закрытый ку-пальник. Будто в церковь собралась или на кладби-ще... Надо было — наоборот, чтобы все кругом попа-дали, у нее же есть и такой. Уже ясно, что ему было бы приятно. Она, конечно, старалась не подавать ви-ду, что замечает, но и не замечать не могла: когда она блаженно потягивалась перед ним или, раскинув-шись на спине, поворачивала голову, невзначай под-ставляя лицо губам лежащего рядом мужчины, и во-обще вытворяла то, в чем у нее не было ни малейшего опыта, и единственно юный женский инстинкт сема-форил ему ее телом — у него надувались плавки.

И тогда у нее жарко взрывалась вся кровь, и даже кончики пальцев ног прожигало изнутри — так, слов-но это произойдет прямо сейчас. Прямо здесь, на за-

валенной мешками чужих тел узкой полосе грязного песка, под пульсирующий крикливый гомон, под перекрестное буйство аудиотехники, со всех сторон стучащей по мозгам, под громогласную матерщину мужественно хлебающих пиво из горлышек убогих подростков, уверенных, что это и есть свобода, под рев моторок и гидроциклов, пашущих реку едва не по головам купальщиков, нещадно окатывая их черными облаками дизелей и взбалтывая охапками пены, — под весь этот шум нескончаемой битвы людей за то, чтобы заглушить голос своего естества, тихонько требующий любви и смысла.

Если он хотя бы не дотронется до меня, думала она, значит, я уродина и холодная дохлая рыба. Ну почему, почему я не надела голый купальник?

Он не дотрагивался. Ни в воде, когда они купались и барахтались вместе, ни на суше, когда лежали, загорая, бок о бок. Даже если это вполне могло получиться случайно, не допускал. Балагурил, рассказывал байки, смешил ее, тешил, как младшую сестренку — и все. И все.

Около пяти купаться стало зябко, и солнце скисло.

Народ потянулся с пляжа. Сима готова была лежать и мерзнуть тут хоть всю ночь, лишь бы не расставаться; такие дни не знают повторов. Восходящий поток вдруг ослабел, и счастье, только что летевшее в полную силу, завалилось на крыло и стало падать. На душе сделалось отрешенно и невыносимо грустно. Наверное, так чувствует себя до смерти благодарный лету пожелтевший осенний лист перед тем, как оторваться.

— Ну, наверное, и нам пора? — спросил он.

— Да, — не упираясь, согласилась она. — Холодает.

И поднялась первой. Если что-то кончилось — оно кончилось, его не продлить, даже если длить. Того, что кончилось, все равно уже не будет, но вдобавок не случится и того, что началось бы. Надетый сарафан стал началом прощания; это не колышущийся на ветру подол коснулся ног, а упавший лист медленными зигзагами поплыл к земле, задевая нижние ветви.

— Володя, а я правда подмерзаю чего-то, — сказала она, когда они шли к остановке. — Не рассчитала одежду... До тебя тут ближе. Напоишь горячим чаем?

Он словно растерялся.

— Сима, а вон кафе... Не хочешь?

— Не хочу в кафе, — с отчаянной храбростью сказала она. И произвольно добавила, чтобы хоть как-то спрятаться: — Там опять все будут бубнить и матюгаться.

Он заглянул ей в глаза беспомощно и виновато.

— Сима, но у меня...

— Что? Грязные трусы по всему дому?

— Нет, — сказал он. Подумал. Она шла, глядя вперед, и видела, что как раз подкатывает его автобус. — Хорошо, — сказал он. — Только... — запнулся.

— Скажи еще: только пеняй на себя.

— Именно.

— Я взрослая девочка, — сказала она.

— Кто бы сомневался, — ответил он. — Но тут другое... Хорошо. Как скажешь. Едем. Я раб тапки.

Она улыбнулась, благодарная за то, что он последней фразой на миг вернул безмятежное, так много обещавшее утро. Она понятия не имела, что делать дальше.

Только вот там действительно оказалось другое.

Дверь он открыл своим ключом, но, как принято в

дружелюбных семьях, на звук открываемой двери из своей комнаты вышла встречать Наташа.

За эти пять недель она постарела лет на десять, рывком превратившись из таежной феи в еще не дряхлую, но уже выдавшую виды, опытную, в летах шаманку. Она расцвела улыбкой и светом глаз, но то были глаза и улыбка пожилой женщины.

— Вовка, — будто успокаиваясь после многочасового нервного ожидания, сказала она. — Долгонько...

— Добрый вечер, мам, — сказал Вовка, целуя ее в щеку. — Загорали до последнего, пока можно. Познакомься, это Сима. Сима, это моя мама, Наталья Арсеньевна.

— Какая красавица, — удовлетворенно оглядывая Симу, сказала Наташа. — Здравствуйте, Сима.

Внезапно севшим голосом Сима ответила:

— Здравствуйте, Наталья Арсеньевна.

— Вовка, ты папу не встретил? — спросила Наташа. — Он тоже вышел пройтись, и все нет и нет. Я уже беспокоюсь прямо.

— Нет, мам, — ответил Вовка, идя в ванную мыть руки.

— Наверное, опять придумывает что-то, — сказала Наташа. — Неугомонный. Проходите, Сима, не стесняйтесь.

— Мы чайку, мам, попьем? — спросил Вовка из ванной.

— Конечно. Могу и супчик разогреть, супчик вкусный. Сима, обедать будете?

— Спасибо, Наталья Арсеньевна, — сказала Сима. — Нет, вы знаете, мы на пляже всякой сухомыткой намякались. А вот пить хочется. Ну, и согреться, конечно.

— Я вам свитер свой дам, — озабоченно предло-

жила Наташа. — Хотите? Потом занесете или отдадите Вовке при случае. А то в таком платице вечером...

— Я буду вам очень благодарна, — сказала Сима. — Завтра же занесу.

— Ну, договорились. Сейчас выдам, — Наташа пошла к себе.

Сима, провожая ее взглядом, непроизвольно заглянула в комнату. На столе были раскиданы бумаги, и горел дисплей ноутбука. Наташа открыла платяной шкаф, и дверца закрыла стол.

— Сима, рули на камбуз, — позвал Вовка.

— Иду, — сама не своя, отозвалась она. Но Наташа уже шла назад, неся яркий теплый свитер.

— Примерьте, — сказала она. — Пойдет?

Вовка разлил дымящийся чай, прислушался. Потом, поставив чайник на подставку, тихонько прикрыл кухонную дверь.

— Поняла? — почти шепотом спросил он.

— Нет, — тоже вполголоса ответила Сима.

— Видишь, она работает. После больницы она все время работает, вроде одна статья даже выйдет скоро, но... От главных потерь она заслонила наглухо. Два сдвига. Первый — что папа просто вышел пройтись и вот-вот вернется. Когда я прихожу, а она дома, она всегда спрашивает, не встретил ли я его. А когда я дома, а приходит она, то всегда спрашивает, не звонил ли он. Ни с кем об этом не говорит, а со мной... вот так.

— Господи... — потрясенно прошептала Сима.

— А второе — она уверена, что я ее сын. Когда она это первый раз сказала при маме...

Он осекся и не договорил.

Сима долго молчала, глядя ему в лицо, и глаза ее, и

так-то огромные и темные, сейчас стали полной страдания бездной.

— Пей, — сказал Вовка, — остынет.

— А знаешь, — в полном шоке пробормотала она, — ведь про вас всякое говорят.

— Что?

— Ну... всякое. Даже что ты молодую мачеху взял в любовницы.

У него резко выпрямилась спина и напряглись скулы. Теперь уже он несколько секунд вглядывался ей в лицо с отчужденной, почти враждебной пытливостью, а она все понять не могла, что же она такое сказала не то, что натворила. Он жестко спросил:

— И ты напросилась в гости, чтобы проверить?

Она обмерла.

— Нет, Володя... Нет! Я... совсем не... Я просто... Господи, — едва не плача, сдалась она, — да я просто с тобой еще хотела побыть!

Он медленно обмяк.

— Все равно я ее не брошу, — убежденно сказал он.

Она хотела спросить: а меня? Но постеснялась. Нельзя бросить то, что не взял.

— Она папу любила очень, — задумчиво сказал Вовка. — Просто вот очень. Она же его спасла, когда он из-за меня вены себе вспорол. Если бы не она...

Умолк. У нее опять кровь пошла взрываться по всему телу. Она подождала, потом сказала тихонько:

— Володя, ты, наверное, забыл, но я ведь ничего этого не знаю. Ты говоришь, а я не понимаю ни слова. Столбенею, и все.

Он будто очнулся.

— Да, — сказал он. — Смешно. Мы так давно зна-

комы, что мне, наверное, кажется, будто это все было у тебя на глазах. Сейчас расскажу.

И рассказал.

Потом оказалось, что чай остыл, и Вовке пришлось его разогреть и доливать кипятком то, что было у них в чашках. Потом пришла Наташа и, одобритительно поглядывая на Симу, все-таки уговорила их поест с чаем печенья и выставила коробку. Потом ушла. А они все молчали.

— Знаешь, — наконец проговорила Сима, — я недавно историческую книжку читала. Я вообще-то не любитель, такое читаю только между делом... Извини, в туалете и иногда за едой. Но тут... Если бы я была историк, я бы только вот этим и занималась. Связью природы и культуры. Там было про чуму в Европе. За полтора века после первой вспышки — чуть ли не каждые десять лет¹. Вроде бы нигде так часто не было. Не знаю, почему. Скученность, грязные города... В Европе ведь в ту пору насчет гигиены было хуже, чем где-либо. А может, что-то еще... Нигде, кроме. А кто вымирал в первую очередь?

— Кто?

— Верные мужья и жены. Любящие дети и родители. Самые храбрые и честные доктора. Самые набожные и добрые священники, до последнего выполнявшие долг перед паствой и несшие утешение умирающим. Все, кто не бросал больных, а старался быть

¹ Если кому-либо из читателей интересны точные цифры — вот они: 1348, 1360 — 1362, 1366 — 1369, 1374 — 1375, 1400, 1407, 1414 — 1417, 1424, 1427, 1432 — 1435, 1438 — 1439, 1445, 1464. См.: *Ле Гофф, Жак. Рождение Европы*. С-Пб., 2007. С. 243. Там же великим французским медиевистом Ле Гоффом высказаны соображения, развитием которых, пусть и немного наивным, являются высказывания Симы.

с ними и помогать. В общем, такие, как ты. Как, наверное, Наталья Арсеньевна, как твой папа... А выжидали те, кто, как в «Декамероне», удирал куда подальше и там изысканно веселился. И называл это присутствием духа. Мол, не будем унывать из-за трудностей и бед. Полтора века селекции! А потом бац — и, откуда ни возьмись, Ренессанс. Гуманизм, индивидуализм, человек — мера всех вещей, личное выше общественного, будем смеяться над нелепыми иллюзиями, никто никому ничего не должен, я не хочу ходить в стаде, ибо я свободная личность...

Она помолчала, потом спросила невесело:

— Интересно, правда?

— Еще как, — сказал Вовка, с уважительным удивлением глядя на нее. Потом потер щеку ладонью. — Получается, у нас теперь какая-то своя чума, а? Коли из нас троих я один остался?

Она помолчала, потом сказала тихо:

— Береги себя.

Он усмехнулся. Оглянулся на окно, посмотрел на Симу исподлобья.

— Темнеет... — неловко пробормотал он.

— Да, — спокойно и безжизненно ответила она. — Я сейчас пойду.

— Я провожу.

— Как хочешь.

Он помедлил и смущенно спросил:

— Почему ты стала грустная?

Она пожала плечами:

— Нет. Просто я все про тебя сообразила. Ты же отвлекся сегодня хотел. Просто забыться. Пожить нормально хоть несколько часов. Мужчина в отчаянии — вот ты кто. Тебе бы шлюху и литр водки. Я бы поняла. А ты целый день веселил маленькую дуру, ко-

торая тебе на фиг не нужна, с которой только и можно, что играть в Машу и медведя, или смеху ради придуриваться и... — она задохнулась и не договорила. Перевела дух. — Скажи честно: зачем?

Он втянул голову в плечи; глаза его сделались виноватыми и такими безрадостными, что она едва-едва сдержала себя и не полезла сама, очертя голову, к нему целоваться.

— Прости, — сказал он. — Получается, я тебя все-таки использовал, да? — Он покачал головой, будто молча вынося себе какой-то приговор. — Но, понимаешь... Когда ты смеешься, и мне как-то легче...

Она глубоко вздохнула. Подождала еще, но он уже смотрел в сторону. Она встала.

— Я пошла.

Надев взрослый свитер, она сделалась взрослее, шире в кости и до странности напоминала теперь молодую Наташу — какой та была еще несколько недель назад. Вовка, чуть недоверчиво глядя на тетя-Наташу на Симиных ногах и с Симиной головой, открыл дверь на лестницу, но Сима вдруг сказала:

— Сейчас.

Осторожно постучала.

— Ау? — приветливо ответила Наташа с той стороны. — Кто там, не стесняйтесь!

— Постой тут секунду, — сказала Сима.

Она вошла. Притворила дверь за собой. Но, конечно, Вовке было слышно, что она говорит.

— Спасибо вам, Наталья Арсеньевна...

— Да за что же, Симочка? Вы и не поели ничего!

— За сына замечательного спасибо. Вовка у вас такой хороший — просто сердце в клочья. Правда. Вот что я хотела вам сказать. До свидания.

Потом ему послышалось, будто они поцеловались.

И Сима вышла не сразу после того, как перестали доноситься слова. А выйдя, глянула на Вовку настороженно, даже чуть испуганно: она не знала, слышал он или нет.

И, положив руку на сердце, даже не знала, чего бы ей больше хотелось: чтобы он слышал или чтобы нет.

— Вовка, — крикнула Наташа, не вставая из-за компьютера и лишь обернувшись к открытой в коридор двери, — ты надолго?

— Нет. Не очень. Провожу Симу и назад. Ну, может, мы пройдемся немного... Не беспокойся, пожалуйста.

— Если папу встретишь, поторопи, ладно? Я уже два раза обед грела. Невкусно будет.

— Конечно, мам, — сказал Вовка. — Обязательно.

Молча они спустились в лифте; его теснота и отъединенность намекали, провоцировали. Стоя лицом друг к другу, они старались смотреть в сторону и даже дышали словно бы украдкой. От Симы пахло свежестью — солнцем, цветами и рекой. Хотя какие тут могли быть цветы, какое солнце, кроме нее самой?

А внизу Вовка вдруг сказал:

— Я тоже хочу еще с тобой побыть.

— Опять на улице? — улыбнулась она.

— Нет. Интереснее.

— Звучит многообещающе... — сказала она, чуть растерявшись. Но он, уже не отвечая, лишь поднял палец — тише, мол, мыши, кот на крыше. И вынул мобильник. Щурясь в сумраке загустевающего вечера, некоторое время попискивал кнопками.

— Наиль Файзуллаевич? Здравствуйте. Это Володя. Извините, что беспокою, но вы сами дали мне этот номер...

Наиль дал ему этот номер на другой день после ис-

чезновения отца. Это мой личный, пояснил он тогда, тут я всегда на связи. В любое время, если что-то случится с вами или что-то выяснится о нем — звони. И держись. И Вовка держался. И вот теперь позвонил.

— Нет-нет, ничего, к сожалению. Так до сих пор и ничего. Но я совсем по другому поводу... Я хочу провести еще одно тестирование. И вообще надо как-то возобновляться и на что-то решаться, вы не находите? Я? Ну да, я. А знаете, это как с автомобилем. Конструировать новые модели я бы не смог, но водитель уже неплохой.

Сима смотрела ему в рот, ловя каждое слово, но ничего не соображая. Трубка в Вовкиной руке заверещала, забубнила. Вовка слушал долго. Потом снова заговорил:

— Я бы еще Алдошину позвонил, но не знаю, как он сейчас... А, понял. Перевели на реабилитацию? Ну и славно... Нет, конечно, инфаркт не шутка, я понимаю. Я потому и не решился его беспокоить. Я с ним обязательно проконсультируюсь, как только он сможет меня принять. Если увидите его или будете созваниваться — передавайте приветы от нас, пожалуйста. Да, спасибо. Держимся... До свидания.

Он дал отбой и подмигнул Симе.

— Ни фиги не поняла, — честно сказала она. — Что ты надумал?

— Увидишь. Идем к институту.

Он повернулся и широко зашагал знакомой дорогой, по которой столько раз ходил по утрам с отцом.

— Ну ты темнила, Вовка... — с трудом поспевая за ним, выдохнула Сима.

— Лучше раз увидеть, чем семь раз услышать, прав-

да? Тебя ждет ни с чем не сравнимое удовольствие. Его не описать.

У нее все обмерло внутри, и дальше она уже молчала, и только послушно, преданно бежала за ним в свете зажегшихся уличных фонарей, как покладистая такса.

Прикладывание ладони и сканирование сетчатки произвели на нее неизгладимое впечатление. Стараясь не терять присутствия духа, она попробовала состричь:

— У тебя что тут, филиал разведцентра?

Вовка не поддался. Лишь ответил серьезно:

— Наоборот.

Они вошли.

Вовка остановился на пороге.

Он не был здесь ровно столько, сколько был без отца.

Пыль. Везде пыль какая. Пять недель прошло.

Всего лишь пять недель... Пятьдесят пять лет, не меньше. Совершенно иная жизнь.

В сумерках нуль-кабина была похожа на громадного, широко растопырившего бесчисленные колени паука, нависшего над серединой зала.

Сима молчала. Он любил ее голос, он любил то, что она говорит и как она говорит, но сейчас был благодарен ей за молчание.

Озноб неуверенности потрянул его, когда он, стиснув зубы, начал запитывать установку. В теории он был не мастак; отец, конечно, находил ему, что почитать о ветвлениях, о туннелировании, о спутанных состояниях, и рассказывал подробнейшим образом о механике наведенного резонанса склеек, но все это пока оставалось для Вовки просто набором фактов, каждый из которых сам по себе; они не формировали

для него многомерного, причудливо увязанного обшей жизнью пространства представлений, каждое из которых, при всей своей сногшибательности — лишь грань целого. Они в нем не жили, не ветвились, не сплетались. А от таких слов, как «декогерирование», у него вообще начинали ныть зубы. Но это ладно. Он — водитель. Он сам так сказал. Он не раз уже водил эту машину; только вот впервые сел за руль без шанса доехать до ремонтной мастерской. Если что-то не так — некого спросить.

И, главное, его неуверенности ни в коем случае не должна почувствовать та, что в недоумении стояла сейчас у него за спиной.

— Хочешь увидеть Таити? — хрипло спросил он.

— Таити? — испуганно переспросила она.

Это было уже слишком. Она даже отступила назад; ее лопатки прижались к закрывшейся бронированной двери. Ей подумалось, что он тоже спятил от потрясений. Если бы он мог слышать ее мысли сейчас, он, наверное, узнал бы голос, который так старался накачать его водкой перед ее первым приходом.

Вовка обернулся к ней. Его улыбка сдула страх, как теплый ветер сдувает пух с одуванчика.

— Ну, Таити, — сказал он мягко. — Остров такой. Неужели не хочешь? Райское место...

— Да что ты мне объясняешь про Таити! — за то, что она на миг разуверилась в нем, она сейчас на него разозлилась. — Ты за кого меня принимаешь! Просто с чего вдруг Таити?

— А ты успокойся, — сказал он. — И прислушайся к себе. Лазурный океан... Коралловый пляж... Не то что наша речка.

— Всегда мечтала, — призналась она.

— Молодец. Нормальная девочка. Встань сюда.

— Вот под это все?

— Ага.

— Слушай, ты меня собрался пытаться электрошоком, что ли? Так я тебе и так всю правду скажу, спрашивай. Партизаны слева под кустом.

— Я тебе объясню. Потом.

— Если захочешь, — машинально пошутила она, чтобы вернуть себе ощущение реальности. Фраза Калыгина из «Вашей тети» всегда помогала безотказно. Но Вовка был невменяем. Даже не улыбнулся.

— Непременно захочешь, — бросил он, что-то выделывая с кнопками и клавишами на пульте. — Ну?

Вообще-то она готова была выполнить любое его желание. С тем же успехом, что и «встань сюда», он мог бы, например, сказать: «прыгай из окна». Если бы окно оказалось невысоко, она бы прыгнула, и пусть знает. Но все же она предпочла бы выполнять те его желания, которые были ей понятны и, главное, совпадали бы с ее собственными. О, с какой самозабвенной радостью она бы их выполняла!

Закусив губу, она встала в нуль-кабину.

— И-и... раз! — сказал он и что-то там нажал.

Со всех сторон бледно мигнуло. Из-под ног у Симы словно выдернули твердое; сердце ухнуло, точно самолет пошел на посадку. И тут же раздумал. Вновь выскочивший пол заставил колени чуть подогнуться. На стремительном пролете, так что не понять — было? не было? — по глазам хлопнула дурманящая опаловая ширь рассветного океана, продавивший ее темный контур широкого клыкастого горба вдали и на полнеба — золотая полоса нездешней зари. Сима едва подавила вскрик.

— Все, — сказал Вовка. — Выходи. Можно оправиться и закурить.

На чуть дрожащих ногах она вышла из нуля-кабины.

— По лицу понимаю, что видела, — сказал Вовка. Он весь лоснился от непонятого удовлетворения. — Поздравляю, Сима. Я так и чувствовал. Ты — поводырь.

— Чи-иво? — тоненьким противным голосом спросила она.

Он засмеялся.

— Садись вот сюда, — сказал он. — Буду рассказывать. Только смотри: это все военная тайна. Ты у меня теперь будешь посвященная. Ты физикой интересуешься, может, мало-помалу все это лучше меня переваришь. Ты вот говорила, отец в сети давно статей по струнам не выкладывал...

Когда он закончил, она долго молчала. То вдруг начинала озираться и разглядывать приборы, то, показав Вовке гривастый затылок, задирала голову и мерила взглядом зависшего в воздухе темного паука; потом опять смотрела на Вовку и опять молчала. Потом сказала наконец:

— Су-упер...

Как будто примерила красивую кофточку, и та ей подошла.

— Вот бы его материалы посмотреть, расчеты... — мечтательно протянула она.

Вовка не ответил.

— Володя, — серьезно спросила она тогда, — это что, правда?

Он пожал плечами.

— Я ж говорю, лучше один раз увидеть. Куда бы

ты хотела прыгнуть? Так вот запросто, погулять еще часок.

— Да куда угодно. Блин. Париж, Рим... Прага...

— Туристский набор.

— А что такого? — ощетинилась она. — Да, я молодая и глупая, ты прав.

— Ты чего? — удивился он.

Она перевела дыхание и вдруг улыбнулась.

— Это от удивления, — призналась она. — Крыша едет. Не сердись.

— Могу и в Париж... — сказал он.

Она помолчала.

— Знаешь, я сто лет хотела пройтись по улицам, где маленькая бегала, — смущенно сказала она. — К своему дому подойти... Ужасно давно не видела. Вот как раз на часок.

— Будет исполнено, повелительница, — сказал Вовка и поднялся. — Я раб тапки.

Она повернулась на стуле, глаз не отводя от его деловито удаляющейся спины.

— Ты даже не спросишь, где я жила? Я совсем тогда не поверю.

— Еще как спрошу. Посиди минутку, я настроюсь. Это же не чудеса, а работа.

Через минуту он и впрямь позвал ее к одному из боковых пультов. На двух соседних дисплеях узнаваемо рябил каравай Москвы, так мелко нашинкованный беспорядочными разрезами улиц, будто кромсал его обезумевший от бессильной злобы ненавистник Московии; на один картинка шла с ГЛОНАССа, на другом — гугловская трехмерная спутниковая карта.

— Показывай.

Сима присмотрелась.

— Вот тут увеличь.

Такие вещи всегда увлекают. Сверху все такое странное; помесь игрушечного и настоящего... Они в два счета отыскивали площадь Индиры Ганди.

— Вон на том круглом пруду меня чуть не похитили, — не удержалась Сима; ей тоже было о чем рассказать. — И, знаешь, уже потом мужик, который нас с папой тогда вырубил, почему-то застрелился...

Вовка сосредоточенно рулил и пробормотал только:

— Не забудь напомнить, когда мимо пойдём.

Нашли дом. Она даже вспомнила этаж.

— Отлично, — сказал Вовка, запуская расчет ориентации. — В Москве у нас шесть засечек, быстро проинтегрирует... А мы проверим, какой ты поводиры. Ты встанешь в кабину. Я останусь тут. А ты постарайся хотеть, чтобы мы там оказались вместе. Помнишь, я говорил, как нас в какой-то момент удивило, что мы не оказываемся в точке переклейки голыми? Папа сказал потом, это оттого, что мы даже не задумывались. Одежда и одежда, куда ж она денется. Мои штаны, моя рубашка! Вот так примерно постарайся про меня думать.

— Легко, — ответила Сима, многозначительно заглянув ему в глаза. Он смутился, отвернулся к пульту.

— Пошла, — скомандовал он через пару минут. Она уверенно, твердо направилась к кабине и уже привычно встала в фокус лазерной накачки. — Жму стартер.

И нажал.

Они стояли на лестничной площадке. Потрескивая, мигала лампа дневного света. Дверь слева, дверь справа... Дверь лифта. Просто площадка.

Обычная, совершенно обычная.

— Ну, нормально, — удовлетворенно сказал Вов-

ка. — Одного человека ты, по крайней мере, берешь без проблем.

— Супер... — тихо повторила Сима. Огляделась. Помедлила. — Вот за этой дверью я была маленькая...

Она подошла ближе и положила руку на металлическую поверхность. Постояла так секунду, потом оглянулась на него.

— Вовка, — потерянно улыбнувшись, сказала она. — Вовка... Этого же не может быть. Это же чистые глюки. Ты мне что, в чай конопли подсыпал?

— Ага, — ответил он. — Конечно.

Она тихонько погладила дверь.

— Не верю, — сказала она.

И опустила руку.

— Если это все так...

— Я теперь сам не знаю, что с этим делать, — сказал Вовка. — И Наиль не знает. Это и в секрете держать невысказуемо, и сказать нельзя. Это совершенно иной мир. Не так уж много людей на земле хотят, чтобы мир стал настолько иным. Понимаешь?

— Пока не очень, — призналась она. — Но...

Умолкла. Будто просыпаясь, оглядела замызганные стены.

На двери лифта красовалась жирная черная свастика.

На бежевых кирпичных стенах было крупно намалено: «Срал вам в ладони».

— В мое время так не было, — неловко отводя взгляд, проговорила Сима.

— Пошли отсюда, — сказал Вовка.

— Давай на смотровую сходим, — предложила Сима. — Раз уж мы в Москве. Я в детстве ужасно любила смотреть с Воробьевых... Тривиально, да?

— Есть тривиально, — ответил Вовка, — но нико-

го это от еды не отпугивает. Наоборот. Я всегда оттуда сталинские высотки считал. Как засечки вдали. Посмотришь — и сразу знаешь, где что. Красиво. Пошли.

Они, почему-то не желая лезть в лифт сквозь свастикку, не сговариваясь, пошли вниз по безлюдной лестнице — и она, точно свиток, полный сокровенных знаний о мире, стала разворачиваться у них перед глазами. «Школа — говно!» «Весь мир — с антиФа!» «Fuck off!» «НБП — for ever!» «Фашизм не пройдет — Кавказ всех русских убьет!» «Ave Satan!» «Толян — лох!» «Смерть хачам!» «Долой власть чекистов!» Казалось, дом, как щепку, бьет на тупо хлещущих одна в другую встречных, бессмысленных и оттого особенно злых волнах. Уже на третьем этаже Сима перестала водить глазами по стенам и сосредоточенно уставилась перед собой. А Вовка не выдержал. Шагнул к стене, достал ключи и споро, размашисто процарапал: «С + В = Л». Оглянулся на Симу — видит ли? Она видела. У нее полыхнула шея и засветились глаза. Но она ничего не сказала. Он не сказал ни слова вслух — и смолчала она.

Но то было единственное на всю лестницу объяснение не в ненависти, а в любви.

В Москве оказалось прохладнее. Но было бы нелепо из-за таких пустяков сразу убежать назад. Когда они вышли на улицу, Сима, чуть пожившись, оглянулась по сторонам и глубоко вздохнула, точно все то время, что они спускались по лестнице среди залепивших стены духовных испражнений, она брезговала дышать.

— Ого, понастроили... — сказала она, глядя на высовывающиеся с Мосфильмовской яркие, в бесчисленных искрах окон громады.

И потом они долго молчали. Медленно подошли к площади. Миновали памятники великим индийцам, перешли на улицу Дружбы; когда показался пруд, Сима сказала только: «Вот тут...» — и снова отрешенно умолкла, словно напряженно думала о чем-то.

Тормозить ее Вовка не стал. Они просто гуляли, а значит, можно и не трещать без умолку. Они не отличались ничем от других парочек и группочек, еще фланировавших кое-где, несмотря на довольно поздний час; разве что одеты были легковато. Но, в конце концов, кому какое дело. А как они сюда добрались, чтобы прогуляться, на них и вовсе не было написано. Крутил пыль и листья темный, уже совсем сентябрьский ветер; шепелявый механический гул переполненных магистралей давил сзади, подгонял, а впереди уже открывался полный далеких огней простор — точно огромный плоский стол ночного ресторана, заваленный грудями светящейся икры.

— Значит, мышка убежать смогла, а кошка мышку съесть — нет? — вдруг спросила Сима.

Вовка не сразу понял, о чем она. Потом сообразил.

— Именно так.

— А вы биографии тех трех человек, которые тоже увидели Таити, изучали?

— Не знаю, — сказал Вовка. — Не было разговора. Я — нет.

Она, продолжая глядеть прямо перед собой, покачала головой, будто мудрый учитель, огорченный небрежностью даровитого, но безалаберного ученика.

— Твой папа как-то объяснял все эти эффекты?

— Может, как-то и объяснял, — ответил Вовка. — Но ничего не говорил. Может, ничего еще не придумал, может, придумал, да не додумал и не хотел болтать прежде времени. Понимаешь, вот буквально

перед самым его исчезновением более или менее приличная статистика набежала. До этого и анализировать-то было нечего.

— Понимаю, — сказала она и снова надолго умолкла.

Становилось зябко, но она так ушла в себя, что не замечала треплющего ей волосы и хозяйничающего под сарафаном ветра. Ей было не до пустяков — она думала. Вовка тревожился; он был уверен, что она вот-вот замерзнет, но все не мог решить — обнять ли ее за плечи, чтобы хоть так укрыть от когтисто нападавшей из темноты осени, или это тоже нельзя. Ничто иное ему не шло на ум. Сима с досадой передернула плечами.

— Совершенно загадочна суть процесса, — сказала она. — Жизнь положу, чтобы разобраться, обещаю. Но уже сейчас, если попросту... Посмотри, кто поводыри. Твой папа. Я его не знала, но все, что ты рассказал... Да и по тебе судя... Очень хороший человек.

— Ну...

— Наталья Арсеньевна. Я ее видела. Очень хороший человек. Чтобы так переживать за мужа и за... Добрая, как святая. Теперь — ты. Ну, ты вообще лучший человек на Земле.

Она произнесла это, как если бы между делом упомянула общеизвестную истину. У него перехватило горло.

— Бережный русский богатырь, радеть сирот и вдов, бескорыстный заступник родной земли... Я не прикалываюсь. Так это все и называется, если не стесняться называть вещи своими именами. Только не задавайся.

— И ты... — чуть хрипло сказал он.

— И я, — согласилась она. — Ну, про себя трудно говорить. Может, я столько про тебя думаю и так из-за тебя переживаю, что во мне меня теперь меньше, чем тебя... А может, и нет. Может, я сама ангелица. Папа меня вечно зовет: шестикрылая... У меня родители тоже замечательные, их бы попробовать... — мечтательно сказала она. — Очень интересно было бы встретиться с этим твоим Фомичевым. И те трое... И мышка с кошкой. В общем, у вас получилось то, о чем в каждой второй сказке рассказывается. Хорошего человека слушается, плохого — нет. Спасти может, погубить — нет. Помочь можно, повредить — нельзя. Это не оружие. Его бессмысленно секретить и надеяться использовать в разведке или, скажем, для террора. Понимаешь? Оно не пригодится никакой сволочи. Ни один урод не сможет им воспользоваться.

— Сима, это очень трудно доказать. Попробуй ляпни все это Наиллю.

— Понадобится — ляпну. Попробуй доказать, что я не права.

— Материала мало.

— Да, с этим надо работать. Для начала очень тщательно разобраться с Фомичевым, раз уж он тоже, прямо скажем, член семьи. Потом с теми тремя... Но на основании того материала, которым мы располагаем, можно с достаточной вероятностью предположить, что я права. Больше того, на основании этого материала ничего иного и предположить нельзя.

— Ну у тебя и хватка, — с немного озадаченной улыбкой он покачал головой. — Я тебя такой еще не видел.

— Ты меня много какой не видел, — тихо сказала она после паузы совсем иным тоном. Искося вскину-

ла на него короткий просящий взгляд, опять уставилась вперед и опять замолчала. Обиделась, панически подумал он. И на этот раз ошибся. Она уже опять думала.

Они забыли, зачем пришли; ночная панорама с ее красотой и едва ли не круглосуточным веселым многолюдьем, каруселью автомобилей и шелестящим пролетом рейсовых автобусов оказалась им не нужна. Они свернули в одну из аллей.

— Ты сказал, что ни ты, ни Наиль не знаете, что делать? — наконец подала голос Сима, и у него отлегло от сердца: не обиделась.

— Ну, в общем...

— Я вам сейчас скажу. Только не смейся. Ты в шпионов веришь?

Он даже сбился с шага.

— То есть?

— Ну ты в шпионов веришь? — Фраза казалась ей такой элементарной и однозначной, что она даже не потрудилась ее как-то переформулировать.

— Что они — черти, что ли? — с некоторым раздражением ответил он вопросом на вопрос. — Верить в них еще... Они нам вон когда жизнь уже портили.

— Думаешь, они тогда были, а теперь их нет?

— Ну, в принципе...

— Раз тогда были, то и теперь есть. Да если бы даже их тогда и не было, все равно. Неподалеку от такого дела кто-то обязательно дежурит. Может, и не один. Космос же. Мы сейчас не можем доказательно предполагать, что именно они успели выяснить. Но, скорее всего, про нуль-Т они не знают. Интересуются по старинке ракетами.

— Сима, тебя несет.

— Погоди. В какой-то книжке персонаж говорил: мне пришла в голову мысль, отчего бы ее не высказать?

— Ну, высказывай.

— Или ты полагаешь, что у бабы только волос долог?

— Я раб тапки. Говори.

— Надо, чтобы обо всем как можно скорее узнали основные державы мира. И не через газеты, которым то ли верить, то ли нет, а они еще приврут и приукрасят, и наболтают черт-те чего... Чтобы не обыватель узнал, а сначала ответственные чины. Чтобы они не кормились слухами. Чтобы им не шарахнуло в их дурные бошки за ноль-Т бороться, воровать у вас секрет, совершать преступления, кровь лить... А это удобнее всего через разведку. Называется — организованная утечка. Есть, мол, такая вещь, о которой все мечтают. Есть дорога к звездам. Есть дорога к абсолютному транспорту. Есть дорога к совершенной экологии, не нужны ни нефть, ни бензин, ни керосин... Но. Пользоваться могут только очень хорошие люди. Вот такие, как ты. Каких один на тысячу. По уши в идеалах культуры с ее добротой, жертвенностью, бескорыстием... Русской культуры.

— Симка!

— Нам скрывать нечего. Уэлкам. Хотите на Альфу Центавра без ракеты? Легко. Зубрите Достоевского, хамье, и забудьте, что это непрактично.

— Симка, остановись. Ты спятила.

— Да, а что? Ты такой мужчина — просто свел меня с ума.

Он не знал, что сказать. Сердце у него билось мощно и часто, точно перед прыжком: скорость выровнена, ветер боковой умеренный, люки настезь,

узлам. Надо только решиться. А если струсил, то сомневаться уже не приходится: вот эта пигалица пихнет в спину и прыгнет следом без парашюта, чтобы быть рядом.

— Это все надо доказывать и доказывать...

— Я тебе направление дальнейших исследований предлагаю. Ориентир. Сколько можно тыкаться вслепую? И если подтвердится — тут единственный выход из тупика. Единственный способ, чтобы все эти, в погонах, чужих или наших, вас не пристукнули, прежде чем разберутся, что для их дел нуль-Т неприменима.

Он еще сам не понял, что загорелся. Но лихорадка погони за лукаво выглянувшим из-за угла ребенком познания, бог знает где прятавшимся несколько недель, уже вспенила кровь. С минуту он молча обдумывал.

— Не поверят, — сказал он потом с сожалением. — Ни один разведчик не пошлет в центр такую ахинею, и ни один центр не поверит разведчику, если он такое пришлет.

— Ну, это уж их проблемы, — азартно возразила она, но он отрицательно покачал головой.

— Нет, погоди. Это наши проблемы, только наши... Погоди... Я знаю! Нужно разбросать информацию, выждать, дать время, а потом провести несколько реальных показательных акций, спасти кого-то через переклейки. С затонувшей подлодки, из горящего самолета... Внаглую, не скрываясь. Чтобы случились необъяснимые чудеса, про которые растробят на весь мир. А в разведках уже знают объяснение, только не верят. А когда чудеса попрут, то поверят, никуда не денутся.

— Супер, — сказала Сима. — Ты еще умней меня.

— Ну, знаешь... Если бы не ты...

— Ага! — закричала она, уже откровенно веселясь и озорничая. Вернулось счастье, казалось, безвозвратно оставленное днем на маленьком горячем пляже. — Признаешь мои заслуги в распространении русского дела по видимой части вселенной? Говори, как на духу, что для него полезней: с бутылками и ножиками по митингам шляться и пугать честной народ, или придумать такое, чтобы все люди захотели стать русскими? Нет, я больше скажу — чтобы сами русские опять захотели быть русскими? Ну? Говори!

— Признаю! Я раб тапки! Твои заслуги, о несравненная принцесса Будур, необъятны, как море, и неисчислимы, как звезды на небе!

— Тогда цалуй! — лихо велела она и, повернув в его сторону надутую пузырем щеку, повелительно указала на нее пальцем.

С Вовки будто одним резким движением сдернули все возбуждение и всю радость. Наваждение рассеялось. Он растерянно, виновато посмотрел на Симу исподлобья и отвернулся.

Тогда и она погасла.

Сразу стало понятно, что кругом ветрено и холодно, что кроны деревьев шумят измученно и уныло, точно глубокой осенью, что словно из иного мира немощно светит, кое-где слипаясь в мерцающие комья, крошево окон в неприкаянно высунутых вдали новых высотных башнях, а тут — уже совсем тьма, и никого нет, ни души, лишь из глухого нутра стонущих под ветром зарослей впереди, совсем недалеко, на аллею выныривают один за другим молчаливые, тоже, видать, припозднившиеся ребята...

— Ну что такое? — тихо и безнадежно спросила Сима. — Володя, зачем ты меня так обижаешь?

— Сима... — едва не плача, сказал он. — Ну Сима же! Ну нельзя! Ну если я... Ведь получится, что я тебя тогда ДЛЯ СЕБЯ спасал!

Она даже не сразу поняла. Потом глаза у нее раскрылись так, будто увидели, что кто-то идет по воде.

— И только в этом дело? — ошарашенно спросила она.

Он затравленно кивнул.

— Ну ты и ду... — начала она и осеклась. И вдруг прыснула. — Слушай, Вовка, я все понимаю, но нельзя же быть настолько русским! Что я тебе — Южная Осетия?

Настал его черед задуматься над ее словами.

Они были так увлечены друг другом, что опоздали заметить, как их окружили.

Вовка спохватился первым. Их было семеро, и, пожалуй, ни одному не перевалило за двадцать. И лица их не были лицами дебилов или вырожденков, у двоих ладно сидели культурные очки. Молодые интеллектуалы новой эпохи. Перед Вовкой полукружьем встали четверо, а трое отлаженно скользнули ему за спину и ждали теперь там; он их не видел, но, включившись наконец в ситуацию, чувствовал привычно и четко.

Дюжий, плакатно русокудрый вождь в нашпигованной блестящим металлом почти комиссарской кожанке покровительственно улыбнулся Вовке.

— Ты, брат, иди себе, — дыша пивом, ласково проговорил он, — а чучмечку нам оставь. И подумай на досуге о том, что чистоту крови надобно беречь смолоду...

Петля времени, понял Вовка; молодость настигла. Сейчас мы достойно с ней простимся. В груди начал ровно бить массивный молот, напрягся живот и по-

добралась мошонка. Семеро. Многовато... Тем более что плохо-бедно боевые искусства у этих все-таки дают, он помнил. Если, конечно, они из этих, а не просто резвящаяся накумаренная шпана. Вряд ли шпана, не похоже. Значит, будут ножи. В голове замельтешили, споро складываясь в хорошо пригнанную чехарду, прикидки скоротечного боя. Не оборачиваться; тех, что сзади, пока фиксировать только на чутье. Пусть расслабятся. Смотреть на жожака, пусть думают, что Вовка, если начнет — начнет с него. Трех за спиной вырубить сразу, чтобы уже не встали. Потом резко вправо и вон того умника в очках, с арматурным прутом, он к Симе ближе всех. Непрерывно двигаться, путать их, плясать вокруг нее, как на резинке. Ни одна сука, пока я жив, до нее не...

Сима бесшабашно шагнула вперед.

— Я не чучмечка, а жидовка, — сообщила она.

Вождь глянул на нее с удивлением и интересом: редкий случай, сама нарывается. Похоже, будет даже веселей, чем сперва показалось. Когда плесень, не въехав в реал, начинает понты колотить, типа спасать друг друга и всякое такое, всегда веселей. Надо же, а они нынче и не собирались ничего, просто отдыхали; как поперло-то под конец дня.

— Совсем ай-яй-яй, — с мягкой укоризной сказал он.

Вовкины мышцы, натянувшись, тетивами замерли в напряженной неподвижности, точно целый взвод лучников изготовился к прицельному залпу. Вот сейчас. Команда пошла.

Сима обернулась и увидела его лицо.

Они стояли в лаборатории.

Вовку качнуло.

Он не сразу понял, что произошло.

Он шагнул к ней. Она начала было ему улыбаться — несмело и немного вопросительно: видишь, у меня опять получилось, ты доволен? Он сгреб ее за плечи у самых ключиц, грубо смял и скомкал ворот свитера, точно хотел задушить; так он сегодня дотронулся до нее в первый раз. В ее глазах мелькнул ужас. Адреналин фонтанировал и горел в его крови, как огонь в аду.

— Никогда, — чуть хрипя от ледяной ярости, сказал он. — Никогда, поняла? Никогда не смей мной так управлять!!

Несколько мгновений они стояли неподвижно; обоих заклинило. Стиснутый железными пальцами воротник пережал ей шею, и у нее стало темнеть в глазах. Не понимая, в чем она снова провинилась, но заранее готовая просить прощения, она постаралась обратить все в шутку. Резко наклонила голову набок, закатила глаза и вывалила язык — все, мол, кирдык Дездемонке. Это его чуть успокоило; зверь, которому сорвали прыжок на защиту слабых, начал, теряя порыв, топтаться и примащиваться на мягкой подстилке логова перед тем, как снова лечь. И когда Вовка заговорил, в голосе уже не было ненависти, только отчуждение:

— Никогда. Не смей. Так. Мной. Управлять. Поняла ты или нет?!

Шутки кончились. Мозг задышался. Из почти уже упавшей тьмы она посмотрела на Вовку серьезно, искренне. Будто на взбесившуюся собаку.

— Я вспомнила, что ты сказал в школе, — выговорила она, едва слыша себя. — Что, когда их много, надо убивать. Володя, ты спаситель, а не палач.

И тут его отпустило. Руки бессильно съехали с ее

плеч и рухнули, он ссутулился. Кровь ударила ей в голову, как нефть из скважины. С горловым всхлипом она перевела дух.

— Иногда это неразделимо, — проговорил он глухо.

— Это раньше было так, — сказала она, глядя ему в глаза. — Этого больше не будет. Мы это изменим.

Потом они долго молчали, нелепо и неловко стоя лицом к лицу, вплотную, точно их сковало. Оба понимали: надо уже покончить с тем ужасом, что вспучился между ними, покончить немедленно, не сходя с места. Нельзя было распасться, оставив его посреди — он бы уже не дал сомкнуться снова.

Понимали, но не знали, как. Лавина сошла слишком внезапно, они растерялись.

— Помнишь, — тихо сказал Вовка потом, — ты мне свой стих читала. Млечный путь, а Млечный путь...

— Еще бы, — так же тихо ответила она.

— Я тоже стих придумал, — сказал он. — Вот прямо сейчас. Рассказать?

— Расскажи.

Он помедлил.

— На лыжах пер я быстро так, что вам, наверно, и не снилось. И шестикрылая жена на перепутье мне явилась.

Помолчал, чуть улыбнулся.

— Все.

— Гениально, — с неподдельным восхищением сказала она. У нее снова перехватило дыхание, но теперь это было не жутко, а сладко. — А жена, — робко уточнила она, — это в смысле просто женщина или в смысле...

— В смысле, — сказал он.

Ее взгляд как бы расфокусировался, словно она, глубоко задумавшись, некоторое время смотрела сквозь Вовку. Потом сфокусировался снова.

— Я тебе отвечу, — проговорила она. — Готов?

— Да.

— И Бога глас к тебе воззвал: возьми дорожный интеграл, нажми стартер, и виждь, и внеми все многочисленные Земли. На каждой будет Серафима тебя любить, тобой любима.

От нежности у него жгуче защипало где-то в глубине переносицы. Боясь дышать, словно Сима была готовым погаснуть от первого же дуновения огоньком свечи, он с благоговением всматривался в ее глаза еще несколько мгновений, а потом сказал:

— Пошли.

А на второй планете звезды Эпсилон Андромеды (солнцеподобная, спектральный класс G6, расстояние до Земли сто десять световых лет) растут цветы, пыльца которых сверкает, как бриллиантовая пыль.

В южном полушарии лето. Бескрайняя степь под нежно-голубым в вышине и чуть фисташковым по горизонту небом почти сплошь застелена пышными коврами тяжелых золотисто-алых фестончатых соцветий на высоких, иногда почти по пояс, мягких ворсистых стеблях; косматое неподвижное пламя разлилось по отлогим холмам на десятки километров, но столько и не надо. Если легонько ударить ладонью, лепестки словно взрываются, вскидывая в воздух медленно клубящийся протуберанец. А если раздеться и с гиканьем, с улюлюканьем, или просто хохоча, понестись голышом, сам в пять минут превращаешься то ли в перламутровую статую, то ли в бегучий

фейерверк или сгусток полярного сияния, а позади надолго остается висеть, едва заметно для глаз оседая и растворяясь в теплом безветрии, слепящая переливчатая призрачная гряда.

И когда они, набегавшись и от восторга ошалев, догнали друг друга и рухнули в распахнувшуюся кроткую, неломкую мякоть, от каждого прикосновения выдыхающую праздничный свет, казалось, это две радостных радуги, сомкнувшись, слились в одну, вдвое ярче.

Потом Сима долго лежала, отдыхая, пропитываясь пережитым, осознавая свою новизну, и смотрела в небо. А Вовка, обхватив колени руками, сидел рядом и смотрел на нее — на разводы словно бы перемешанной с алмазной крошкой подсыхающей крови на нежной коже бедер, на немилосердные синяки, которыми он, сам того не заметив, хозяйски заклеил ликующую грудь желанной зверушки, когда его губы наконец до нее дорвались, на задумчиво приоткрытый, припухший вишневый рот и все еще влажные глаза, отрешенно глядящие вверх.

И думал: странно. Анатомически все люди вроде бы одинаковы. И физиологически одинаковы. И все можно описать, как заводской процесс, токарную штамповку: эрекция, фрикция, эякуляция... Тюбинг, блюминг. Лизинг, блин, маркетинг, консьюминг, мерчандайзинг... Тогда и эффект должен бы быть одинаков, кого бы ни отконсьюмил. Но не от этого же вскипает легкое и властное, как ветер, чувство всемогущества, и цветами распускаются белые крылья за спиной, и ты действительно летишь и можешь все... Вот как сейчас. А еще говорят, что человек — это животное! Гады, вруны, отбирают самое главное — крылья!

Я не выдержал и спросил тихонько: а кто, собственно, говорит-то?

Он услышал и задумался.

4

«Здравствуйте, Валентин.

Не удивляйтесь, пожалуйста, новому обращению. Честно говоря, я хотел с Вами посоветоваться насчет него, потому что вдруг чего-то повзрослел :-)), и звать вас дядя Валя, или просто Валентин, или, тем более, как бывало иногда, шутливым своим Валенсий (я знаю, Вас это обращение коробило, хотя Вы и терпели благородно), теперь как-то неловко. Нелепо. И вообще — тыкать Вам... А называть Вас по имени-отчеству было бы, мне кажется, слишком отчужденно. Мы же столько лет жили под одной крышей, Вы мне отчим, и это ведь тоже семья. Поэтому я пока не придумал ничего лучше, чем называть Вас по имени, но на «Вы», а Вы мне говорите, пожалуйста, по-прежнему «ты». А если Вам мои духовные поиски :-)) покажутся дурью и у Вас будет какое-то предложение получше, я, как смешно говорят дипломаты, открыт для конструктивной дискуссии.

Огромное спасибо Вам за слова поддержки. В ответ могу заверить, что, несмотря на Ваш разрыв с мамой, я никогда не сумею относиться к Вам, как к постороннему. Бывших родственников не бывает, как бывших разведчиков :-)). Я буду всегда рад Вас видеть.

Папа так и не нашелся.

Простите, что так долго не отвечал. Но тут были объективные причины. Когда Вы найдете время

приехать, я Вам подробнее все расскажу и покажу, но если в двух словах — я оказался единственным человеком, который после исчезновения папы может управляться с тем, что он тут наработал, и это для меня оказалось изрядной ношей. Волшебником быть очень ответственно и очень трудно. А поскольку чудеса не сказочные, а настоящие, они сразу становятся просто очень кропотливой, очень сложной и очень ответственной работой, на пределе сил и мозгов.

Мы ведь тут, не смейтесь, мгновенное перемещение в пространстве на любые расстояния открыли. В фантастике это называют нуль-транспортировкой или телепортацией. Ну, и еще по-всякому. У нас это как-то само собой назвалось переклейкой — из-за реальной природы процесса. Помните на свадьбе папы с тетей Наташей всем предлагали увидеть Таити? Это мы от избытка чувств пытались сделать сюрприз гостям, только тогда не вполне еще получилось. Там столько тонкостей обнаружилось, причем не только технического, но и психологического плана. Штука в том, что отнюдь не все люди и не во всяком состоянии поддаются переклейке. Это совсем не делит людей на первый и второй сорт, конечно. Вот академик Алдошин, например. У него после исчезновения папы, как Вы, возможно, знаете, был инфаркт, но теперь, к счастью, он пошел на поправку, как раз вчера я навестил его в санатории, и он уже просто рвется путешествовать. Умница, добряк, крупный организатор науки, замечательный человек. Так он тоже оказался неспособен. Таких людей могут брать с собой так называемые поводыри. Я вот оказался очень сильный поводырь, за раз могу взять с собой до семи человек, это пока абсолютный выявленный экспери-

ментами максимум. Впрочем, судя по первым пробам, тетя Наташа дала бы мне форы, но она сейчас нездорова немножко, и мы вынуждены обходиться без нее.

А вообще-то поводырей, как всегда в жизни, не хватает.

Конечно, все еще только в стадии опытов. Поэтому мое письмо — не для прессы :-). Но если Вам придет в голову, что я спятил или просто Вас разыгрываю — не думайте обо мне так плохо. Я в здравом уме, а на розыгрыш такой никогда бы не пошел хотя бы из уважения к Вам. Если Вам это интересно, Вы просто можете приехать (только сообщите заранее, мы договоримся о конкретных сроках) и, так сказать, удостовериться. Вам наверняка это будет интересно и как журналисту, и вообще. Все ж таки, как писали когда-то о Гагарине, сбылась вековая мечта человечества...»

Бабцев читал Вовкино письмо целый вечер.

Да если бы Вовка немного раньше сказал ему хоть что-то похожее — может, все вообще пошло бы иначе...

Но стоило чуть растрогаться, он тут же шарахался: не с чего же пасынку так семейно, так по-доброму относиться ко мне! Невозможно поверить, чтобы Вовка полагал меня за родного... Не с чего! И — незачем! Вовке это просто незачем! Это лицемерие! Господи, это какая-то ловушка! Неужели они догадались?

Он закрывал файл, курил, открывал файл снова и снова перечитывал. Подходил к окну и смотрел на вечернюю улицу — там все было как всегда. Красные огни нескончаемо ползли вниз, точно всполошенные огненные муравьи никак не могли отстроить

свой нескончаемо разваливающийся огненный муравейник; а из горящих окон в домах напротив складывались причудливые иероглифы: то ли гигантское табло нечеловеческого стадиона показывало загадочный счет невесть в чью пользу, то ли очередное «Мене, мене, текел, упарсин» предупреждало о близком крахе невесть кого.

И Бабцев шел снова к ноутбуку, и снова раскрывал файл, и вчитывался в невыносимо человеческие слова почти что сына... И понять не мог, хочет он, Бабцев, плакать, не коленях вымаливая у кого-то прощения, или хочет кого-то убить.

Потом он взял себя в руки. Лирику — побоку. В его положении лирика — непозволительная роскошь. Бездельники пусть мучаются противоречиями сложной славянской души.

Да, но делать-то теперь что?

Да, ехать туда, но когда?

Сообщать ли о содержании этого письма? Или отложить до возвращения?

Или вообще отмолчаться?

Телепортация, надо же. Вот так вот просто. Автомобиль приличного за целый век сделать не могут, но телепортацию — пожалуйста. Смех. Ведь смех.

В такое невозможно поверить...

Те и не поверят. Скажут — агент спятил и утратил всякую ценность. Снять с довольствия, вычеркнуть из списков.

А если дыма без огня не бывает? В конце концов, спутник они тоже ухитрились запустить первыми, не научившись делать приличных автомобилей... Если в Полудне действительно сварганили нечто эпохальное, и опоздание окажется роковым? Если Вовкина

банда успеет развернуться так, что потом не догнать — и те, со светлого холма, спросят: почему не сообщил вовремя? Снять с довольствия, вычеркнуть из списков!

И так страшно, и этак...

Господи, надоумь!

Да неужели, в отчаянии подумал Бабцев, мне с этим страхом жить всю жизнь?

5

Фомичеву все труднее становилось дома играть в безмятежность. И товарищ Ван, и его собственное родное начальство не могли поверить в его однообразные скудные рапорты: «В связи с тем, что главный исполнитель проекта пропал без вести, работы на неопределенный срок прекращены». Да Фомичев и сам не очень-то себе верил; такие исследования не прекращаются, что бы ни происходило с отдельными исполнителями, пусть даже ведущими. Уже само исчезновение Журанкова выглядело подозрительно; Фомичев знал, что внешним резидентурам даны указания активизироваться в попытках выяснить, не всплывет ли пропавший физик где-нибудь в исследовательских центрах стратегических партнеров и вероятных противников. «Не будет этого, — помнится, сказал тогда Фомичев полковнику; тот, если надо было всерьез обкашлять сложную проблему, иногда позволял ему здоровую толику панибратства, которым неизменно чреват эффективный совместный анализ. — Он же, вроде, бескорыстный патриот». Полковник посмотрел на Фомичева, как на девочку из детсада, принявшую презерватив за воздушный ша-

рик. «Скажи мне, когда ты в последний раз видел бескорыстного патриота?» Фомичев помедлил и, как честный человек, вынужден был признать: «Года через два после того, как в последний раз видел бескорыстного демократа». «То-то, — сказал полковник. — Так что не раздражай меня и не пори чушь. Просто, наверное, мало давали. Теперь вполне могли дать столько, сколько надо. Без предоплаты нынче и хер не встанет». «Может, все-таки поднажать на Ласкина? — предложил Фомичев. — По его последним текстам в сети — что-то он знает. Таковую многозначительность напускают только при козырях в рукаве». «И думать забудь, — полковник решительно потушил окурок в пепельнице, давая понять, что время свободной дискуссии истекло. — Если этот говнюк хотя бы одной ноздрей учует наш к нему интерес, крику будет — о любом космосе забудешь. В наше трудное, но прекрасное время, — издевательски сказал он, — чем больше человек гадит — тем нежнее мы должны его беречь. А то мировая демократия президенту нанашки даст. Посему слушай директиву: выбрось из головы глупости и занимайся только Полуднем. Сын твоей мадамы не может не быть хоть маленько в курсе того, чем батька занимался. Ты ведь сам докладывал — когда вы в лабораторию пришли, парень был как дома. Что за эксперименты они над вами ставили на свадьбе — до сих пор ведь не выяснил! А лезешь советы старшим давать. Это же не шутки. Они явно уже не только орбитальным самолетом занимаются. Мы, если помнишь, еще в прошлом году анализировали их финансовые возможности — не потянуть им серьезную железяку никак. Но они держатся, что-то мастрячат потихоньку. Почему ты до сих пор не зна-

ешь, что?» «Так ведь я глуп-с», — напоследок пользуясь ускользящими мгновениями свободы слова (окурок в пепельнице еще дымился), ответил Фомичев цитатой из «На всякого мудреца». Полковник усмехнулся. «Вот и возмись за ум».

По пятницам они с Катериной никогда не ужинали дома, а ходили куда-нибудь, где элегантно и вкусно; так было и на этот раз. Но сегодня Фомичеву потребовалось напрячь все лицедейские дарования, чтобы вести себя с беспечным оживлением, вроде бы естественным для человека, у которого за плечами напряженная неделя, а впереди, хоть у творческих личностей рабочий день и не нормирован, все ж таки выходные, и на ресторанном столе горит свеча, и стоит бутылочка вкусного легкого красного, и напротив сидит жена, да, жена, черт бы вас всех побрал, и жена любимая, и с ней хорошо и нежно, и Фомичев любому за нее глотку перегрызет; сидит, весело щебечет что-то, в пятый раз перелистывая меню и все сомневаясь, чего ж это она на сей раз такого желает... И ему, Фомичеву, нужно, чтобы она оставалась беззаботной и щебетала, не ведая окаянных проблем, и как же это сбережь, если, чтобы общая жизнь оставалась счастливой, Фомичеву нужна чистая совесть, но только через Вовку он, Фомичев, в состоянии... А он, Фомичев, не хочет через Вовку, ему противно, стыдно, Вовка — сын жены, а ведь должно же в мире оставаться что-то хоть слегка святое!

— С чего это ты так распетушился нынче? — спросила Катерина удивленно. — Я еще первый не допила, а ты уже третий булькаешь...

Фомичев улыбнулся.

— А ты бы хотела наоборот? Чтобы ты уже третий

огрела, а я еще с первым кабыздошился? Я так отдыхаю! Не обращай внимания, лучше рассказывай дальше. И что Миниханов?

— Ну, Миниханов тогда...

Она была как стеклышко, а он лишь слегка навеселе, когда они вернулись домой, зажгли свет в прихожей, потом — в гостиной; люстра полыхнула жестким граненым сверканием, на миг залепила глаза белизной, а потом они потрясенно увидели, что на диване терпеливо сидит Вовка и рядом с ним столь же смиренная, видимо, готовая ждать хоть до понедельника, девушка — яркая, очень юная и очень красивая. Выждав несколько мгновений и дав матери и Фомичеву всласть постоять, окаменев, Вовка поднялся и, будто ни в чем не бывало, подошел к матери и обнял. Чмокнул в щеку.

— Привет, мам, — сказал он.

Его движение и прикосновение будто разморозили Катерину.

— Господи, Вовка! — ахнула она. Всплеснула руками. — Ты откуда? Ты как здесь?

— Соскучился, — ответил Вовка просто. — И вот приехал вам жену представить. Ну, собственно, мы только три недели вместе и, правду сказать, расписаться не успели... Но, знаешь, браки совершаются на небесах. Это Сима.

И Фомичев заметил, что девушка, вежливо вставая, потаенно улыбнулась при этих его словах, будто знала о небесах, где совершаются браки, что-то такое, чего, кроме нее и ее мужа, не знал никто.

— И с Леонидом Петровичем у меня тоже есть разговор, — продолжал Вовка. — Мужской такой.

— Польщен, — выдавил Фомичев.

— Погоди, Вовка! — растерянно засмеявшись, сказала Катерина. — Как ты в дом-то попал? Я не помню, ты разве брал ключ?

— Нет у меня ключа. — Вовка отрицательно покачал головой. — Это я загодя вам демонстрирую аргументом, что не сбрендил, а то вы непременно так решите, когда я рассказывать начну. Я все объясню по ходу. Видите ли, Леонид Петрович, — сказал он, — вы, наверное, поводиры.

А потом, когда отшумели первые охи и ахи, и семья расселась за спокойным крепким вечерним чаем, и Вовка начал рассказывать, Фомичев понял, что ему предстоит самый трудный выбор в жизни.

Но почему-то он сразу знал, что выберет.

6

Корховому по Вовкиной просьбе написала Наташа.

Он прочитал ее письмо и поначалу ничего не понял. Голова у него была занята совсем иными делами, важными. С досадой он перечитал текст сызнова. Вот ведь бред, подумал он. Наташка совсем из ума выжила, начала баловаться такими розыгрышами на старости лет. Наскоро он в ответ нашлепал: «Мать, ты малость не в адеквате. Нынче у нас не день дурака. Подождала бы уж до первого апреля, осталось-то каких-то полгода. Впрочем, рад был получить от тебя весточку. Целую, обнимаю. Степан». И тут же отправил.

У него нервы были на взводе и каждая минута на счету. Он запускал новый цикл, причем с некоторым развитием тематики, а значит, со вторжением на чужую территорию. Можно было ждать склок, а то и

неприятностей; но кто не расширяется — того теснят, эту истину еще никто не отменял. А кого теснят — тот теряет икру с бутерброда.

Сейчас Корховой уже опаздывал на встречу с архитектором, который должен был к трем подъехать в офис с эскизами долгожданного коттеджа. Корховой не хотел терять ни часа. Эта убогая кооперативная советская квартирка — вы только представьте! с балконом! с отдельным санузлом! ах! — в свое время казалась пределом мечтаний; но времена меняются, прогресс неудержим, и бесшабашная непрехотливая молодость неудержима — в том смысле, что ее при себе ни на день не задержать; и теперь Корховому вконец обрыдла эта, иначе не скажешь, жилплощадь, унижительная и унылая, как рабий ошейник, как клеймо лузера, как символ проигранной жизни, куда даже позвать кого-то стыдно, где было выпито столько дешевого.

Скоро все станет иначе.

7

Когда его голос в трубке уже под вечер сказал: «Сима, ты мне срочно нужна, жду в институте», ей даже в голову не пришло что-то спрашивать и уточнять. Конспекты и книги по математике перепуганно порскнули в стороны. Метко кинутый телефон еще не долетел до ждущей, как баскетбольная корзина, сумочки, а она уже выпрыгивала из домашней одежды. Вжик джинсами, шмяк свитером, вжик курткой. Кроссовки налетают на пятки вообще беззвучно. Готова. Чмокнула маму в щеку, подмигнула отцу, бросила сумку на плечо и бегом; и слышно было с той сто-

роны лязгнувшей двери, как мягкий топот валится по лестнице. Лифта ждать некогда.

— Коза, — проворчал Кармаданов с гордостью и восхищением, которых даже не пытался скрыть — и с толикой потаенной ревности. Руфь улыбнулась; она и волновалась, и радовалась. Но разве можно радоваться спокойно?

Сквозь промозглые сумерки, по асфальту, засыпанному палой листвой, как обрывками промокнувшей золотой бумаги, по раскисшим тропкам наискось через газоны, срезая путь... Нужна. Срочно нужна. Остаётся, как в старом анекдоте, ответить: повторяйте, голубчик, повторяйте!

В небольшом вестибюле, где было безлюдно и оттого казалось, что лампы слишком ярко горят, она сразу увидела на боковом диванчике двоих: ее Вовка и какой-то пожилой, его она не знала. Когда она, чуть задыхаясь, ворвалась сквозь стеклянные двери, Вовка тут же встал и пошел ей навстречу, но далеко уйти от пожилого не успел — она так и пронеслась через весь вестибюль галопом.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — выдохнула она, останавливаясь.

— Понимаешь, такое дело... То густо, то пусто. Наиль Файзуллаевич, — обернулся Вовка к пожилому, и тогда тот тоже встал и сделал шаг к ним, с любопытством глядя на Симу из-под густых черных бровей. — Познакомьтесь, пожалуйста, это Сима. Ваш сегодняшний поводырь. Сима, это Наиль Файзуллаевич, наш...

— Кошелек, — закончил фразу за Вовку пожилой.

— Ну, зачем вы так, — возразил Вовка. — Кошелькам фазтонцы и далекие маяки по барабану.

Пожилой улыбнулся, подошел вплотную к Симе и подал ей руку. Она пожала; рука была тяжелой и бережной. Сима присмотрелась. Невысокий, плотный, жилистый, с дубленой, как у варана, кожей, сыто обвисшей на подбородке.

— Сима, — назвалась она. — Наслышана о вас. А вот видеться не доводилось пока.

— Полдень мое любимое место на планете, — ответил Наиль, — но бывать здесь часто и подолгу у меня никак не получается. Жизнь воротилы хуже ка-торги.

— Вот в том-то и дело, — сказал Вовка. — Наиль Файзуллаевич вырвался сюда специально, чтобы наконец-то осуществить мечту. Мы не имеем права не помочь.

— А какую? — нетерпеливо спросила Сима.

Наиль улыбнулся смущенно и удивительно по-детски; его сушеное лицо помолодело.

— Увидеть марсианский саксаул, — признался он.

— Поняла? — спросил Вовка.

— Но на Марсе не растет саксаул, — удивленно возразила Сима.

— Зануда ты, — проворчал Вовка; а голос все равно был такой, точно он сказал «родная».

Наиль опять улыбнулся.

— Когда я в детстве читал фантастику про космос, на Марсе непременно рос саксаул, — объяснил он. — Синий, натурально. По Тихову. Вот просто не было Марса без синего саксаула. Тогда меня и переключило. И две луны, конечно.

— Две луны — это нормально, — сказала Сима. — Это будет. А вот насчет саксаула... — Она беспомощно обернулась к Вовке.

— Ну Симка, ну в чем проблема? — нетерпеливо взмолился Вовка. — Саксаул — это же теперь так, метафора.

— Ой, какие ты слова уже знаешь! — восхитилась Сима.

— Смотрю я на вас, ребята, — озадаченно произнес Наиль, — и просто диву даюсь. Вы что, настолько освоились?

— Ну... — сказал Вовка и пожал плечами. Сима подождала, но, поняв, что на этом «ну» его красноречие исчерпалось, добавила:

— В процессе.

Наиль чуть качнул головой; взгляд его стал задумчивым и грустным.

— В общем, так, — сказал Вовка. — У нас есть две засечки: на куполе Тарсис, у Павониса, и на берегу долины Ниргал. Можно воспользоваться, чтобы не считать заново. Прикинь, где сейчас видны сразу и Фобос, и Деймос, и проводи Наиля Файзуллаевича на полчаса. Ну, вернее, на сколько он захочет... в пределах запаса для дыхания, естественно.

Она встряхнула головой, чтобы отсыревшая от мороси челка не лезла в глаза.

— Знаешь, — возмущенно сказала она, — мне бы даже не пришло в голову держать на Марсе человека, когда воздух кончится. Мог бы и не напоминать.

Наиль только опять покачал головой.

— Ну ладно, не ершись, — улыбнулся Вовка. — Сможешь?

— Легко, — ответила она. — А ты?

— Говорю ж, у нас запарка. Нормальная такая русская штурмовщина. Мы ведь уже неделю ждем чего-нибудь подходящего. И вот вчера сомалийцы су-

хогруз хапнули, я тебе звонил, только ты уже спать легла. Фомичев нашел однотипный на приколе и гоняет сейчас группу захвата, наверное, уже по пятому разу, чтобы они могли работать хоть вслепую. Закончит — мы туда. Переклеимся прямо в рубку и без пальбы гуманно повяжем всех на фиг, пока военные не подошли... А только что передали — южнокорейский сейнер в шторм попал, крен жуткий, тонут. Там двенадцать человек экипаж, я в две ходки управлюсь. С минуты на минуту жду точных координат. В таких условиях за саксаулом и прочей эстетикой — это уж твоя девичья доля.

— Не вздумайте к пиратам без меня соваться, — сказала Сима.

— Ну какая же драка без тебя, — ответил Вовка.

— Я не шучу. Я видеокамеру возьму, потом выложим в Интернете. Пусть весь мир увидит, как у них челюсти отвиснут... Буду первый нуль-Т журналист.

— И журналист ты, — сказал Вовка. — И физик-теоретик ты. И часовню тоже ты развалила?

— Нет, — улыбнулась Сима, — это еще до меня, в четырнадцатом веке.

— И на том спасибо... Все, хватит болтать, айда. — Он отвернулся; он бросал короткие фразы спокойно, без лихорадки, но не тратя ни секунды лишней. — Наиль Файзуллаевич, вы видите, какая она? Взрослая, опытная, решительная, уверенная в себе женщина. Две с половиной тонны берет за раз. Не вздумайте обмануться внешностью и отнестись к ней с отеческим снисхождением. Она из вас вообще веревочку совет.

— Я уже догадался, — с улыбкой сказал Наиль.

Они энергично двинулись к лаборатории.

— Как ты с Фомичевым сработался? — вполголоса спросила Сима.

— Отличный мужик, — ответил Вовка. — Не зря мама... — и осекся. — И вообще удачно получилось, такое попадание — просто пальчики облизывать остается. Иногда и нам везет. Одним махом и на Лубянку, и китайцам звон пошел.

— Интересно, цээрешникам уже стукнул кто-нибудь? — задумчиво спросила Сима.

— Узнаем раньше или позже...

Вовка открыл последнюю дверь, пропустил Симу вперед, потом сделал знак Наилу: проходите, мол.

— Оставляю вас на супругу, — сказал он, и у Симы от того, как он ее назвал и как обыденно это прозвучало, жарко вспыхнула шея. Словно в их единстве не было уже ничего необычайного и хрупкого. Просто жизнь, трудовые будни в раю. — Пошел ждать, — посмотрел в глаза Симе. Тихо сказал: — Симочка, будь паинькой, не вздумай там по ниргальским оврагам лазить. Пожалуйста. Сейчас такой момент... Мне только не хватает о вас беспокоиться.

— Будь спок, — ответила Сима, а потом не выдержала и, коротко привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку.

Они остались вдвоем. Сима чуть помялась — когда Вовка ушел, с нее схлынуло все оживление, вся бесшабашная лихость, осталась лишь ответственность; потом, застенчиво улыбнувшись олигарху, сказала:

— Наиль Файзуллаевич, давайте... Давайте по полной программе. Я вас потестирую немножко. Может, вы и сами все можете... Хорошо?

— А что, есть надежда?

— Ну, никогда наперед не скажешь... Давайте убедимся.

— Я в полной вашей власти, Сима, — серьезно сказал Наиль.

— Тогда вот подумайте... Вы хотели бы увидеть остров Таити? Это такое красивое и романтическое место...

— Там растет саксаул? — свойски пошутил олигарх. У Симы отлегло от сердца: есть контакт.

— Там много чего растет, — осмелев, сказала она. — Ешь кокосы и бананы. Лазурный океан растет.

— Хочу, — сказал Наиль.

— Нет, серьезно.

— Серьезно хочу. Вы не представляете, Сима, как я люблю купаться в кристально чистой морской воде. С детства. Когда родители вывезли меня в шестьдесят втором году в Геленджик... Ох, что говорить.

— Замечательно. Тогда встаньте, пожалуйста, вот сюда.

Наиль, озираясь несколько недоверчиво, встал в фокус.

— Конечно, Володя мне описывал, но... Это правда не больно?

— Вы шутите, — с благодарностью в голосе отозвалась Сима, загружая тестовую засечку.

— Нисколько.

— Абсолютно неощутимо, — успокоила она, но в озорной голове сама собой всплыла фраза из «Места встречи», и Сима не удержалась: — Чик — и ты на небесах.

— Звучит обнадеживающе, — невольно поежился Наиль, продолжая разглядывать несущую лазеры раму; фильм он смолоду помнил почти наизусть, и цита-

та показалась ему несколько двусмысленной. Особенно при данных обстоятельствах.

— Ну, я готова. Вы как?

— Всегда готов, — положившись на судьбу и на чувство юмора, пионерски ответил олигарх.

Лазеры моргнули, и ничего не произошло.

— Нет, — с сожалением сказала Сима. — Не вышло...

— Ну, я не слишком-то и рассчитывал... — с невольным разочарованием проговорил Наиль и, шуткой попытавшись скрыть, что все же огорчен, добавил назидательно: — Удобнее верблюду пройти в игольные уши, чем богатому войти в царствие небесное!¹...

— Да ладно вам, — махнув на него рукой, засмеялась Сима. — Я-то на что? Идемте скафандр мерить.

8

Небо было лютым.

Цветом оно напоминало иссохшую кожу мумии. Вылизанный песчаными бурями пожелтевший череп. Звезды на нем не светили — скалились.

Не пышное голубое одеяло, заботливо взбитое чьей-то могучей рукой, но издевательски тонкая углекислая пленочка, назвать которую воздухом не повернулся бы ничей язык.

Солнце было сморщенным и бессильным, точно над ним надругались всем караваном еще много веков назад и бросили в пустыне подыхать. Оно мучи-

¹ Матф. 19:24.

лось низко над горизонтом — и не слепило, лишь в немошной жалобе царапало глаза.

Дюны смерзшегося песка, похожего на дробленую медь, были усыпаны пористыми, как пемза, камнями; в низинах рыхло стелились наносы пыли. Прорываясь из-под пустыни, торчали мелкие и оттого особенно озлобленные скалы; им будто не терпелось пропороть кому-то бок. А вдали, в стылой дымке у горизонта, угадывалась меркнущая стена; там, сказала Сима, начинался какой-то кратер.

И были ему две луны.

Сима тактично держалась сзади, чтобы не мешать ему смотреть. И когда он поворачивался, она, каким-то чудом упреждая его движение — славная девочка, чудесная девочка, — вовремя пятилась назад, чтобы не оказаться между ним и его мечтой; и только крупный песок скрежетал в сосущей душу тишине по ту сторону скафандра, и крупные, слишком крупные для такой девочки следы тяжелых подошв выдавали, где она стояла и куда отступила, чтобы он мог оставаться наедине со своим вырвавшимся из детства и отвердевшим сном.

Я это заслужил, думал Наиль. Я здесь. Я это сделал, и я это заслужил. Я мечтал, я рисковал, я тратил. И я заслужил. Теперь я здесь. Вот. Две луны.

Он повторял эти слова сам себе уже больше получаса и все равно не мог поверить. Было в них нечто от гордости мухи, усевшейся на Казбек и задравшей нос: экую кучу я навалила!

Он мог бы гордиться собой. У него были для этого все основания. Но отчего-то ему хотелось не задрать нос, а встать на колени.

Марс.

Это был Марс вокруг.

Рано или поздно у любого порядочного человека, сумевшего добиться чего-то крупного, наступает прозрение. Свидевшись наконец с результатом долгих и совсем не обещавших триумфа трудов, он понимает: сам он, один, со своими кишками, с вонючим своим ливером, с куцым лукавым умишком, способным разве что хитрить, обманывать и оправдываться, с то и дело брызжащими невпопад струйками похотливых гормонов, а еще с нескончаемыми болячками, беспощадно сжирающими силы и желания, словом, сам по себе, немощно шевелясь комком слизи в пустыне, одиноко висая жиденьким марсианским солнцем в жестоком небе жизни, он никогда не смог бы совершить того, что совершил.

Раньше или позже у всякого, кто не выжег совесть по пустякам, возникает желание благодарить.

Если бы бога не было, вдруг подумал Наиль, природа не казалась бы нам красивой. Мы же самовлюбленные эгоисты, мы могли бы любоваться лишь тем, что сотворили сами.

Но именно в природе, подумал он, мы угадываем гармонию, куда более сложную и подлинную, нежели наши потуги, например, в архитектуре, неспособные оторваться от жалких прямых. Именно в природе мы прозреваем нелинейные замыслы и критерии того, кто...

Древние обожествляли чуть ли не каждую скалу, чуть ли не каждое дерево. У скал и деревьев не бывает прямых.

Наиль почувствовал, что получится нелепо. Будь он один...

Но он не способен попасть сюда один.

Но без него — и они бы сюда не попали. Если бы он это не начал, они бы и не подозревали, что могут такое...

Опять двадцать пять: да разве он это начал?

Он никогда не был религиозен. Не было у него времени дребеденью забивать голову. Но вот теперь там, где нет синего марсианского саксаула, но зато есть Марс, пусть не детский и оттого куда более страшный и скучный, ведь реальное дело всегда кропотливее сказки, но зато НАСТОЯЩИЙ, Наиль просто должен был, должен был сказать столь же настоящее «Спасибо».

Он, сын двух прекрасных советских людей, всю жизнь рук не покладавших инженера и медсестры, вспомнил, как хихикал в детстве над дедушкой, седым и сморщенным, подглядывая, как тот расстилает молитвенный коврик и встает на колени...

— Сима, — чуть хрипло сказал он.

— Да, Наиль Файзуллаевич, — тут же отозвалась она.

— А Земля сейчас видна? — неловко спросил он. Невинный вопрос. Естественный. Разве поймешь по такому вопросу, для чего ему понадобилась Земля?

Несколько мгновений Сима молчала, озираясь и соображая.

— Вон, — сказала она потом. Наиль оглянулся, чтобы понять, куда она показывает. — Видите, звездочка? Острый пик с коричневым пятном по боку, а от него справа и вверх.

— Вижу, — присмотревшись, сказал Наиль. Помолчал, набираясь храбрости. Было отчаянно стыдно. Даже перед девочкой, не говоря уж о... Наиль ведь даже не знал, как говорить; ничего, кроме пресловутого

«Аллах акбар». Стыдобища... — Дрожит, бедная, — пробормотал он, глядя на мерцающую Землю; так он сам сейчас дрожал. Он сглотнул от волнения. — Как легко здесь, однако, определять направление на Мекку... — словно на пробу, проверяя, как девочка отнесется к этим словам и предупреждая ее напоследок, сказал он.

Она не ответила. И тогда он решился. Не отрывая взгляда от звезды Земли, с трудом преодолевая сопротивление жесткой ткани скафандра, он опустился на колени и, мучительно стесняясь, прошептал:

— Аллах акбар... — Запнулся. Вдруг, точно ему тихонько кто-то подсказал, вспомнил еще: — Бисмиллях иррахман иррахим... — Снова запнулся. И добавил уже по-русски: — Спасибо.

Оказалось нестрашно. Оказалось правильно. И он уже смелее продолжил:

— Спасибо, что ты мне помог. А я им помог. А они мне помогли. Спасибо. Теперь это у нас есть.

Он благодарил Всевышнего за то, что, похоже, и впрямь не зря жил. И пусть ему не довелось стать поводырем; зато посчастливилось, Всевышний ниспослал ему такое счастье, стать кормильцем поводырей, а это ведь тоже очень важно.

Смотри-ка, удивленно подумала Сима. Молится. На колени встал, как мусульманин. Я и не подозревала, что он правоверный. Обладеть.

Что-то ей напоминала эта розово-рыжая пустыня. Скалы не совсем те, и солнце совсем, совсем не то, но вот этот плотный песок она будто бы уже видела. Чуть ли не в детстве. С мамой, с папой она здесь словно уже была и любовалась, и потрясенно слушала, как в космической тишине скрежещет песок под но-

гами. Она никак не могла поймать воспоминание; а когда ей показалось, что вот-вот она ухватит его за мышинный хвост и вытащит из норы, где, попискивая, кишело во мраке прошлое, Наиль опустил на колени, и она так поразилась, что забыла думать о чем-либо ином.

До нее вдруг дошло: ведь во всех культурах есть праведники и подвижники. Увлеченно объясняя причудливый норов нуль-Т, она совсем упустила эту простую мысль. И в исламе, конечно, есть, и в иудаизме, и в западном христианстве, и уж у буддистов, разумеется... Она даже растерялась от такой новости.

Но растерянность длилась мгновение. Ответ нашелся по-молодежному быстро и безапелляционно, Сима даже хихикнула от радости: вот и посмотрим, наконец, чьи праведники грузоподъемнее.

А между прочим, подумала она потом и, еще раз посмотрев на Землю, прикинула ничтожный угловой размер болезненно хилой звездочки, в нескончаемом испуге дрожавшей над самыми скалами. Между прочим. Очень может быть, что он сейчас смотрит на храм Христа Спасителя. Или на Ватикан. Или вообще на Стену Плача. Надо будет Вовке рассказать... Тут она вспомнила, что Вовка сейчас, наверное, уже вытаскивает, захлебываясь, одурелых корейцев из пены, а до ночи — еще пираты.

Только бы с ним ничего не случилось. Если замечу, подумала она, что он лихачит, такой скандал закачу!

Какой там скандал... Они же без оружия пойдут. Мало ли как колобки к оружию отнесутся, даже если для защиты. Поэтому — по-русски, с рогатиной на

медведя... Только бы с ним ничего не случилось. Вернемся — зацелую.

Нет, она еще не созрела.

Ей совсем еще не хотелось молиться. Она была уверена в себе и упоена человеком, которого обожала. Ей еще не хотелось благодарить кого-то в небе — только тех, кто на Земле. Она еще вся была здесь. Вспомнив о праведниках иных культур, она с легкостью, точно перышком махнула, выдумала всемирную лигу поводырей и, не тормозя, принялась прикидывать ее устав. И сладко обмирала, представляя, как эта идея понравится ее Вовке.

Она полна была тем, какая она замечательная, и как много сумеет сделать, и как будет ею восхищаться тот единственный, кто замечательнее всех и по кому она сходит с ума... Подобные мысли часто заменяют молодым молитвы и до поры до времени способны делать, в общем, примерно то же: помогают становиться лучше.

Два человека, с Марса глядя на Землю, молились каждый на свой лад.

Наиль натужно поднялся, оставив на твердом песке две продавленных лунки. Неловко нагнувшись, отряхнул колени. Тогда Сима как ни в чем не бывало спросила:

— Наиль Файзуллаевич, а вы знаете, что ваше имя в переводе значит?

Наиль перевел дух. Долго дышать в скафандре было непривычно, а от неудобной позы еще и тяжело. Стоя на коленях, а потом поднимаясь, он совсем запыхался.

— Нет, — шумно отдуваясь, сказал он. — Даже в

голову, честно говоря... не приходило полюбопытствовать... Знаешь, Сима, у акул бизнеса...

Не хватило дыхания. Он протяжно втянул воздух.

Она подождала и, поняв, что он не станет продолжать, сказала:

— Очень удачное сочетание. Наиль — это дар, а Файзулла — это щедрость Всевышнего. Получается — дар от щедрот Аллаха.

— Однако, — еще дважды со свистом вдохнув и выдохнув, смог снова подать голос Наиль. — А ты-то... Ты-то откуда знаешь?

Сима пожала плечами.

— У меня родственники в Израиле, — ответила она, будто это разом объясняло все. Потом все же растолковала: — Я, когда Вовка первый раз помянул ваше имя... Оно такое напевное. Я, грешным делом, в одном из писем обмолвилась. А у них, наверное, эти вещи на слуху... Перевели.

Нарочно не придумашь, подумал Наиль. Кому же эта щедрость оказана? Его родителям, понятно. Но — сейчас? Ему самому? Или этой девочке и вообще всем поводырям — в его лице? Точнее, усмехнулся он — в его кармане... Или сотворенное общими усилиями чудо — вот дар им всем от щедрот Аллаха? Последняя мысль отчего-то показалась ему самой верной. А потом он сообразил, что он, Наиль, если так, оказывается тезкой одному из героев читаной-перечитаной в детстве «Туманности Андромеды», и тогда вообще перестал понимать, смеяться ему или молиться снова, еще истовей. Какие петли и спирали жизнь вяжет, с благоговейным изумлением подумал он. Тибетский опыт...

Разве может такое сложиться случайно?

— Ты еще не торопишься? — спросил он.

— Ну, в общем, нет, — вежливо ответила она. Он понял. Месяц назад он сам одобрил их план, и вот сегодня на них обвалилась серьезная работа, а он из-за прихоти держит девочку тут, когда там каждый поводырь на счету...

— Сейчас пойдем, — сказал он. — Вот еще немножко на Землю посмотрим...

— Давайте, — послушно сказала Сима.

Двум людям, стоявшим посреди ледяной марсианской пустыни, светила одна и та же звезда Земля.

Она была одна на всех. Другой не будет.

И даже когда вечно грызущиеся за успех состоявшиеся люди, каких большинство, для кого победа — это всего лишь больше хоть чего-нибудь, хоть на одно срубленное дерево, на одну проданную турбину, на одну пойманную рыбу, на один полученный голос, на одного униженного человека, на одного поверженного врага, на одну лихо разбитую машину, на один гордый этаж особняка, на одну тонну нефти, на одну женщину или на одного мужчину, на один ноль на банковском счете, все равно, только бы больше, чем у соседа, окончательно переработают планету на пластиковые бутылки и жестяные банки, бигмаки и шаверму, амфетамины и канцерогены, тигровые шкуры и медвежьи лапы, суперкары и пентхаусы, отвалы и шлаки, вживленные чипы и высокоточные системы залпового огня с обедненным ураном, и когда умирающий океан весь затянется рыхлым полистиролом, колышущимся пополам с мазутной каплей, остатки провонявших химикалиями лесов затянутся дымом зажженных для потехи и самоутверждения пожаров, и ни на улице, ни дома ни единый человек не сможет

чувствовать себя в безопасности от тех, кто, как и он сам, жаждет любой ценой хоть на миг ощутить силу, успех, победу, и жизнь станет невозможной, и поводыри лиги разведут, кого успеют и смогут, по землеподобным планетам вселенной, именно единственную Землю будут вспоминать ее успешные убийцы, как рай, из которого они были изгнаны за то, что, дорвавшись до яблони познания добра и зла, нажрались до оскомины сочной мякоти зла, пренебрежительно сплевывая хоть и плодоносные, но твердые и кажущиеся такими малопитательными зернышки добра.

Так, похоже, и случится.

Ведь я действительно знаю о нас все.

*Февраль — май 2010,
Санкт-Петербург*

СОДЕРЖАНИЕ



Часть первая. ОСКОЛКИ	5
Часть вторая. НЕМНОГО НФ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ	180
Часть третья. НАГРАДА РОДИНЫ	309
Часть четвертая. ПОКОЛЕНИЕ, ПОСТИГШЕЕ ЦЕЛЬ	382

Литературно-художественное издание

РУССКАЯ ФАНТАСТИКА

Рыбаков Вячеслав Михайлович

СЕ, ТВОРЮ

Издается в авторской редакции
Ответственный редактор *В. Мельник*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Г. Клочкова*
Корректор *Л. Зубченко*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 07.10.2010. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 7000 экз. Заказ № 4002672

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

ISBN 978-5-699-45349-8



9 785699 453498 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**

E-mail: International@eksmo-sale.ru

**International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**

international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,**

обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118.

E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.

Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.

Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.

Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».

Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. (343) 378-49-45.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.

Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.

Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.

Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.

Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

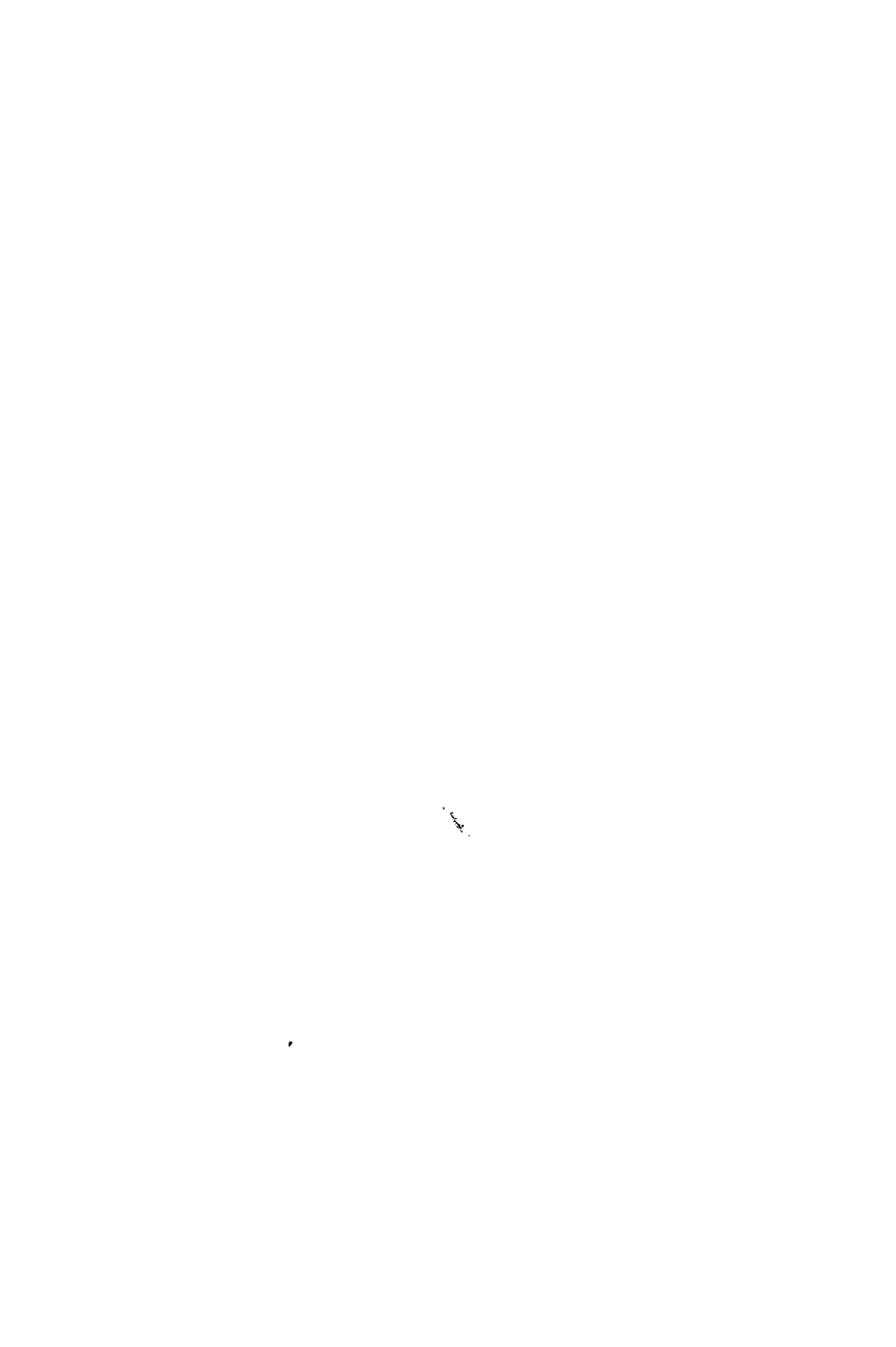
Волгоградский пр-т, д. 78. Тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**



РУССКАЯ ФАНТАСТИКА



СЕ,
ТВОЮ

Человеческие судьбы и шпионские интриги причудливо переплетаются вокруг секретного частного проекта «Полдень», в рамках которого на средства олигарха-мецената разрабатывается новая российская космическая программа. В ходе исследований участники проекта под руководством ученого Журанкова открывают революционный способ перемещения на огромные расстояния. Однако слишком много внешних сил стоит на пути людей, занимающихся разработками, – не только российские спецслужбы и иностранные разведки, но и бессмертный закон подлости...

ISBN 978-5-699-45349-8

